
САША ЧЕРНЫЙ

САША ЧЕРНЫЙ

САША ЧЕРНЫЙ

САША ЧЕРНЫЙ

САША ЧЕРНЫЙ

САША ЧЕРНЫЙ





САША ЧЕРНЫЙ

Собрание сочинений
в пяти томах

Т о м 1

САТИРЫ И ЛИРИКА

Стихотворения
1905 — 1916

Москва
Издательство
«Эллис Лак»
1996

Составление, подготовка текста и комментариев
А. С. Иванова

Собрание сочинений подготовлено составителем при поддержке
Международного фонда «Культурная инициатива»

На фронтиспise: Саша Черный. Портрет работы художника
В. Д. Фалилеева. 1915 г.

Редакционно-издательский совет

А. М. Смирнова
(председатель, директор издательства)
Т. А. Горькова
(главный редактор)
А. С. Иванов
И. Л. Тимашева
С. В. Федотов

Черный Саша

Ч-49 Собрание сочинений: в 5 т. Т. 1: Сатиры и лирики. Стихотворения. 1905—1916. / Сост., подгот. текста и коммент. А. С. Иванова.— М.: Эллис Лак, 1996.—464 с.

ISBN 5-7195-0045-6 (Т. 1)

В первый том собрания сочинений С. Черного вошли стихотворения 1905—1916 гг. и поэма «Ной».

Ч $\frac{4700000000-043}{130(03)-96}$ Без объявл.

ББК 84 Ря 44

ISBN 5-7195-0045-6 (т. 1)

ISBN 5-7195-0044-8

© А. С. Иванов. Составление, подготовка текста, комментариев, 1996

© Е. Г. Клодт. Художественное оформление, 1996

© Эллис Лак, 1996

ОСКОРБЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ

Поэт и время... Есть в парнасских избранниках вне-временность, над-мирность, без-мерность. Но есть и укорененность в своей эпохе. Поэт — «до всякого столетья он», и одновременно — дитя своего века. А когда речь идет о таком поэте, как Саша Черный, эта проблема — проблема соотносительности вечного и современного в творчестве — во сто крат актуальней. Ибо он как сатирик всегда черпал вдохновение в животрепещущей действительности, в изъянах и злобах своего дня, при этом остро ощущая несовершенство мира вообще.

Велик соблазн прочтения Саши Черного в контексте сегодняшнего, переживаемого нами исторического момента. Тем более что обе эпохи, выпавшие на долю России в начале и в конце века, во многом схожи. Но подобный «прикладной» подход к поэзии — занятие неблагодарное — слишком стремительно меняется в последние годы политическая и экономическая ситуация.

Слово художественное, в особенности ритмическое, куда емче и многомерней поверхностной разговорной и газетной правды, изживаемой каждый миг. В нем, как бы даже помимо воли автора, через какое-то наитие или откровение сказывается пророческий смысл происходящего. Не будем с высоты своих знаний судить русскую интеллигенцию. Она собственной судьбой купила свой выбор сполна.

Теперь очередь за нами.

Кто знает, быть может, погружение в эпоху Саши Черного, где «люди ноют, разлагаются, дичают», поможет нам что-то понять в себе, в нашем взбаламученном времени, подойти ответственно к своей нравственной позиции. Затем хотя бы, чтоб не приобрели вновь современное звучание строки поэта:

Во имя чего ежечасно
Думбадзе плюют на законы?
Во имя чего мы несчастны,
Бессильны, бедны и темны?..

Чины из газеты «Россия»,
Прошу вас, молю вас — скажите
(Надеюсь, что вы не глухие),
Во имя, во имя чего?!

С чего начать экскурс в мир Саши Черного? Не будем нарушать традицию и начнем с жизнеописания. Но ограничимся лишь дописательской биографией — наиболее сокрытой и важной в становлении личности. Ибо слияние любви и ненависти в его поэзии оттуда — из тех ранних лет, когда душа еще так чиста, податлива к добру и ласке, восприимчива и уязвима. С той поры как поэт вышел на печатную арену, жизнь его была на виду, и любителям житейских подробностей Саша Черный мог бы ответить словами Маяковского: «Что касается остальных автобиографических сведений — они в моих стихах».

Александр Михайлович Гликберг (такова подлинная фамилия поэта) появился на свет 1(13) октября 1880 года в Одессе, городе, подарившем нам немало веселых талантов. Родился он в семье провизора — семье, можно сказать, зажиточной, но малокультурной. Счастливым детство Саши не назовешь. Мать, больную, истеричную женщину, дети раздражали. Отец, отличавшийся крутым нравом, не входя в разбирательство, их наказывал.

Поступить в гимназию Саша не мог из-за процентной нормы для евреев. Отец уже собирался было отдать его в обучение какому-либо ремеслу, но передумал и разом решил крестить всех детей, тем самым уравнивая их в гражданских правах с прочими российскими подданными христианского вероисповедания. После чего Саша Гликберг 9 лет от роду поступил, наконец, в гимназию.

Мечта свершилась... Однако вскоре учеба обернулась неким подобием казенной службы, новыми страхами и наказаниями, которые добавились к домашнему игу. Стоит ли удивляться тому, что в пятнадцатилетнем возрасте он бежал из дома, последовав, кстати, примеру старшего брата. Видимо, сказался не только тяжелый родительский нрав, но и тот ненавистный утробный мир, по словам О. Мандельштама, «хаос иудейства», о котором поэт позднее предпочитал не вспоминать.

Вначале беглеца приютила тетка, сестра отца, отвезла его в Петербург, где он в качестве пансионера продолжил учение в местной гимназии. Но когда его «за двойку по алгебре» исключили из гимназии, он фактически оказался без средств к существованию. Отец и мать перестали отвечать на письма блудного сына с мольбами о помощи.

Дальнейший поворот событий трудно, пожалуй, назвать другим словом, как чудо. Узнав по чистой случайности о судьбе несчастного юноши, брошенного семьей, начинающий журналист Александр Яблоновский поведал о его горестной участи на страницах «Сына отечества» — одной из крупнейших газет того времени. Статья попала на глаза житомирскому чиновнику К. К. Рошэ, и тот решил взять его к себе в дом. Так Саша

Гликберг в конце 1898 года очутился в Житомире — городе, ставшем для него поистине второй родиной.

Константин Константинович Роше принадлежал к обрусевшему французскому роду. Дед его, профессор Военно-инженерной Академии, известен как изобретатель цемента, на котором, между прочим, построены форты Кронштадта. Отец — преподаватель Военно-инженерного училища. А сам К. К. Роше пошел по чиновной линии и может быть отнесен к служащей аристократии. В Житомире он занимал достаточно высокий пост — председателя Крестьянского Присутствия. Этого сановника отличало живейшее участие во всевозможных филантропических мероприятиях. Одной из таких акций было участие, которое он принял в судьбе многострадального юноши, брошенного семьей.

Надо сказать, что за год до описываемых событий Роше потерял единственного, горячо любимого сына, которого он в мечтах видел своим духовным наследником. Имеется в виду самозабвенное увлечение поэзией, стихотворчеством, которому Роше отдавал часы досуга. Именно от него, надо полагать, получил Саша Черный первые уроки стихосложения. Но много важнее были воспринятые им от этого провинциального Дон Кихота понятия о долге и чести, которые в прагматичном XX веке выглядели старомодными.

Гимназию в Житомире не удалось закончить из-за конфликта с директором. Да, по правде сказать, и поздно было учиться — подоспело время призыва на воинскую службу. Отслужив два года в качестве вольноопределяющегося, А. Гликберг оказывается в местечке Новоселицы на границе с Австро-Венгрией, где поступает на службу в местную таможенную. По возвращении в Житомир Гликберг начинает сотрудничать в газете «Волинский вестник», открывшейся 1 июня 1904 года. Однако вести здесь фельетон ему довелось недолго: всего через два месяца газета прекратила свое существование. Обуреваемый честолюбивыми мечтами, он решает перебраться в Петербург.

Поначалу новоиспеченному петербуржцу пришлось заняться канцелярской работой — на Службе сборов Варшавской железной дороги. И хотя на первых порах его приютили родственники Роше, неуютно и одиноко чувствовал себя провинциал в северной столице. Его непосредственной начальницей на службе была М. И. Васильева, которая проявила к нему участие. Вскоре они связали свои судьбы узами брака. Союз оказался прочным, несмотря на разницу в возрасте (Мария Ивановна была старше на несколько лет), в положении и образовании. Она была, как свидетельствуют современники, на редкость аккуратной, практичной и энергичной особой. Именно такая спутница, по-видимому, и требовалась неприспособленному к житейским борениям поэту. Она стала для него заботливой матерью: ведала семейным бюджетом, выручала его из критических ситуаций, ездила по редакциям, избавляя от общения с «литературными

крокодилами», как Саша Черный называл издательских работников.

Свадебное путешествие летом 1905 года молодожены провели в Италии. По возвращении Саша Черный решает оставить ненавистную конторскую службу, дабы целиком отдаться литературной деятельности. Следует заметить, что стихотворным сочинительством он начал заниматься еще в провинции. Об уровне его сочинительства можно составить представление по отрывку, который поэт сообщил на склоне лет корреспонденту, явившемуся взять интервью в связи с 25-летним юбилеем литературной деятельности:

На скале вдали гнездится
Каменный маяк.
Скоро весь он озарится
И разгонит мрак.
Кораблю и пароходу
Путь укажет он
И осветит ярко воду
И утесов склон *.

Робкие, банальные строки — бледное отражение уже порядком изношенных народнических идей, как-то: борьба с тиранией, служение народу, вера в светлое будущее. Не более того. Ясно, что с таким «маяком ему ничего не светило» на поэтическом небосклоне. Среди собратьев по «струнному ремеслу» ему в лучшем случае была уготована участь «Надсона из Житомира». Если бы... ..Если бы как раз в ту пору страна не пережила колоссальное потрясение — революцию 1905 года. Кульминационным моментом ее явился царский манифест 17 октября, даровавший долгожданные гражданские свободы. Это освобождение, пришедшее извне, раскрепостило душу зауряд-стихотворца А. Гликберга, как бы обновило личность, вышедшую из темницы на волю бескрайнего мира. Видимо, это слово «воля» имело для него особую притягательность. Вспомним и его побег из дома, и то, что на военную службу ушел вольноопределяющимся, и, забегая немного вперед, — то, что лекции в университете посещал он в качестве вольнослушателя. Даже в несколько неуклюжем первом, еще житомирском псевдониме — «Сам-по-себе» — слышится оттенок независимости.

Возможно, это утверждение покажется неким штампом из недавних времен, но по сути верно: как поэт Саша Черный рожден первой русской революцией. Первое же опубликованное под этим, никому не ведомым литературным именем в журнале «Зритель» стихотворение «Чепуха» было подобно разорвавшейся бомбе и разошлось в списках по всей России. Саша Черный сразу стал желанным гостем в сатирических журналах. После отмены предварительной цензуры объявилась их уйма, как грибов после

* С е д ы х А. Юбилей без речей // Сегодня. Рига.— 1930.— 20 марта.

дождя. Язвительные и гневные инвективы Саши Черного в адрес тех, кто олицетворял слегка пошатнувшийся, но еще прочный государственный режим, появляются одна за другой.

Общество жило в ожидании радикальных перемен. Вот-вот должна была открыться Государственная Дума — первый в истории России парламент, на который возлагалось столько надежд. Но именно тогда имя Саши Черного исчезает с журнальных страниц. Вместо того чтобы развить свой триумфальный успех, поэт уезжает за границу: слушать лекции в Гейдельбергском университете. Можно строить разные предположения, что заставило Сашу Черного покинуть этот мир «в его минуты роковые». Скорее всего была сильна и непреодолима тяга к знаниям, культуре (вспомним, что учиться ему пришлось урывками). Но нельзя исключить и другую, а вернее дополнительную, причину. Саша Черный уже во время своего первого заграничного вояжа мог заметить в Европе иной уровень свободы, нежели в родном отечестве. Недаром многие из тех, кому довелось пожить там, на первых порах после возвращения задыхались, попав в российскую атмосферу.

Неизвестно, успел ли увидеть Саша Черный до отъезда свою первую книжку стихов «Разные мотивы», на которой значился 1906 год? Выглядела она, прямо скажем, невыразительно и эклектично. Потому, видимо, и прошла фактически незамеченной, хотя в нее включена знаменитая «Чепуха». Что касается состава, то особым разнообразием «Разные мотивы» не отличаются. Мотивов, собственно, два — сатирический и лирический. Но в отличие от будущих книг Саши Черного, струи эти покуда неслияны. Каждая сама по себе: пресно-скорбные ламентации (о них уже сказано выше) и обличительно-революционные стихи. Справедливости ради следует отметить, что на фоне полупрофессиональной продукции «дней свободы» сатиры Саши Черного выделялись яркой талантливостью и недюжинным гражданским темпераментом, заставлявшим вспомнить поэтов-искровцев. Однако надо признать, что будущий Саша Черный в них далеко не всегда различим.

* * *

Становление поэта всегда таинство, процесс, незримый для постороннего взора, прорастание «путем зерна». А тут еще начинающий автор скрылся из виду почти на год. Таким образом, по возвращении граду и миру был явлен сложившийся поэт ярко выраженной индивидуальности. В его формировании решающую роль сыграло, по-видимому, то обстоятельство, что Саша Черный миновал все стадии угасания революционного подъема — от эйфории «глотка свободы» до глубочайшей депрессии, охватившей передовую часть общества на исходе 1907 года. Контраст действительно потрясающий. Вспыхнула было мечта, что вместе

со свободой воцарятся в обществе здоровье и бодрость. И вот, в связи с неудачей революции надежда на всеобщее исцеление если не совсем исчезла, то отодвинулась в неопределенно далекое будущее. Отсюда резкий отход интеллигенции от политических интересов и устремлений. Гипноз общественного мнения развеялся, и оставшиеся наедине с самими собой индивидуумы потеряли под ногами почву. Они бросались на каждую модернистскую новинку, с особым пристрастием обсуждали «вопросы пола», разрывались между богоискательством, мистикой и оккультизмом.

Славься, чистое искусство
С грязным салом половым!
В нем лишь черпать мысль и чувство
Нам — ни мертвым, ни живым.

От смерти духовной один шаг до гибели физической. Неимоверно растет число «несчастливых случайных невежд», единственный выход видящих в том, чтобы «Творцу вернуть билет». Именно тогда, «в дни похмелья после пира», в эпоху всеобщей остылости, разочарований и самоубийств вновь всплывшее на печатных страницах имя «Саша Черный» как нельзя точно попало в масть своему времени — «подлому и злому». Не столько под гнетом цензуры, сколько потому, что исчезла потребность в смелой и прямолинейной разоблачительности, иссякла небывалая прорва сатирической продукции. «Смех среди руин» должен быть качественно иным — это почувствовали создатели журнала «Сатирикон», возникшего в начале 1908 года вместо старого юмористического еженедельника «Стрекоза». Вокруг него объединились лучшие «смехачи» того времени, старшие из которых еще не перешагнули порога тридцатилетия, а младшим едва минуло восемнадцать. Но все они успели уже вкусить лакомого плода гласности и были с избытком наделены уникальным даром смешить и подмечать смешное. Такой журнал, ставший поистине явлением русской смеховой культуры, должен был возникнуть, и он возник. Импровизационность и беспечный богемный дух, высокий художественный уровень в сочетании с демократичностью — все это обеспечило популярность «Сатирикона» у читающей публики всех социальных уровней.

То, что Саша Черный состоялся как поэт, и то, что 1908—1911 годы стали его «звездным часом», его «акмэ» — величайшая заслуга «Сатирикона». Поэту не пришлось унижительно обивать редакционные пороги, ему сразу была предоставлена возможность выйти к широкому, поистине всероссийскому читателю. Более того: полная независимость позволила Саше Черному выявить себя сполна в свободной художественной игре. Еще бы! Ведь то, что было совершенно недопустимо в «толстых» журналах, не возбранялось в шутейном цехе. Саша Черный и впрямь был неистощим на всевозможные «словесные тонкие-звонкие фо-

кусы-покусы». Вот один только пример — прием отторжения образа и развертывания его в иной плоскости, когда метафора начинает жить как бы самостоятельной жизнью:

Есть еще острова одиночества мысли —
Будь умен и не бойся на них отдыхать —
Там обрывы над темной водою нависли —
Можешь думать... и камешки в воду бросать...

Много позже, уже в связи с Маяковским (тоже прошедшим, к слову заметить, смеховую выучку в «Сатириконе»), была подведена теоретическая база под генезис новаторства через сферу комического. Как показала практика, все сколько-нибудь стоящее в поэзии способно появиться не в следовании сложившейся ритмико-словесной системе, а в нарушении общепринятых правил.

Именно таким нарушителем табу явился Саша Черный. Прежде всего сказалось это в расширении поэтического словаря путем введения слов явно непозитических, антиэстетичных, даже грубых. Что еще? Смещение жанров, сближение высокого и низкого, расшатывание стихотворных размеров, гибко и непринужденно следующих за ходом мысли, — вот далеко не полный перечень нововведений Саши Черного, взрывавших сложившуюся поэтику, что требовало немалой дерзости и стойкости духа. В поисках «Новой Красоты» надо прислушиваться только к себе — к такому выводу пришел поэт и неукоснительно следовал ему:

Сядь к столу, возьми бумажку
И пиши остро и четко.
Написал — прочти, почувствуй
И спроси у сердца: верно?
Только так придешь к искусству.
Остальное — злая скверна.

И если внешне стих Саши Черного подчас угловат и фактура его груба, надо всегда помнить — это не от неумелости, ибо «всяк спляшет, да не как скоморох».

Бунт этот, однако, не был замечен «книжными клопами» и «литературными урядниками», как поименованы в стихах Саши Черного критики. Не замечен, может статься, оттого, что сатира и юмор никогда не шли в общелитературный счет. Что-то, а кастовость пишущая братия блюла и блюдет строго. Но есть нечто более важное, чем изобразительность, ухищренная звукозапись и прочие магические атрибуты стихосложения. Имеется в виду то, о чем писал Ю. Тынянов: «Каждое новое явление в поэзии связывают прежде всего с новизной интонации». Обладал ли Саша Черный ярко выраженной литературной повадкой? Безусловно. Иначе не был бы так длинен хвост подражателей — поэтов-сатириконцев, не избегших его властительного

влияния. Но продолжателей среди них нет, да и не могло быть, ибо индивидуальность — товар штучный. Органичность взаимны не возьмешь — ее надобно открыть в себе самом. Эту мысль можно вычитать в надписи, сделанной Сашей Черным на книге, которую он подарил младшему собрату по «Сатирикону», специализировавшемуся одно время на перепевах его сатир: «Василию Васильевичу Князеву с самым искренним желанием найти ему себя (в полный рост). Февр. 1911. Саша Черный» *.

Вернемся к разговору об интонации. Она может быть уподоблена генетическому коду, присутствующему буквально в каждой поэтической единице. Для ясности проведем эксперимент. На пробу возьмем какую-нибудь строфу Саши Черного. Вовсе не обязательно самую характерную или броскую — пусть будет что-нибудь скромное, хотя бы такое:

Я поведу вас узкою тропой,—
Вы не боитесь жаб и паутины? —
Вдоль мельницы пустынной и слепой,
Сквозь заросли сирени и малины...

Не удивлюсь, если любитель поэзии, наделенный слухом и знакомый с поэзией Саши Черного (но не с этими строками), с ходу, что называется по интуиции, угадает автора. По каким признакам? Попробуем разложить все по полочкам. Во-первых: ну кто, кроме Саши Черного, с такой непринужденной естественностью мог ввести в лирический текст... жабу? Большинство его собратьев по перу не то что побрезговало бы, нет,— просто-напросто не заметило бы это малосимпатичное существо. Во-вторых, быть может, секрет в бегло мелькнувшей, словно солнечный лучик, улыбке, без которой Саша Черный, кажется, немислим?

Все это так, и наблюдения сами по себе верны. Но, сдается мне, что при этом уловлены лишь частные приметы музыки Саши Черного. А вот главное не удалось схватить. То, что составляет особое обаяние его стиха: пленительную пластичность, обволакивающую уютность речи, доверительность тона, какое-то удивительное добросердечие. Все это ускользает и не подлежит умозрительному истолкованию. Я бы предложил такое определение: интонация — это личность поэта, воплощенная и растворенная в ритмическом и образном строе стиха. Не потому ли мы о любимом поэте судим так, будто лично были знакомы с ним? В полной мере это относится и к Саше Черному. Трудно припомнить, у кого были столь же близкие, чуть ли не закадычные взаимоотношения с читателем. Поэт запросто, по-свойски приглашает его в гости:

* Базанов В. Пролетарскому поэту-трибуну... // Русская литература.— 1987.— № 4.— С. 175.

Кто желает объяснения
Этой странности земной,
Пусть придет в воскресенье
Побеседовать со мной.

Венедикт Ерофеев в эссе, посвященном Саше Черному, выделил в нем именно эту особенность: «Все мои любимцы начала века все-таки серьезные и амбициозны (не исключая и П. Потемкина). Когда случается у них у всех по очереди бывать в гостях, замечаешь, что у каждого что-нибудь да нельзя. «Ни покурить, ни как следует поддать», ни загнуть не-пур-ла-дамный анекдот, ни поматериться. С башни Вяч. Иванова не высморкаешься, на трюмо Мирры Лохвицкой не поблюешь. А в компании Саши Черного все это можно, он несерьезен, в самом желчном и наилучшем значении этого слова <...> С Сашей Черным «хорошо сидеть под черной смородиной («объедаюсь ледяной простоквашею») или под кипарисом («и есть индюшку с рисом») <...> здесь приятельское отношение, вместо дистанционного пиетета и обожания» *.

Однако было бы заблуждением думать, что приглашения к взаимной откровенности всегда лукавы или простодушны. Отнюдь. Нередко в них звучит душевный надрыв и inferнальные нотки, заставляющие вспомнить Достоевского:

Мой близкий! Вас не тянет из окошка
Об мостовую брякнуть шалой головой?
Ведь тянет, правда?

Кто же этот визави и адресат стихотворных обращений Саши Черного? Догадаться нетрудно: тот, кто был основным потребителем печатной продукции — российский интеллигент. Связь, судя по всему, была взаимной или, как говорят сейчас, обратной. Об этом свидетельствует хотя бы стихотворное письмо «киевлян-медичек», на которое поэт ответил феерически-надрывной исповедью — «Бодрый смех». Или факт, рассказанный И. М. Василевским (Не-Буквой), как в Томске полиция закрыла кружок молодежи, в котором обсуждались стихи Саши Черного. Читатель, может статься, потому доверился Саше Черному, что едва ли не впервые в отечественной поэзии тот заговорил от его имени — самого обыкновенного, заурядного, ординарного человека — человека «как все», или, по слову А. Шопенгауэра, «фабричного товара природы». Для пушей убедительности поэт принял его обличье. Срыватель «всех и всяческих масок», он сам воспользовался литературной маской. Кажется, никогда не знала наша словесность такой охоты к ряженьям и переодеваниям, как в начале XX века. Какая-то воистину повальная страсть к литературным мистификациям, к созиданию «творимой легенды». Надо полагать, что вся эта захватившая писательский мир карнавальность и театрализация жизни-игры была порождена изломом

* Автограф в архиве составителя.

веков, когда «красивый калейдоскоп жизни стал уродливо искажаться, обращаясь в дьявольский маскарад» *.

Раздвоенность литературного бытия обернулась стилизациями под галантный XVIII век или под языческую Русь. На этом костюмированном балу одни были обряжены в косоворотку, другие — в желтую кофту, а кто-то — «в чем-то испанском» или «в чем-то норвежском»... Правда, эта упоительная игра в богему была не столь весела и безмятежна, как может показаться на сторонний взгляд. Скорее она напоминала шутовской канкан у «бездны мрачной на краю»: то ли агония, то ли фарс, обернувшийся вскоре трагической мистерией. Несомненно, что многие прожигали жизнь с ощущением близящегося возмездия.

Саша Черный был истинным сыном своей эпохи, и ясно, что он не избег ее искусств и соблазнов. Вот только воспринял их на свой лад. В литературный «балаганчик», над входом в который светился «цветной фонарь обмана», поэт заявился в удручающе шокирующем некарнавальном облачении. Пиджак да брюки — гардероб среднего чиновника. Выбор, сказать по правде, был рискованный (в цирке это называется «смертельный номер»). Ведь кое-кто мог вполне принять личину за подлинное лицо автора. И в первую очередь те, кто ведал выдачей права на жительство в литературном участке. Не зря Саша Черный предварил свою новую книгу эпиграммой с четко обозначенным адресатом — «Критику». Подсказ, однако, не был услышан. Большинство маститых и полумаститых оценщиков от литературы отождествляли поэта с его лирическим «я». Пожалуй, разве что К. Чуковский да А. Амфитеатров провели в своих рецензиях четкую границу, отделив поэта от его литературной маски.

* * *

Дальнейший разговор пойдет о книгах поэта. Для ясности следует подчеркнуть, что между избранным, сборником и книгой стихов есть существенная разница. Последняя — это мера органичности поэта, продуманная стихотворная совокупность, скрепленная некой сквозной идеей, предполагающей последовательное чтение от начала до конца. Выстраивая архитектуру книги, поэт как бы начинает сам осознавать внутреннюю логику связей и соответствий между отдельными стихотворениями, возникавшими не по какому-то, хотя бы смутному плану, а по наитию, в стихийной бессистемности. Выходит, что, собранные вместе, они способны воссоздать мир поэта во всей полноте. При этом нелишними оказываются даже не совсем удачные стихи, малоприспособленные для самостоятельного существования. Поставленные в книге на свое место, они как бы протягивают руки друг другу, образуя монолитное единство, перекликаясь между собой. Стало быть: понять принцип, который двигал

* Иванов В. Борозды и межн.— М., 1916.— С. 136.

автором при организации книги,— значит подобрать ключ к миропониманию поэта.

Итак, в 1910 году вышли «Сатиры» — первая книга стихов Саши Черного. Нет, я не ошибся, ибо первой она названа самим поэтом в его краткой автобиографии (надо думать, он умышленно забыл о своем не совсем удачном книжном дебюте). Компоновка «Сатир» сопровождалась творческими муками особого рода: «Душа моя страдает, время идет, и я волнуюсь, как родильница перед первыми родами,— жаловался Саша Черный в письме К. И. Чуковскому.— Книжка висит над головой и положительно мешает работать». В конечном счете он пришел к идее сплошной циклизации, то есть соединению стихов в связки-разделы, спаянные и перекликающиеся меж собой в пространстве книги. Найденный принцип станет общим для всех последующих книг поэта.

Надо заметить, что Саша Черный с тщанием подошел не только к составлению книги, но и к таким ее частностям и деталям, как заголовки разделов, выбор эпитафий к ним — ко всему, что было призвано работать на общий замысел. Даже к оформлению, ибо известно, книгу, как и человека, «встречают по одежке, провожают по уму». Видимо, поэту было важно, чтобы его первую книгу стихов встретили хорошо. Не потому ли подбор графических соответствий поэзии был доверен художникам, близким по духу Саше Черному и, к тому же, его добрым знакомым: сатириконецу Ре-Ми и «мирискуснику» М. В. Добужинскому, чьи «Гримасы города» так органично вписались в художественную систему «Сатирикона».

Обложка работы Ре-Ми оформлена в виде обоев грязно-зеленого цвета с трафаретным рисунком. Футуристы, помнится, тоже использовали обои в своих первых альманахах — дабы эпатировать публику. У Ре-Ми была иная цель. Художник удивительно точно почувствовал сквозной мотив «Сатир»: образ комнаты — «коробки тесной», где, «словно ерш на сковородке, обалделый человек». Надоевшие, опостылевшие стены вырастают в символ жизненного тупика: «Дома стены, только стены, дома душно и темно!», «Дома четыре стены — можешь в любую смотреть...». В сущности, затрапезный декор книги под стать будничной униформе героя «Сатир». Благодаря удачно найденному изобразительному решению определенный настрой создается еще до прочтения книги.

Но вот она раскрыта. Каждый раздел предварен заставкой-миниатюрой М. В. Добужинского, представляющей собой графическое истолкование темы. Исполнены они с присущим этому мастеру изяществом, лаконизмом и колкой иронией, что как нельзя лучше отвечает духу «Сатир».

Коль скоро речь зашла о Добужинском, то позволю себе напомнить его знаменитую картину «Человек в очках»: на фоне окна застыла постная фигура интеллигента-идеалиста, а в проеме

за ним виднеется безрадостный городской ландшафт. Один вид этой безликой физиономии невольно вызывает в памяти строки Саши Черного:

Кожа облупилась, складочки и складки,
Из зрачков сочится скука многих лет.
Кто ты, худосочный, жиденский и гадкий?
Я? О нет, не надо! Ради Бога, нет!

Поэт и живописец независимо друг от друга уловили нечто общее, по-видимому, витавшее в атмосфере эпохи, попытались отобразить каждый своими средствами недуг бытия, которым поражено было русское культурное общество в начале века. Проницательному и беспощадному анализу этого недуга был посвящен и вышедший в 1909 году сборник статей о русской интеллигенции «Вехи». «Наша интеллигенция на девять десятых поражена неврастенией; между нами почти нет здоровых людей,— все желчные, угрюмые, беспокойные лица; все недовольны, не то озлоблены, не то огорчены»,— констатировал М. О. Гершензон. Единство Саши Черного и «Вех», выросших от одного корня, было с ходу подмечено К. И. Чуковским: «Тысячи Черных Саш должны были ныть, выть и биться о стену головой, чтобы это оформилось в доцентские периоды Гершензона, и как боль жизненна, подлинна, раз она сразу сказала и в философическом сборнике и в журнале для свистопляски,— на двух полюсах нашей литературы?» *

В названии заглавного раздела, которым открывается книга Саши Черного, использовано евангельское выражение: «Всем нищим духом». Обидное, оскорбительное и в то же время пронзительно болезненное заглавие-посвящение. Будто в кривом зеркале, коверкающем черты лица, доводя их до гротеска, перед читателем был явлен жалкий, нелюбезный облик современника. Личность, отчасти уже знакомая по чеховской прозе. Вот далеко не полный перечень симптомов болезни, которую Саша Черный определил как «малокровие нищей души»: внутренний разлад и опустошенность, незнание и боязнь народа, отторженность от природы, сознание собственной никчемности и бесполезности, отчужденность в отношениях с себе подобными и в то же время стадная нетерпимость ко всем, мыслящим иначе, не разделяющим передовые, с их точки зрения, взгляды.

Повседневность всех этих квартирантов, жильцов, служащих, дачников, пассажиров трамвая стандартизована и убого ограничена. От «проклятых» вопросов, от бесплодного суесловия споров — споров «без исхода, с правдой, с тьмой, с людьми, с самим собой» — они готовы кинуться в другую крайность — в суетность, долженствующую имитировать жизнеподобную активность:

* Чуковский К. И. Современные Ювеналы // Речь.— 1909.— 16 авг.

Сбежались. Я тоже сбежался.
Кричали. Я тоже кричал.
Махал рукой. Возмущался.
И карточку пристапу дал.

Во всем этом есть, право, какая-то механистичность. Если же попытаться суммировать отдельные слагаемые сутолоки городского бытия, то, боюсь, сольются они в одно слово — «скука».

Тема духовного обнищания, открывающая «Сатиры», прочными нитями связана с остальными разделами книги, где она повернута иными гранями и аспектами, явленными в чисто внешних формах бытования. «Б ы т» — заглавие следующего раздела. Пояснений оно едва ли требует. В схваченных с беспощадной зоркостью мелочах жизни, в подробной вещевой конкретике воссоздана среда обитания интеллигента. Или, выражаясь резче и определеннее, — та будничная «обстановочка», что порождена и взлелеяна обывателем, которому для бытового комфорта потребна вовсе не культура в строгом и высоком понимании этого слова, а некий суррогат. Он трансформирует высшие проявления человеческого духа в сферу обслуживания бездуховной души. Приспособливая, снижая, тиражируя их, он способен опошлить даже истинные ценности. Так, скажем, в начале века неизменными атрибутами гостинной были репродукции — беклиновский «Остров мертвых» либо репинский «босой Толстой». А каковы они — нынешние аксессуары престижности?

Как много, оказывается, может сообщить о владельце содержимое чемодана среднестатистического петербуржца, собирающегося на курорт:

Белая жилетка, Бальмонт, шипр и клизма,
Желтые ботинки, Брюсов и бандаж.

В этом соседстве заключен некий компромат — вещи вопиют. Попутно можно заметить, что в этих строках содержится элемент пародии — иронический перепев коронного бальмонтовского приема нанизывания слов, начинающихся на одну букву (в данном случае это буква «б»). Но это к слову.

От житейской скверны, от «мусора безрадостного быта» естественно воспарить — куда? — конечно, к сферам возвышенным, к эмпириям культуры и политики. Невозможно представить времяпровождение интеллигентного человека без обмена информацией (в наше время даже возникло такое словечко «пообщались»). «Прочитали Метерлинка?» — «Да. Спасибо, прочитал». — «О, какая красота!» Или из сегодняшнего лексикона: «Читали в последнем номере «Независимой газеты»?» Отсюда легко понять, что два следующих раздела «Сатир» посвящены текущей литературе и газетной злобе дня.

Из самого названия «А в г и е в ы к о н ю ш н и» явствует, что поэт взвалил на себя черновую работу по расчистке «стойла Пегаса» от мусора и грязи. Присматриваясь к властителям дум, снискавшим шумный, скоропалительный успех, Саша Черный

нередко испытывал чувство разочарования: «Не то что вместо хлеба камень, а как в детском обмане: одна конфетная бумажка, в ней другая, в ней еще другая, а в последней — ничего» *.

Здесь речь идет о писательской элите, о кумирах читающей публики. Но помимо них в литературном цехе процветала развязная и наглая бездарь, прометействующие бормотальщики с чужого голоса. Касательно их Саша Черный беспощадно ироничен и уничтожающе язвителен: «Писаря и фельдшеры, начитавшись «Золотого Руна», любят узывно выражаться,— одним — наиболее расторопным и крикливым везет, и они становятся на полторы недели знаменитыми». Эпоха модерна в его представлении ассоциировалась с разгулом порнографии, снобизмом, манерностью, скороспешными братаниями со стихиями. Отсюда печально-гневная констатация:

А наш изысканный Парнас
Зарос репьем по голенище.

Но апофеозом вакханалии, устроенной торгующими в храме, стали, по убеждению Саши Черного, футуристы. Они весело и скандально вломились в литературу, бросив вызов здравому смыслу, эпатуруя в целях рекламы публику. Они и послужили мишенью наиболее, пожалуй, острых стрел из сатирического колчана Саши Черного. Впору удивиться тому, что Саша Черный, чья поэзия воспринималась как «пощечина общественному вкусу», напрочь отверг русский авангард. А опровергатели, напротив, называли Сашу Черного «поэтом почитаемым» (В. Маяковский). Как это прикажете понимать? Противоречия, думается, нет. Внутренняя свобода, которая потребна поэту, чтобы вольно разговаривать с миром, ничего общего не имеет со вседозволенностью, с фрондерским попранием моральных заповедей. «Не потрафляй, даже если ты можешь рассчитывать на восемнадцать изданий»,— гласит один из афоризмов Саши Черного, обращенный к собратьям по перу. Сам он был на этот счет исключительно строг и бескомпромиссен. Однако подобная, строго моралистская позиция в ту пору не могла не восприниматься как некий анахронизм и донкихотство. Из тех немногих, кто по достоинству оценил беспощадные клеймления и ярое ратоборчество Саши Черного, был Амфитеатров: «Наконец-то! — восклицал он,— на Руси подрастает и крепнет новый «рыцарь духа», воинственный, мужественный и сильный» **.

В названии раздела «Невольная дань» слышится — не правда ли — оттенок какой-то извинительности. И то сказать: разве пристало поэту — Поэту с большой буквы отбивать хлеб у газетных зоилов и борзописцев, ведущих свой род от гоголевского Тряпичкина, излагать в рифму то, что изжевано вчераш-

* Письма Саши Черного к Горькому // Горький и его эпоха. Вып. 2.— М., 1989.— С. 23.

** Амфитеатров А. В. О Саше Черном // Одесские новости.— 1910.— 29 июня.

ними газетами? Достойно ли — воспользуюсь метким выражением Амфитеатрова — заниматься «размениванием золотого таланта на двугривенные очередного гонорара» или, преодолевая брезгливость, вновь и вновь разоблачать звериную сущность густопсовых черносотенцев — всяких там дубровиных, марковых, пуришкевичей? Ведь сам Саша Черный лучше, чем кто-либо, осознавал, что не в них дело:

О, ужели пять-шесть ненавистных имен
Погрузили нас в черный безрадостный сон?

Не потому ли поэт впоследствии исключил этот раздел из состава «Сатир»? Ибо ничто не устаревает так стремительно, как крамола, еще вчера требовавшая гражданской отваги и сатирической изощренности.

Да, это так. Но вот что поражает: вникая сегодня в злободневные подробности «бездарной толчеи российских дел» почти что вековой давности, невольно начинаешь проецировать их на день нынешний. Иной раз диву даешься, сколь современно звучат те «наивные» вопросы, которые когда-то волновали поэта.

А либеральные балалайки, ораторствовавшие с трибуны Таврического дворца? Читая об этих вершителях государственных судеб, более всего озабоченных собственными политическими амбициями, борьбой парламентских фракций и партий, желающих покрасоваться («театр для себя») и менее всего задумывающихся о том, как их словопрения аукнутся в судьбе страны и народа, поражаешься их теперешним соответствиям и подобиям.

Невольно закрадывается сомнение: быть может, сатиры Саши Черного на злобу дня вовсе не однодневки, раз они способны вызвать в сердцах читателей иных исторических эпох эмоциональный отклик и сопереживание? Ведь в основе их лежит подлинное гражданское чувство, искренность и глубина тревоги («считать ли себя мне холопом иль сыном великой страны?»), бессилье гнева, когда поэт понимал, что изменить что-либо он не в силах, что зло неискоренимо, но носители его должны быть пригвождены к позорному столбу. Именно это позволяет считать уколы злободневного жала фактом поэзии, ибо несомненным признаком последней является способность к долговечности.

После мрачноватых красок предыдущих разделов палитра книги постепенно начинает высветляться. Уже с раздела «Послания» идет на убыль отрицательно окрашенная лексика. В стихах все больше улыбки, ласкового солнечного света. Вроде как, помните, в детской игре: тепло... еще теплее... жарко! Знакомый нам городской житель, попав на пляж (на дачу, на «кумыс»), начинает разоблачаться, и вместе с одеждой — о чудо! — «вся интеллигентность слетает радостно-легко, точно это была городская случайная форма, тесная, будничная, общеобязательная и потому надоевшая бесконечно» *.

* Саша Черный. Опять // Луч света.— 1909.— 20 января.

От солнечной ласки начинают оттаивать бумажно-чернильные души. Даже в самых заскорюзлых монстрах казенного аппарата начинает проглядывать нечто человеческое:

За зеленой оградой,
Растянувшись, как краб,
Полицейский с отрадою
Из песку лепит формочкой баб.

Средь столбов с перекладиной
Педагог на скрипучей доске
Кормит мопса говядиной
С назиданьем при каждом куске.

Бюрократ в отдалении
Красит масляной краской балкон.
Я смотрю в удивлении
И не знаю: где правда, где сон.

От курзалов и купальных будок действие, как говаривали когда-то, «переносится в Пизу» — то бишь, в Житомир, узнаваемый в сочных бытовых зарисовках, которые составили раздел «Провинция». С этим городом у Саши Черного связаны не только разочарования юности, но и первая робкая любовь и первые рифмованные строки, написанные в сладком бреде. Поэтому, наверное, на смену «добродушию ведьмы», которым отличались его петербургские гротески, приходит беззлобный юмор. В картинках провинциальной жизни поэт воскрешает и любовно живописует бесконечно милые подробности и потешные нравы родной улицы, сохраненные его образной памятью.

Полноте! А как же глушь и дичь, идиотизм и дремота провинциальной жизни, мимо чего не прошел, кажется, ни один из бытописателей российской глубинки?! Особливо сатирики и юмористы — ведь для них провинция была лакомой темой, считалась их удельной вотчиной. И впрямь, те причудливые, карикатурные, дикие формы, которые приобретает цивилизация, внедряясь в захолустье, давали простор для остроумия и насмешек. Вот и в провинциальных шаржах Саши Черного ощутима изрядная доля иронии. Однако все же преобладает снисходительно-доброжелательный настрой. По-видимому, некоторую ностальгическую идеализацию сообщила провинциальным шаржированным зарисовкам удаленность во времени и пространстве (взгляд из Петербурга по прошествии 4—5 лет). Но, возможно, причина лежит глубже. Нельзя исключить, что в простоте и безыскусности нравов, в хлебосольстве и домовитости, в патриархальных обычаях, сохранившихся в губернской и уездной глуши, поэт интуитивно угадывал некий нравственный оплот, который еще как-то противостоит нашествию цивилизации (о чем речь впереди).

И наконец, под занавес, в качестве заключительного аккорда: «Лирические сатиры» — цикл, проникнутый душевным умиротворением, искрящийся буйным весельем. Впрочем, и он не до конца свободен от скепсиса и иронии (оно и понятно: сатира

есть сатира, пусть даже лирическая). В этом разделе Саша Черный словно задался целью напомнить «пиджачным» людям, задавленным городом, сколь сладостны земные плоды и благодатны простые радости бытия. Впору усомниться: ужель это тот самый желчный пессимист, что в иступленном отчаянье слал проклятия жизни «мерзкой и гнилой, дикой, глупой, скучной, злой»? Кто, как не он, язвительно издевался над интеллигенцией? (Так и вертится на языке слово «гнилая», приклеенное в эру диктатуры пролетариата.) Пренебрежительный этот штамп заставляет нас вновь вернуться к образу героя «Сатир». Затем, чтобы, наконец, разобраться, как же относился к нему автор.

Прежде всего надо сказать, что почти всеми рецензентами Саша Черный был дружно титулован глашатаем интеллигенции. А его «Сатиры», прочно вписавшиеся в духовный инвентарь эпохи, были поименованы в одном из критических откликов молитвенником современного интеллигента. Подобные обобщения, видимо, были не лишены оснований, ибо в сумме привычек, поступков, речевых стереотипов Сашей Черным был действительно запечатлен собирательный образ. Образ исключительной обобщающей силы, вернее всяких внешних атрибутов (пенсне, шляпа, борода клинышком), дающий представление, что такое «интеллигент». Категория, смею думать, не столько социальная, сколько нравственная и психологическая. И, как всякий точно уловленный художником человеческий тип, он, этот образ, не только нес в себе приметы своей эпохи, но и обнаруживал поразительную живучесть во времени. За примерами недалеко ходить: квартирант из стихотворения «Колумбово яйцо», погруженный в глубокомысленные раздумья о собственной роли и о предназначении дворника, — не родной ли он брат Васисуалия Лоханкина? Различие, разумеется, есть, но оно, видимо, в подходе авторов к своим персонажам. Важно понять, чем движим сатирик, взявшийся за «отравленное» перо. Иначе говоря, надобно ответить на сакраментальный вопрос: во и м я ч е г о? Авторы «Золотого тельца» так препотешно, с какой-то веселой лихостью высекали незадачливого «мыслителя» из «Вороньей слободки», похоже, ни на секунду не сомневались в правомерности наказания. И поделом: всяким лишенцам, «жалким ничтожным» личностям не место в новом мире.

Что касается Саши Черного, то общепринятые мерки для оценки обличительной литературы к нему не применимы. Недаром присяжные регистраторы от литературы пребывали в растерянности, не зная, по какому разряду числить его писания: «Какая странная сатира! Сатира-шарж, почти карикатура, и вместе с тем — элегия, интимнейшая жалоба сердца, словно слова дневника» *. И подлинно: вчитайтесь в горько-издевательские

* Колтоновская Е. А. Новая сатира // Сибирская жизнь. — Томск. — 1910. — 29 авг.

строки Саши Черного — «в них наши забытые слезы дрожат». Сатиры его — это письма к ближним, попавшим в беду, к тем, кто умудрился собственную жизнь — дарованное им драгоценное чудо — так бездарно исковеркать.

Задача сатиры — заставить содрогнуться, вызвать дрожь отвращения, явив лик в беспощадном зеркале подноготной правды. Саша Черный как сатирик в этом деле преуспел. Однако изничтожение персонажей не самоцель. Он оставляет «малым сим», этим бедным взрослым, заблудившимся, «словно дети в незнакомой роще», надежду на духовное выздоровление. Поэт не устал повторять: «Быть живым драгоценней всего!», ибо верил и знал точно, что там, за тучами, есть солнце, что «лес и небо, как нежная тайна, а от боли лекарство — смех». Воистину гимном веселью и радости звучат мажорные строки «Карнавала в Гейдельберге»:

Город спятил. Людям надоели
Платья серых будней — пиджаки,
Люди тряпки пестрые надели,
Люди все сегодня — дураки.

Смех объединил разрозненные человеческие особи в задорно хохочущее братство. Таких вспышек беспечности, таких мгновенной внутренней раскрепощенности в жизни каждого наперечет. Но тот, кто хоть изредка способен отдаться вольному полету фантазии, отрешиться от стандартизированной повседневности, уже не безнадежен, не совсем мертв. Этим проблеском надежды (быть может, иллюзорной) завершаются «Сатиры», а с ними и последний раздел книги — «Лирические сатиры», уже самим своим названием передающий эстафету следующей книге стихов — «Сатиры и лирика».

* * *

Сатира и лирика... С этим парадоксальным слиянием двух начал, с двусоставностью творчества Саши Черного приходится сталкиваться на каждом шагу. Ибо Саша Черный принадлежит к тому редкому типу художника, чей смех замешан на слезах. Как-то Арсений Тарковский назвал его великим юмористом и сатириком. Почетный титул, однако мне представляется, что Сашу Черного все же следует числить несколько по другому ведомству. Он принадлежал к той уникальной ветви словесности, которая именуется трагикомедией, с ее неизменными символами — театральными масками скорби и смеха. Его родственники по прямой линии — Гоголь, Чехов... Не случайно сатириконец Д'Актиль, высоко ценивший талант Саши Черного, однажды обмолвился: «Он был не чета нам...» Что имелось в виду? Надо полагать, не одна лишь разница в даровании, но и качественное отличие. А именно то, чем отличается способность к остро словию от амбивалентности смеха. Имеется в виду особое свойство

души, рожденное из ощущения разлада мира чаемого и мира сущего. Не зря подмечено, что все великие юмористы в жизни чаще всего печальны и мрачны.

Вот и Саша Черный весь, кажется, соткан из полярностей и противоречий — возвышенное и земное, нежность и колючесть, кротость и бунтарство, консерватизм и эксцентричность, утверждение и отрицание... Можно долго продолжать подобные антитезы. Откуда эта двойственность? Сам Саша Черный только раз проговорился или, вернее, дал подсказ, где следует искать ее истоки. В стихотворении «В пространство» — своего рода визитной карточке поэта, открывающей книгу «Сатиры и лирика», — сказано следующее:

Ужель из дикого желанья
Лежать ничком и землю грызть
Я исказил все очертанья,
Лишь в краску тьмы макая кисть.

Я в мир, как все, явился голый,
Я шел за радостью, как все.
Кто спеленал мой дух веселый —
Я сам? Иль ведьма в колесе?

Эти строки возвращают нас к трагическим обстоятельствам детских и юношеских лет поэта, его хождений по мукам, заставляющим вспомнить петербургские романы Достоевского. Впору подивиться тому, что зло не выело его «дух веселый», что сумел он сохранить в неприкосновенности свои детские представления и верования, защищая их оружием смеха, иронии и сатиры.

Именно в таком качестве, в роли воителя запомнился Саша Черный современникам: «В этом тихом с виду человеке жила огненная злоба» (П. Пильский). Но далеко не все из них догадывались, что «заклятие смехом» — не что иное, как рыцарская защита своих идеалов. Впрочем, Саша Черный сам дал предельно четкую и поэтически емкую формулу своего необычного дарования:

Кто не глух, тот сам расслышит,
Сам расслышит вновь и вновь,
Что под ненавистью дышит
Оскорбленная любовь.

Недаром последняя строка вынесена в заголовок настоящей статьи. В ней квинтэссенция того энергетического потенциала, который питал музу Саши Черного. Впрочем, не его одного. Вот слова, сказанные М. Булгаковым в его первом художественном фельетоне «Муза мести», посвященном Некрасову: «Но не может жить великий талант одним гневом. Не утолена будет его душа. Нужна любовь. Как свет и тени...»

В сущности, все творчество Саши Черного — это изъявление любви, и надо только уметь разглядеть ее. И недаром поэт уподоблял свою лирику райской птице, привязанной на цепочке, которую «свириная муза» сатиры хватает время от времени «за

голову и выметает ее великолепным хвостом всякого рода современную блевотину» *.

Отсюда композиционный принцип книги стихов «Сатиры и лирика», раскрывающейся двусторчатым складнем. Пафос отрицания (разделы «Бурьян», «Горький мед», «У немцев») уравновешен пафосом утверждения (раздел «Иные струны»). У книги как бы два крыла — темное и светлое, что нашло свое воплощение в единственном скромном украшении книги — виньетке работы С. Чехонина, вынесенной на обложку. Венок из кленовых листьев оливково-желтого и буровато-черного цвета, медленный хоровод темного и светлого выглядит неким геральдическим знаком Саши Черного.

На первый взгляд может показаться (такая мысль высказывалась в рецензиях), что, в принципе, Саша Черный в новой книге ничего нового не предложил и продолжал разрабатывать темы «Сатир». Но это не совсем так, а если вникнуть — совсем не так. И вот почему. Заставляет задуматься хотя бы то, что Саша Черный снабдил каждую из них подзаголовком: книга 1-я и книга 2-я (что оставалось неизменным при всех последующих переизданиях, даже берлинском). Следовательно, рассматривал их совокупно — как двухтомник, как нечто целое, взаимодополняющее. Смею думать, что из этого следует не так уж мало.

Представляется, что обе книги вкупе как бы моделируют миропонимание поэта, которое зиждилось на идущих издревле, еще от времен Адама представлениях о делении мира на Добро и Зло. В книге «Сатиры и лирика» эти противоборствующие категории разведены по сторонам, в «Сатирах» же — полнейшее столпотворение. Героем последних был обычный, средний человек, редко выступающий как носитель абсолютного добра или зла: «... человек то змей, то голубь, — как повернуть», — скажет Саша Черный в «Библейских сказках». Постоянно квартирующие в человеческой душе ангел и дьявол находятся в непрерывном борении и тяжбе. Стало быть, в таком понимании композиционный расклад двухтомника таков: с одной стороны — Добро, с другой — Зло, а посерединке человек, стоящий перед выбором. Само собой, это только схема и, как всякая схема, она страдает синдромом прокрустова ложа, не способна вместить все сложности и разнообразие поэтического мира. Но, мне думается, она все же позволяет обнаружить на стыке двух книг контрапункт миропорядка Саши Черного. Именно здесь средоточие, где сходятся все концы и где все противоречия сведены в некое гармоническое единство.

* * *

За выяснением основополагающих начал поэтического мира Саши Черного мы забыли о нашем путешествии по второй книге

* Письма Саши Черного к Горькому // Горький и его современники. Вып. 2. — М., 1989. — С. 25.

стихов «Сатиры и лирика». Итак, открывается она разделом «Бурьян». Смысл и происхождение заголовка проясняет строка поэта: «Иль мир бурьяном зла зарос».

Бурьян зла... Саша Черный, пишущий о мерзопакостном человеческом чертополохе, о «рухляди людской», — зол, гневен, желчен, яростно негодуя... В сатирах он отводил душу, ибо в повседневной жизни, сталкиваясь с наглыми проявлениями зла, поэт обычно увядал и замыкался. Тематика уже первых стихотворений раздела позволяет заключить, что истинным средоточием зла Саша Черный считал город. И не просто некое урбанистическое пространство, а персонифицировано — Петербург, с его лекционными залами, вернисажами, питейными и увеселительными заведениями и пр. Здесь обиталище и гнездилище зла. Здесь оно приобретает невиданно грандиозные и ужасающие формы, такие, скажем, как стадность. При этом скопище человеческих особей в гиперболическом преломлении поэта обретает подобие химерического шабаша вроде гоголевских кошмаров и фантазмагорий:

Весело, весело! Пестрые хари
Шелкают громко зубами,
Проехал черт верхом на гитаре
С большими усами.

Прямо оторопь берет — невольно приходят на ум слова, взятые Радищевым в качестве эпитафии: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Зло, оно уверено в своей всеисильности и неистребимости. Неспроста более всего ему пристали такие эпитеты, как торжествующее, нахрапистое или, по определению Саши Черного, сторукое. Однако при всей многоликости оно сводимо к трем основным исчадиям: Пошлости, Хамству и Глупости (зачастую, впрочем, все они слиты воедино). Пуще всего Саше Черному был ненавистен дурак — категория вечная и далеко не безобидная. Ибо, по словам поэта, именно «глупость все ценности превращает в карикатуры: вместо гордости у нее наглость, вместо общественности стадность, вместо любви флирт, вместо славы успех...». Сознвая тщетность усилий, поэт вновь и вновь бросался в бой, стремясь по мере сил хотя бы исправить «опечатки в безумной книге бытия».

Позволю себе некоторую рокировку: минуя раздел «Горький мед» (к нему мы еще вернемся), перейдем сразу к разделу «У немецев». По сложившейся традиции давать свое толкование названию разделов задумаемся: с чего, право, Саша Черный вздумал особо выделить путевые зарисовки, связанные именно с Германией, а, допустим, не с Италией, где ему довелось бывать не реже? Заметим также, что при отборе поэт руководствовался не одним географическим признаком, ибо многие стихотворения с пометой «Гейдельберг» не были включены в «немецкий» отдел и нашли свое место в «Лирических сатирах» или

«Иных струнах». Надо думать, Саша Черный вознамерился создать поэтический бедкер отнюдь не по Германии, а по некоей империи зла, каким ему представилось цивилизованное общество зарубежья.

Отсюда становится понятен совершенно определенный подбор стихотворений, исполненных сарказма и презрения. Читая их подряд, начинаешь осознавать, что наш отечественный «бурьян» куда менее зловреден и ядовит, нежели «цветы зла», возвращенные на ухоженной и упорядоченной европейской клумбе. Хотя они и чем-то схожи: наша «мадам», пытавшаяся оградить свою дочку от «голодранца студента Эпштейна», и фрау, мать отравившейся Минны, которая «с густым благородством на вдовьем лице» отправилась за справкой, удостоверяющей, что «Минна была невинна». Последняя, пожалуй, страшнее. Фарисейская добропорядочность, пуризм, следование приличиям вытравили из нее все человеческое, даже такое естественное проявление чувств, как горе. Можно ли считать цивилизацию и прогресс благом, если они ведут не к увеличению любви к людям, ко всему живому на земле, а к разрушению личности, к разобщению людей, превращению народа в социум, в арифметическое большинство «бездарно и безрадостно похожих, как несгораемые тусклые шкафы»? Видимо, именно таким апогеем обезличивания показалась поэту Германия, где пошлость, точнее — коллективная пошлость, возведена в абсолют: «Видишь, как они гуляют *ins Grüne* *, как торгуют могилами своих великих писателей; видишь их на рынке, на публичных лекциях; видишь их идиотских корпорантов: на празднике гимнастического клуба; видишь Берлин — эту огромную лавку и пивную с его нелепыми монументами и портретами кайзера; видишь детей, юношей, стариков, старух, девушек и самок («раскрахмаленных лангуст»)). Эти дышащие негодованием и презрением слова принадлежат А. Куприну. Пожалуй, резче и выразительней о «немецком» цикле сказать невозможно, и потому закончу его же словами: «И надо всем этим — лицемерие, затаенное любовострастие, обалдевая маршировка в ногу, крикливый пивной патриотизм, шаблон, индюшечья надменность и плоская, самодовольная тупость» **.

Раздел «Г о р ь к и й м е д» видится мне неким буфером между двумя полюсами книги стихов. Все градации сатиры — от легкой усмешки и издевки до трагических гротесков — соседствуют с прорывами в страстный лиризм и — другого слова не подберу — в целомудрие. Для чуткого читателя раздвоенность ощутима уже в самом названии раздела. Следует заметить, что Саша Черный весьма большое значение придавал заглавию — будь то книга, цикл или отдельное стихотворение, — стремясь совместить в нем многозначность и простоту. Ибо, по его глубокому убеждению, «заглавие — символ, любовно выбранное имя,

* На природе (*нем.*).

** Журнал журналов.— 1915.— № 7.— С. 4.

а вовсе не пустая подробность. Можете ли вы прекрасное звучание слов «Дворянское гнездо», «Отец Сергей» подменить каким-нибудь «Ки-ка-пу» или «Шурум-бурум»? Попробуйте» *.

Итак, любовь... Понятие, в котором самой природой слиты взаимоисключающие, казалось бы, противоположности: одухотворенное, беззаветно-жертвенное, интимное чувство и чисто физиологический инстинкт. Эрос, правящий миром... Великое таинство любви... Темы эти исстари считались прерогативой поэзии. В «Горьком меде» Саша Черный подошел к этой возвышенной теме как бы с тыла: карикатура на любовь, суррогат любви, ее обывательская имитация. Все сведено либо к флиртоблуду, пикантностям, либо к узаконенным и выставленным на всеобщее обозрение формам бытования взаимоотношений между полами. В этом деформированном, «нормальном» мире первое амурное признание более походит на деловой сговор партнеров о сожительстве («Мой оклад полсотни в месяц, ваш оклад полсотни в месяц, — на сто в месяц в Петербурге можно очень мило жить...»). Пучина страстей сводится к сытому, равнодушному удовлетворению чувственности («так, знакомая близко жила»). Всего ужасней, что при этом стираются бесконечно близкие, неповторимые черты любимого существа. И вот уже «нет Гали, ни Нелли, ни Мили, ни Оли», а вместо любвеобильного франта на скамейке в Александровском саду донжуанствует безликий котелок, склоняющий «шляпку с какаду» — к чему? — ясно, к чему. Чем, право, они, добропорядочные дамы и господа, лучше панельной красотки, «чумы любви в накрашенных бровях»? «О, любовь, земное чудо, приспособили тебя!» — в сердцах восклицает поэт. Характерно, что объектом его сатир становятся не какие-то особо вопиющие «факты», а то, что в житейском, в нашем «взрослом» понимании считается нормой. Надо обладать непосредственностью андерсеновского мальчика, чтобы, отбросив покров привычного, во всеуслышание крикнуть: «А король-то голый!»

Отнюдь не стремление купаться в житейских грязях привело Сашу Черного к «Горькому меду». В этом смысле любопытно сопоставление его с В. В. Розановым, как известно, также отдавшим дань вопросам пола в своих писаниях: «Саша Черный пишет только о грязи — выходит хрустально чисто, г. Розанов пишет только о возвышенно чистом — выходит грязно» **.

Слова эти возвращают нас к заглавию настоящей статьи: боль автора «Колыбельной» и «Страшной истории», обида за погранный идеал — воистину «оскорбленная любовь».

Таимое в душе целомудрие непременно должно было вывести поэта-сатирика к чистой, не замутненной скепсисом и иро-

* Черный А. Передоновщина // Русская газета.— Париж.— 1924.— 6 ноября.

** Амфитеатров А. В. О Саше Черном // Одесские новости.— 1910.— 29 июня.

нией лирике заключительного раздела — «Иные струны». Раздела, предсказанного еще в начальных строках «Лирических сатир».

Хочу отдохнуть от сатиры...
У лиры моей
Есть тихо дрожащие, легкие звуки.
Усталые руки
На умные струны кладу
И в такт головою киваю...

Голос поэта обретает совсем иное звучание, и «сейчас же рядом расцветают у Саши Черного скромные, благоуханные, прекрасные цветы чистого и мягкого лиризма» (А. Куприн). Лирической стихии Саша Черный отдался легко и радостно, ибо истинное предназначение поэта все же не в отрицании, а в приятии мира, в восхищении его дивной красотой. В сущности, он так и прошел по земле беззаботным бродягой, очарованным странником. Не побоимся сказать красиво: величественная мистерия природы, неисчерпаемая в своих проявлениях, была в сущности главным героем лирики Саши Черного.

Теперь поэту предстояло опровергнуть собственное утверждение, что «у ненависти больше впечатлений», что «у ненависти больше диких слов», доказать, что любовь много догадливее, щедрее, прихотливее и бесконечно разнообразнее в речевом проявлении. Его описания отличаются не только зоркостью словесной живописи, но и каким-то особым поэтическим виденьем и только ему, Саше Черному, присущим «прирученным» характером образов. Вот, если угодно, небольшой букет из строк Саши Черного, где фигурирует слово «ветер»: «Вешний ветер закрутился в шторах и не может выбраться никак», «Ветер крылья светлосиние сложил», «Веет ветер, в путь зовет, злодей!», «В кустах шершавый ветер ругнулся на цепи», «По тихой веранде гуляет лишь ветер да пара щенят»... Право, трудно остановиться, отказать себе в удовольствии нанизывать еще и еще строчки, овеянные улыбкой, добротой и какой-то детской пытливостью, всепоглощенностью окружающим миром — цветущим, стреко-чущим, порхающим...

В этом месте естественно перейти к еще одной особенности музыки Саши Черного — тяге ко всяческой живности, к «братьям нашим меньшим». Особенность эта, подмеченная еще В. Сириным (более известным под его собственной фамилией В. Набоков): «Кажется, нет у него такого стихотворения, где бы не отыскался хоть один зоологический эпитет,— так в гостиной или кабинете можно найти под креслом плюшевую игрушку, и это признак того, что в доме есть дети. Маленькое животное в углу стихотворения — марка Саши Черного» *.

Обратим внимание, что в этом высказывании как бы ненаро-

* Сирин В. Памяти А. М. Черного // Последние новости.— Париж.— 1932.— 13 авг.

ком задета еще одна приверженность Саши Черного — приверженность его к детскому миру. Даром что взрослый, он всегда проявлял неподдельный интерес к тем, кто только начинает познавать мир и потому свободен в своих оценках, симпатиях и антипатиях, не подвластен гипнозу общественного мнения, штампам условностей и шкале ценностей. Именно в мире малышей Саша Черный отыскивал отраду и утешение, непосредственность и гармонию — все то, что чаял, но не мог найти в мире взрослых. Ибо душа маленького существа доверчиво повернута к радости, добру, ласке, любви... Дитя или вольный зверек — каждый из них естествен и особлив на свой лад.

Впрочем, я несколько забегаю вперед: дети и звери полновластно войдут в творчество Саши Черного много позже. Но в «Иных струнах» уже сделана заявка: вслед за страницами, где безраздельно царствуют милые его сердцу — солнце, море, ветер, зелень, помещены стихи, покуда единичные, посвященные малым детям. На фоне нашей высокой поэзии, отмеченной в большинстве своем знаком бездетности, они выделяются уникальным, каким-то трогательным проникновением в душу крошечного существа.

* * *

Переходя словно из зала в зал, от раздела к разделу, мы проследовали через обе книги «Сатиры» и «Сатиры и лирика». Если не считать двух книжек для самых маленьких, то более книг поэта в России не выходило. После их выхода в 1911 году Саша Черный как бы сгинул из литературного житья-бытья, потому так затруднительно было уследить читателю за единичными публикациями, появлявшимися в разных газетах (да к тому же подчас в провинциальных). Даже редакционные работники потеряли поэта из виду и допытывались у его младшего брата, начавшего подвизаться на литературном поприще под псевдонимом Георгий Гли: «Скажите, где теперь ваш брат? Не знаете ли вы его адрес? Не даст ли он нам стихотворение?»

Исчезновение поэта с литературной арены объясняется тем, что незадолго до выхода двухтомника Саша Черный неожиданно для всех, без всякого видимого повода порвал с «Сатириконом» — раз и навсегда. Остается только гадать, что заставило его решиться на такой шаг. Почувствовал ли он исчерпанность прежнего этапа и хотел прислушаться к новым голосам в себе? Похоже, что именно так. Ведь для этого нужна хотя бы иллюзия спокойствия, возможность творить без всяких прав и обязательств. Отсюда робинзонские устремления поэта к уединению, попытки отыскать «тихий остров без названья». Вначале таким прибежищем стала деревенская изба на Орловщине, где Саша Черный провел лето 1911 года. Затем в 1912 году — вполне конкретный остров Капри. И наконец, мифический, но от этого не менее реальный «детский остров».

Уход из модного еженедельника с практической стороны (читай: преуспевания) был не чем иным, как безрассудством. Ибо к другим берегам Саша Черный не пристал. Возможно, виной тому необычайно высокая взыскательность — нравственная и художественная, обрекавшая его на неприспособленность и отторженность в писательском мире. «В содружество русских писателей он не верил,— вспоминает его берлинский собеседник Глеб Алексеев, которому поэт высказывал свои, видимо, давно устоявшиеся взгляды.— Путь писателя — глухая, одинокая тропа, и как можно помочь и кого можно по ней вести?» *

Правда, оставалась классическая система ценностей, и прежде всего гений Пушкина. Но — «титаны были и прошли». Нужна была все-таки опора и на сподвижников — современников. Хотелось, чтобы было с кем перекликаться на «воздушных путях» искусства. Отсюда попытки личного контакта с художниками слова, которые, на его взгляд, приближались по взыскательной реалистичности письма к великим мастерам прошлого и не отделяли себя от судеб народных. Получилось так, что все это были прозаики: Андреев, Куприн, Горький, Бунин. Последний, правда, был в равной степени поэтом, в котором Сашу Черного привлекали «тютчевский горний путь, строгое и гордое служение красоте, сдержанная сила четкой простоты и ясности...». Искания Саши Черного как поэта после ухода из «Сатирикона» лежали именно в этом направлении. Сказались они в самоограничении буйного, самобытного таланта, ориентировании на традиционные, даже аскетические формы и — нет, не в отказе, но в более скупой дозировке смеха. Не следует видеть в этом измены прежним верованиям и идеалам. Просто выход к высшей творческой свободе, должно быть, всегда лежит в преодолении инерции стиля и диктата моды.

Вовсе не значит, что это был «путь, открытый взорам». Едва ли к бесспорным удачам Саши Черного можно отнести поэму «Ной» — мучительное раздумье поэта, в котором сквозь раскаты библейской грозы слышен тектонический гул социальных потрясений, не замедливших вскоре последовать. Похоже, он чересчур перегрузил свой поэтический ковчег, надорвавшись на этой неподъемной, вселенской ноше.

На этом переломном моменте истории и творческой судьбы поэта завершается наш обзор дореволюционной поэзии Саши Черного. Ибо далее, как много позже напишет Саша Черный, «была война: та самая идиотская война, от которой все и пошло». То есть революция, гражданская усобица, беженские скитания, исход из России, эмиграция... Но обо всем этом пойдет речь в следующем томе.

Анатолий Иванов

* Встречи с прошлым. Вып. 7.— М., 1990.— С. 173.

**СТИХОТВОРЕНИЯ
1905 – 1906 ГОДОВ**

1906

Новый Год стоит в передней,
Новый год сейчас придет,
Год борьбы — борьбы последней
Что с собою принесет?

Казнокрадам суд народный,
Палачам тюрьмы позор!..
Всем врагам народ свободный
Свой объявит приговор.

Землю вольному народу,
Людам равные права,
«Братство, равенство, свободу» —
Незабвенные слова...

И проложим мы просеку
Сквозь дремучий, темный лес.
Возрожденье человеку!
Труд, культура и прогресс!

В битве с гнетом, тьмой, рутинной
Верим в истину одну —
Просвещенье лентой длинной
Опояшет всю страну.

Новый Год стоит в передней —
Здравствуй, «новой жизни» год!
Год борьбы, борьбы последней
Нам победу принесет!

<1906>

СЛОВЕСНОСТЬ

(С натуры)

Звание солдата почетно.

(Воинский устав)

«Всяк солдат слуга Престола
И защитник от врагов...
Повтори!.. Молчишь, фефёла?
Не упомнишь восемь слов?
Ну, к отхожему дневальным,
После ужина в наряд»...
Махин тоном погребальным
Отвечает: «виноват!»

«Ну-ка, кто у нас бригадный?»
Дальше унтер говорит —
И, как ястреб кровожадный
Все глазами шевелит...
«Что — молчишь? Собачья морда,
Простокваша, идиот...
Ну-ка, помни, помни ж твердо!» —
И рукою в ухо бьет.

Что же Махин? Слезы льются,
Тихо тянет «виноват»...
Весь дрожит, колени гнутся
И предательски дрожат.

«Всех солдат почетно званье —
Пост ли... знамя... караул...
Махин, чучело баранье,
Что ты ноги развернул!
Ноги вместе, морду выше!
Повтори, собачий сын»...
Тот в ответ все тише, тише
Жалко шепчет: «господин»...

«Ах, мерзавец! Ах, скотина!»
В ухо, в зубы... раз и раз...
Эта гнусная картина
Обрывает мой рассказ...

⟨1906⟩

ЧЕПУХА

Трепов — мягче сатаны,
Дурново — с талантом,
Нам свободы не нужны,
А рейтузы с кантом.

Сослан Нейдгарт в рудники,
С ним Курлов туда же —
А за старые грехи
Алексеев даже...

Монастырь наш подарил
Нищему копейку,
Крушеван усыновил
Старую еврейку...

Взял Линевиц в плен спьяна
Три полка с обозом...
Умножается казна
Вывозом и ввозом.

Витте родиной живет
И себя не любит.
Вся страна с надеждой ждет,
Кто ее погубит...

Разорвался апельсин
У Дворцова моста...
Где высокий господин
Маленького роста?

Самый глупый человек
Едет за границу;
Из Маньчжурии калек
Отправляют в Ниццу.

Мучим совестью, Фролов
С горя застрелился;
Губернатор Хомутов
Следствия добился.

Безобразов заложил
Перстень с бриллиантом...
Весел, сыт, учен и мил
Пахарь ходит франтом.

Шлется Стесселю за честь
От французов шпага;
Манифест — иначе есть
Важная бумага...

Интендантство, сдав ларек,
Все забастовало,
А Суворин-старичок
Перешел в «Начало».

Появился Серафим —
Появились дети.
Папу видели за сим
В ложе у Неметти...

В свет пустил святой синод
Без цензуры святцы,
Витте-граф пошел в народ...
Что-то будет, б р а т ц ы?..

Высшей милостью труха
Хочет общей драки...
Все на свете чепуха,
Остальное враки...

<1905>

* * *

Всем нищим духом посвящаю

Кровь ударяет горячей волною в виски,
Некуда скрыться от острой, щемящей тоски...
Мертвая жизнь без значенья, холод души, пустота...
Прошлое — яркая сказка, манит к себе, как мечта...
С жалкой улыбкой безверья, хмурый, заглянешь вперед —
Вздрогнешь и прочь отвернешься... долгий, безрадостный год.

Люди восстали и ропшут, люди к свободе идут,
Право и волю добудут, светлый и радостный труд.
Видишь бесстрашные лица, слышишь горячую речь,
Но в потухающем сердце пламя опять не зажечь...
Время торопит решеньем, дерзко врывается в дверь.
Что же? Решай, малодушный,— иль никогда, иль теперь!

Люди восстали и ропщут, люди к свободе идут;
Вышли живые на битву, мертвые в ямах гниют.
С смелой, призывною речью к братьям восставшим иди!
Честный решает недолго — честный всегда впереди...

Кровь ударяет горячей волною в виски,
Некуда скрыться от острой, щемящей тоски...
С горькой улыбкой безверья смотришь тоскливо вокруг...
Что это — только безверье иль перед жизнью испуг?..

〈1906〉

СТИХИ 1905—1906 ГОДОВ, НЕ ВОШЕДШИЕ В КНИГУ «РАЗНЫЕ МОТИВЫ»

ПЕРВАЯ НОЧЬ

(Из Изольды Курц)

Приходит первый раз ночь в глубине могилы...
О где весь блеск твоей сверкавшей силы?
В сырой земле пришлось тебе постлать.
Как в эту ночь ты будешь почивать?

Последний дождь смочил твои подушки,
Испуганы грозой кричат во тьме пичужки,
Лампада не горит — лишь холодно печальный
Крадется лунный луч в твоей опочивальне.

Часы скользят — ты будешь спать до света?
Ты слышишь ли, как я, на башне звоны где-то?
Как я могу на миг уснуть и не страдать,
Когда, моя любовь, тебе так плохо спать?

<<1905>>?

СОН

Мне снилось, что Плеве с печальным лицом
Со мной говорил о России,
Портсмутского графа назвал он глупцом,
Про прочих промолвил: «Слепые!»

До мелочи вижу ошибки их тут,
И страшно за них мне обидно —
Они к революции сами идут,
Забыв о последствиях, видно.

И мне самому приходилось спасать
Россию от вредных учений,
Давал и приказы сажать и стрелять,
Но мера была для гонений...

Устроишь приличный еврейский погром,
Закроешь три высшие школы,—

Но нынче играют огнем и мечом
Они, как лихие монголы.

Они малолетних ссылают в Сибирь,
Они города выжигают,—
И скоро вся Русь превратится в пустырь,
Где совы одни обитают.

Кто ж будет налоги и штрафы платить?
Чем заняты будут жандармы?
Кто будет начальство высокое чтить
И строить дома и казармы?..

Нет, надо сознаться, что беден умом
Мой новый преемник безбожно,—
Опасно играть отточенным мечом,
Опасно, порезаться можно...»

И вспомнил фон Плеве карьеру свою,
Свои министерские розы,
И жал он сочувственно руку мою,
И лил крокодиловы слезы.

Я в страхе проснулся... уж день наступал
(Три четверти пятого было),
И долго плевался, и долго шептал:
«Спаси, сохрани и помилуй!»

<1906>

ЖАЛОБЫ ОБЫВАТЕЛЯ

Моя жена — наседка,
Мой сын, увы,— эсер,
Моя сестра — кадетка,
Мой дворник — старовер.

Кухарка — монархистка,
Аристократ — свояк,
Мамаша — анархистка,
А я — я просто так...

Дочурка-гимназистка
(Всего ей десять лет)
И та социалистка —
Таков уж нынче свет!

От самого рассвета
Сойдутся и визжат —
Но мне комедья эта,
Поверьте, сущий ад.

Сестра кричит: «Поправим!»
Сынок кричит: «Снесем!»
Свояк вопит: «Натравим!»
А дворник — «Донесем!»

А милая супруга,
Иссохшая, как тень,
Вздыхает, как белуга,
И стонет: «Ах, мигрень!»

Молю Тебя, Создатель
(Совсем я не шучу),
Я русский обыватель —
Я просто жить хочу!

Уйми мою мамашу,
Уйми родную мать —
Не в силах эту кашу
Один я расхлебать.

Она, как анархистка,
Всегда сама начнет,
За нею гимназистка
И весь домашний скот.

Сестра кричит: «Устроим!»
Свояк вопит: «Плевать!»
Сынок шипит: «Накроем!»
А я кричу: «Молчать!!»

Проклятья посылаю
Родному очагу
И втайне замышляю —
В Америку сбегу!..

<1906>

ЧЕПУХА

(Хроника за неделю)

От российской чепухи
Череп слетают,
Грузди черные грехи
Кровью заливают...

На печи поет сверчок:
«Есть для всех веревка»,
Раз не пишет дурачок,
Значит, забастовка...

Две вороны на кресте
Крыльями махали,
Но в толпу по доброте
Вовсе не стреляли...

Выбирают поляки
Душечку Скалона,
Напоролась на штыки
Глупая ворона...

В Риге столб сооружен —
«Павшим полицейским».
Граф Портсмутский награжден
Званием лакейским...

Дали франкам мы в заём
Под процент обычный,
Предварительный же дом
Обращен в публичный...

В Думе правым мужики
Наплевали в кашу,
С жерновом на дно реки
Бросили мамашу...

Петр Великий на Неве
Молвил: «Упустили»...
Только что прочел в «Молве» —
«Зритель» разрешили...

Пожилой и хилый врач
Высек генерала,
Как-то дурень съел калач
И... его не стало...

Конституцию ввели
И у Менелика,
Три студента в баню шли —
Тяжкая улика!

Сам сиятельный сифон
Бегаёт на корде;
По-французски — «mille pardons» *,
А у нас — по морде!

Жан Кронштадтский — чудеса! —
Сделался гусаром,
Мужиков на небеса
Принимают даром.

Поташили на допрос
Милое семейство,
На жандарма был донос,—
Экое злодейство!

Радость людям, радость псам —
Думу открывают!
Льются капли по усам,
В рот не попадают...

Стал помещик у сохи —
Градом пот катится,
Ох, от русской чепухи
Голова кружится...

〈1906〉

ДО РЕАКЦИИ

(Пародия)

Дух свободы... К перестройке
Вся страна стремится,
Полицейский в грязной Мойке
Хочет утопиться.

Не топись, охранный воин,—
Воля улыбнется!
Полицейский! будь покоен,—
Старый гнет вернется...

〈1906〉

* «Тысяча извинений» (фр.).

АДСКИ

сучая, один испан., воен., мол., крас.,
вполне обеспеч., жел. познаком. с та-
кою же дамой, чтобы изредка езд. ка-
тат., в теат., конц. и т. п.

«Нов. Вр.» № 10759

О, испанец благородный!
Прочитавши эти строки,
Признаюсь, я был повержен
В бесконечное смущенье...

Разве в той стране чудесной,
Что Испанией зовется,
Воин, стыд и честь забывши,
Ищет ласки по газетам?

Нет, гидальго, вы испанцем
Назвались лишь для рекламы,
Чтобы грузную купчиху
Соблазнить огнем испанским.

О, испанец из военных.
О, скучающий красавец!
Не из тех ли вы испанцев,
Что Альфонсами зовутся?..

〈1906〉

САТИРЫ

КРИТИКУ

*Когда поэт, описывая даму,
Начнет: «Я шла по улице. В бока впился
корсет»,
Здесь «я» не понимай, конечно, прямо —
Что, мол, под дамою скрывается поэт.
Я истину тебе по-дружески открою:
Поэт — мужчина. Даже с бороною.*

〈1909〉

ЛАМЕНТАЦИИ

Хорошо при свете лампы
Книжки милые читать,
Пересматривать эстампы
И по клавишам бренчать,—

Щекоча мозги и чувство
Обаяньем красоты,
Лить душистый мед искусства
В бездну русской пустоты...

В книгах жизнь широким пиром
Тешит всех своих гостей,
Окружая их гарниром
Из страданья и страстей:

Смех, борьба и перемены,
С мясом вырван каждый клоч!
А у нас... углы, да стены
И над ними потолок.

Где события нашей жизни,
Кроме насморка и блох?
Мы давно живем, как слизи,
В нищете случайных крох.

Спим и хнычем. В виде спорта,
Не волнуясь, не любя,
Ищем Бога, ищем черта,
Потеряв самих себя.

И с утра до поздней ночи
Все, от крошек до старух,
Углубив в страницы очи,
Небывалым дразнят дух.

Но подчас, не веря мифам,
Так событий личных ждешь!..
Заболеть бы, что ли, тифом,
Учинить бы, что ль, дебош?

В книгах гений Соловьевых,
Гейне, Гете и Золя,
А вокруг от Ивановых
Содрогается земля.

На полотнах Магдалины,
Сонм Мадонн, Венер и Фрин,
А вокруг кривые спины
Мутноглазых Акулин.

В звуках музыки — страданье,
Боль любви и шепот грёз,
А вокруг одно мычанье,
Стоны, храп и посвист лоз.

Отчего? Молчи и дохни.
Рок — хозяин, ты лишь раб.
Плюнь, ослепни и оглохни,
И ворочайся, как краб!

.

Хорошо при свете лампы
Книжки милые читать,
Перелистывать эстампы
И по клавишам бренчать.

1909

ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕСНЫ

Вчера мой кот взглянул на календарь
И хвост трубою поднял моментально,
Потом подрал на лестницу, как встарь,
И завопил тепло и вакханально:
— «Весенний брак! Гражданский брак!
Спешите, кошки, на чердак...»

И кактус мой,— о чудо из чудес,—
Залитый чаем и кофейной гущей,
Как новый Лазарь,— взял — да и воскрес
И с каждым днем прет из земли все пуще.
Зеленый шум... Я поражен:
«Как много дум наводит он!»

Уже с панелей смерзшуюся грязь,
Ругаясь, скалывают дворники лихие.
Уже ко мне забрел сегодня «князь»,
Взял теплый шарф и лыжи беговые...
— Весна, весна! — Пою, как бард:
Несите зимний хлам в ломбард.

Сияет солнышко. Ей-богу, ничего!
Весенняя лазурь спугнула дым и копоть,
Мороз уже не щиплет никого,
Но многим нечего, как и зимою, лопать...
Деревья ждут... Гниет вода,
И пьяных больше, чем всегда.

Создатель мой! Спасибо за весну! —
Я думал, что она не возвратится,—
Но... дай сбежать в лесную тишину
От злобы дня, холеры и столицы!
Весенний ветер за дверьми...
В кого б влюбиться, черт возьми?

<1909>

КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА

Квартирант сидит на чемодане
И задумчиво рассматривает пол.
Те же стулья, и кровать, и стол,
И такая же обивка на диване,

И такой же «бигус» на обед,—
Но на всем какой-то новый свет...

Блещут икры полной прачки Феклы.
Перегнулся сильный стан во двор.
Как нестройный, шаловливый хор,
Верещат намыленные стекла,
И заплаты голубых небес
Обещают тысячи чудес.

Квартирант сидит на чемодане.
Груды книжек покрывают пол.
Злые стекла свищут: эй, осел!
Квартирант копается в кармане,
Вынимает стертый четвертак,
Ключ, сургуч, копейку и пятак...

За окном стена в сырых узорах,
Сотни ржавых труб вонзились в высоту,
А в Крыму миндаль уже в цвету...
Вешний ветер закрутился в шторах
И не может выбраться никак.
Квартирант пропьет свой четвертак!

Так пропьет, что небу станет жарко.
Стекла вымыты. Опять тоска и тишь.
Фекла, Фекла, что же ты молчишь?
Будь хоть ты решительной и яркой:
Подойди, возьми его за чуб
И ожги огнем весенних губ...

Квартирант и Фекла на диване.
О, какой торжественный момент!
— Ты — народ, а я интеллигент,—
Говорит он ей среди лобзаний.
— Наконец-то, здесь, сейчас, вдвоем,
Я тебя, а ты меня — пойдем...

⟨1909⟩

ОТЪЕЗД ПЕТЕРБУРЖЦА

Середина мая и деревья голы...
Словно Третья Дума делала весну!
В зеркало смотрю я, злой и невеселый,
Смазывая иодом щеку и десну.

Кожа облупилась, складочки и складки,
Из зрачков сочится скука многих лет.
Кто ты, худосочный, жиденький и гадкий?
Я?! О, нет, не надо, ради Бога, нет!

Злобно содрогаюсь в спазме эстетизма
И иду к корзине складывать багаж:
Белая жилетка, Бальмонт, шипр и клизма,
Желтые ботинки, Брюсов и бандаж.

Пусть мои враги томятся в Петербурге!
Еду, еду, еду — радостно и вдруг.
Ведь не догадались думские Ликурги
Запрещать на лето удирать на юг.

Синие кредитки вместо Синей Птицы
Унесут туда, где солнце, степь и тишь.
Слезы увлажняют редкие ресницы:
Солнце... Степь и солнце, вместо стен и крыш.

Был я богоборцем, был я мифотворцем
(Не забыть панаму, плащ, спермин и «код»),
Но сейчас мне ясно: только тошнотворцем,
Только тошнотворцем был я целый год...

Надо подписаться завтра на газеты,
Чтобы от культуры нашей не отстать,
Заказать плац-карту, починить штиблеты
(Сбегать к даме сердца можно нынче в пять).

К прачке и в ломбард, к дантисту-иноверцу,
К доктору — и прочь от берегов Невы!
В голове — надежды вспыхнувшего сердца,
В сердце — скептицизм усталой головы...

⟨1909⟩

ИСКАТЕЛЬ

(Из дневника современника)

С горя я пошел к врачу.
Врач пенсне напялил на нос:
«Нервность. Слабость. Очень рано-с!
Ну-с, так я вам закачу
Гунияди-Янос».

Кровь ударила в виски:
Гунияди?! От вопросов,
От безверья, от тоски?!
Врач сказал: «Я — не философ.
До свиданья».

Я к философу пришел:
«Есть ли цель? Иль книги — ширмы?
Правда «школ» — ведь правда фирмы?
Я живу, как темный вол.
Объясните!»

Заходил цветной халат
Парой Егеревских нижних:
«Здесь бессилен сам Сократ!
Вы — профан. Ищите ближних».
— Очень рад.

В переулке я поймал
Человека с ясным взглядом.
Я пошел тихонько рядом:
— Здравствуй, ближний... «Вы нахал!»
— Извините...

Я пришел домой в чаду,
Переполненный раздумьем.
Мысль играла в чехарду,
То с насмешкой, то с безумьем.
Пропаду!

Тихо входит няня в дверь.
Вот еще один философ:
«Что сидишь, как дикий зверь?
Плюнь, да веруй — без вопросов...»
— В Гунияди?

«Гу-ни-я-ди? Кто такой?
Не немецкий ли святой?
Для спасения души —
Все святые хороши...»
Вышла.

〈1909〉

Это не было сходство, допустимое
даже в лесу,— это было тожество, это
было безумное превращение одного
в двоих.

(Л. Андреев. «Проклятие зверя»)

Все в штанах, скроенных одинаково,
При усах, в пальто и в котелках,
Я похож на улице на всякого
И совсем теряюсь на углах.

Как бы мне не обменяться личностью:
Он войдет в меня, а я в него —
Я охвачен полной безразличностью
И боюсь решительно всего...

Проклинаю культуру! Срываю подтяжки!
Растопчу котелок! Растерзаю пиджак!!
Я завидую каждой отдельной букашке,
Я живу, как последний дурак!..

В лес! К озерам и девственным елям!
Буду лазить, как рысь, по шершавым стволам.
Надоело ходить по шаблонным панелям
И смотреть на подкрашенных дам!

Принесет мне ворона швейцарского сыра,
У заблудшей козы надою молока.
Если к вечеру станет прохладно и сыро,
Обложу себе мохом бока.

Там не будет газетных статей и отчетов.
Можно лечь под сосной и немножко повить,
Иль украсть из дупла вкусно пахнущих сотов,
Или землю от скуки порыть...

А настанет зима — упираться не стану:
Буду голоден, сир, малокровен и гол —
И пойду к лейтенанту, к приятелю Глану:
У него даровая квартира и стол.

И скажу: «Лейтенант! Я — российский писатель,
Я без паспорта в лес из столицы ушел,
Я устал, как собака, и, веришь, приятель,
Как семьсот аллигаторов зол!

Люди в городе гибнут, как жалкие слизни,
Я хотел свою старую шкуру спасти.
Лейтенант! Я бежал от бессмысленной жизни
И к тебе захожу по пути...»

Мудрый Глан ничего мне на это не скажет,
Принесет мне дичины, вина, творогу...
Только пусть меня Глан основательно свяжет,
А иначе — я в город сбегу.

〈1908〉

ОПЯТЬ...

Опять опадают кусты и деревья,
Бронхитное небо слезится опять,
И дачники, бросив сырые кочевья,
Бегут, ошалевшие, вспять.

Опять, перестроив и душу, и тело
(Цветочки и летнее солнце — увы!),
Творим городское, ненужное дело
До новой весенней травы.

Начало сезона. Ни света, ни красок,
Как призраки носятся тени людей...
Опять одинаковость сереньких масок
От гения до лошадей.

По улицам шляется смерть. Проклинает
Безрадостный город и жизнь без надежд,
С презреньем, зевая, на землю толкает
Несчастных, случайных невежд.

А рядом духовная смерть свирепеет
И слепу косит, пьяна и сильна.
Все мало и мало — коса не тупеет,
И даль безнадежно черна.

Что будет? Опять соберутся Гучковы
И мелочи будут, скучая, жевать,
А мелочи будут сплетаться в оковы,
И их никому не порвать.

О, дом сумасшедших, огромный и грязный!
К оконным глазницам припал человек:

Он видит бесформенный мрак безобразный —
И в страхе, что это навек,

В мучительной жажде надежды и красок
Выходит на улицу, ищет людей...
Как страшно найти одинаковость масок
От гения до лошадей!

〈1908〉

КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА

Утро. Мутные стекла, как бельма,
Самовар на столе замолчал.
Прочел о визитах Вильгельма
И сразу смертельно устал.

Шагал от дверей до окошка,
Барабанил марш по стеклу
И следил, как хозяйская кошка
Ловила свой хвост на полу.

Свистал. Рассматривал тупо
Комод, «Остров мертвых», кровать.
Это было и скучно и глупо —
И опять начинал я шагать.

Взял Маркса. Поставил на полку,
Взял Гете — и тоже назад.
Зевая, поглядывал в шелку,
Как соседка пила шоколад.

Напялил пиджак и пальтишко
И вышел. Думал, курил...
При мне какой-то мальчишка
На мосту под трамвай угодил.

Сбежались. Я тоже сбежался.
Кричали. Я тоже кричал,
Махал рукой, возмущался
И карточку приставу дал.

Пошел на выставку. Злился.
Ругал бездарность и ложь.
Обедал. Со скуки напился
И качался, как спелая рожь.

Поплелся к приятелю в гости,
Говорил о холере, добре,
Гучкове, Урьеле д'Акосте —
И домой пришел на заре.

Утро. Мутные стекла, как бельма.
Кипит самовар. Рядом «Русь»
С речами того же Вильгельма.
Встаю — и снова тружусь.

〈1908〉

ЖЕЛТЫЙ ДОМ

Семья — ералаш, а знакомые — нытики,
Смешной карнавал мелюзги,
От службы, от дружбы, от прелой политики
Безмерно устали мозги.
Возьмешь ли книжку — муть и мразь:
Один кота хоронит,
Другой слюнит, разводит грязь
И сладострастно стонет...

Петр Великий, Петр Великий!
Ты один виновней всех:
Для чего на север дикий
Понесло тебя на грех?
Восемь месяцев зима, вместо фиников — морошка.
Холод, слизь, дожди и тьма — так и тянет из окошка
Брякнуть вниз о мостовую одичалой головой...
Негодую, негодую... Что же дальше, Боже мой?!

Каждый день по ложке керосина
Пьем отраву тусклых мелочей...
Под разврат бессмысленных речей
Человек тупеет, как скотина...

Есть парламент, нет? Бог весть.
Я не знаю. Черти знают.
Вот тоска — я знаю — есть,
И бессилье гнева есть...
Люди ноют, разлагаются, дичают,
А постылых дней не счесть.

Где наше — близкое, милое, кровное?
Где наше — свое, бесконечно любовное?

Гучковы, Дума, слякоть, тьма, морошка...
Мой близкий! Вас не тянет из окошка
Об мостовую брякнуть шалой головой?
Ведь тянет, правда?

〈1908〉

ЗЕРКАЛО

Кто в трамвае, как акула,
Отвратительно зевает?
То зевает друг-читатель
Над скучнейшею газетой.

Он жует ее в трамвае,
Дома, в бане и на службе,
В ресторанах и в экспрессе,
И в отдельном кабинете.

Каждый день с утра он знает,
С кем обедал Франц-Иосиф
И какую глупость в Думе
Толстый Бобринский сморозил...

Каждый день, впиваясь в строчки,
Он глупеет и умнеет:
Если автор глуп — глупеет,
Если умница — умнеет.

Но порою друг-читатель
Головой мотает злобно,
И ругает, как извозчик,
Современные газеты.

«К черту! То ли дело Запад
И испанские газеты...»
(Кстати,— он силен в испанском,
Как испанская корова.)

Друг-читатель! Не ругайся,
Вынь-ка зеркальце складное.
Видишь — в нем зловеще меркнет
Кто-то хмурый и безликий?

Кто-то хмурый и безликий.
Не испанец, о, нисколько,
Но скорее бык испанский,
Обреченный на закланье.

Прочитай: в глазах-гляделках
Много ль мыслей, смеха, сердца?
Не брани же, друг-читатель,
Современные газеты...

〈1908〉

СПОРЫ

Каждый прав и каждый виноват.
Все полны обидным снисхожденьем
И, мешая истину с глумленьем,
До конца обидеться спешат.

Эти споры — споры без исхода,
С правдой, с тьмой, с людьми, с самим собой,
Изнуряют тщетною борьбой
И пугают нищенством прихода.

По домам бессильно разбираясь,
Мы нашли ли собственный ответ?
Что ж слепые наши «да» и «нет»
Разбрелись, убого спотыкаясь?

Или мысли наши жернова?
Или спор особое искусство,
Чтоб, калеча мысль и теша чувство,
Без конца низать случайные слова?

Если б были мы немного проще,
Если б мы учились понимать,
Мы могли бы в жизни не блуждать,
Словно дети в незнакомой роще.

Вновь забытый образ вырастает:
Притаилась Истина в углу,
И с тоской глядит в пустую мглу,
И лицо руками закрывает...

〈1908〉

ИНТЕЛЛИГЕНТ

Повернувшись спиной к обманувшей надежде
И беспомощно свесив усталый язык,
Не раздевшись, он спит в европейской одежде
И храпит, как больной паровик.

Истомила Идея бесплодием интрижек,
По углам паутина ленивой тоски,
На полу вороха неразрезанных книжек
И разбитых скрижалей куски.

За окном непогода лютеет и злится...
Стены прочны, и мягок пружинный диван.
Под осеннюю бурю так сладостно спится
Всем, кто бледной усталостью пьян.

Дорогой мой, шепни мне сквозь сон по секрету,
Отчего ты так страшно и тупо устал?
За несбыточным счастьем гонялся по свету,
Или, может быть, землю пахал?

Дрогнул рот, разомкнулись тяжелые вежды,
Монотонные звуки уныло текут:
«Брат! Одну за другой хоронил я надежды,
Брат! От этого больше всего устают.

Были яркие речи и смелые жесты
И неполных желаний шальной хоровод.
Я жених непришедшей прекрасной невесты,
Я больной, утомленный урод».

Смолк. А буря все громче стучалась в окошко,
Билась мысль, разгораясь и снова таясь.
И сказал я, краснея, тоскуя и злясь:
«Брат! Подвинься немножко».

1908

ДИЕТА

Каждый месяц к сроку надо
Подписаться на газеты.
В них подробные ответы
На любую немощь стада.

Боговздорец иль политик,
Радикал иль черный рак,
Гениальный иль дурак,
Оптимист иль кислый нытик —
На газетной простыне
Все найдут свое вполне.

Получая аккуратно
Каждый день листы газет,
Я с улыбкой благодатной,
Бандероли не вскрывая,
Аккуратно, не читая,
Их бросаю за буфет.

Целый месяц эту пробу
Я проделал. Оживаю!
Потерял слепую злобу,
Сам себя не истязую;
Появился аппетит,
Даже мысли появились...
Снова щеки округлились —
И печенка не болит.

В безвозмездное владенье
Отдаю я средство это
Всем, кто чахнет без просвета
Над унылым отраженьем
Жизни мерзкой и гнилой,
Дикой, глупой, скучной, злой...

Получая аккуратно
Каждый день листы газет,
Бандероли не вскрывая,
Вы спокойно, не читая,
Их бросайте за буфет.

<1910>

ОТБОЙ

За жирными коровами следуют тощие,
за тощими — отсутствие мяса.

(Гейне)

По притихшим редакциям,
По растерзанным фракциям,
По рутинным гостиным,

За молчанье себя награждая с лихвой,
Несется испуганный вой:
Отбой, отбой,
Окончен бой,
Под стол гурьбой,
Огонь бенгальский потуши,
Соси свой палец, не дыши,
Кошмар исчезнет сам собой —
Отбой, отбой, отбой!
Читали, как сын полицмейстера ездил по городу,
Таскал по рынку почтеннейших граждан за бороду,
От нечего делать нагайкой их сек,
Один — восемьсот человек?
Граждане корчились, морщились,
Потом послали письмо со слезою в редакцию
И обвинили... реакцию.
Читали?
Ах, политика узка
И, притом, опасна.
Ах, партийность так резка
И, притом, пристрастна.
Разорваны по листику
Программки и брошюры,
То в ханжество, то в мистику
Нагие прячем шкуры.
Славься, чистое искусство
С грязным салом половым!
В нем лишь черпать мысль и чувство
Нам — ни мертвым, ни живым.
Вечная память прекрасным и звучным словам!
Вечная память дешевым и искренним позам!
Страшно дрожать по своим беспартийным углам
Крылья спалившим стрекозам!
Ведьмы, буки, черные сотни,
Звездная палата, «черный кабинет»...
Все проворней и все охотней
Лезем сдуру в чужие подворотни —
Влез. Молчок. И нет как нет.
Отбой, отбой,
В момент любой,
Под стол гурьбой.
В любой момент
Индифферент:
Семья, горшки,
Дела, грешки.
Само собой.
Отбой, отбой, отбой!
«Отречемся от старого мира...»

И полезем гуськом под кровать.
Нам, уставшим от шумного пира,
Надо свежие силы набрать.

Ура!!

1908

1909

Родился карлик Новый Год,
Горбатый, сморщенный урод,
Тоскливый шут и скептик,
Мудрец и эпилептик.

«Так вот он, милый божий свет?
А где же солнце? Солнца нет!
А, впрочем, я не первый,
Не стоит портить нервы».

И люди людям в этот час
Бросали: «С Новым Годом вас!»
Кто честно заикаясь,
Кто кисло ухмыляясь...

Ну, как же тут не поздравлять?
Двенадцать месяцев опять
Мы будем спать и хныкать
И пальцем в небо тыкать.

От мудрых, средних и ослов
Родятся реки старых слов,
Но кто еще, как прежде,
Пойдет кутить к надежде?

Ах, милый, хилый Новый Год,
Горбатый, сморщенный урод!
Зажги среди тумана
Цветной фонарь обмана.

Зажги! Мы ждали много лет —
Быть может, солнца вовсе нет?
Дай чуда! Ведь бывало
Чудес в веках не мало...

Какой ты старый, Новый Год!
Ведь мы равно наоборот

Считать могли бы годы,
Не исказив природы.

Да... Много мудрого у нас...
А впрочем: с Новым Годом вас!
Давайте спать и хныкать
И пальцем в небо тыкать.

⟨1909⟩

НОВАЯ ЦИФРА

(1910)

Накрутить вам образцов, почтеннейший?
Нанизать вам слов кисло-сладких,
Изысканно гадких
На нити банальнейших строф?
Вот опять неизменнейший
Тощий младенец родился,
А старый хрен провалился
В эту... как ее?.. В Лету.

Как трудно, как нудно поэту!..
Словами свирепо-солдатскими
Хочется долго и грубо ругаться,
Цинично и долго смеяться,—
Но вместо того — лирическо-штатскими
Звуками нужно слагать поздравленья,
Ломая ноги каждой строке,
И в гневно-бессильной руке
Перо сжимая в волненье.

Итак: с Новою Цифрою, братья!
С весельем... то бишь, с проклятьем —
Дешевым шампанским,
Цимлянским,
Наполним утробы.
Упьемся! И в хмеле, таком же дешевом,
О счастье нашем грошовом
Мольбу к Небу пошлем,
К Небу прямо в серые тучи:
Счастья, здоровья, веселья,
Котлет, пиджаков и любовниц,
Пищеваренье и сон —
Пошли нам, серое Небо!..

Молодой снежок
Вьется, как пух из еврейской перины.
Голубой кружок —
(То-есть луна) такой смешной и невинный.
Фонари горят
И мигают с усмешкою старых знакомых.
Я чему-то рад
И иду вперед беспечней насекомых.
Мысли так свежи,
Пальто на толстой подкладке ватной,
И лучи-ужи
Ползут от глаз к фонарям и обратно...

Братья! Сразу и навеки
Перестроим этот мир.
Братья! Верно, как в аптеке:
Лишь любовь дарует мир.
Так устроим же друг другу
С Новой Цифрой новый пир —
Я согласен для начала
Отказаться от сатир!

Пусть больше не будет ни глупых, ни злобных,
Пусть больше не будет слепых и глухих,
Ни жадных, ни стадных, ни низко-утробных —
Одно лишь семейство святых...

.

Я полную чашу российского гною
За Новую Цифру, смеясь, подымаю!
Пригубьте, о братья! Бокал мой до краю
Наполнен ведь вами — не мною.

<1910>

ДВА ЖЕЛАНИЯ

I

Жить на вершине голой,
Писать простые сонеты...
И брать от людей из дола
Хлеб, вино и котлеты.

II

Сжечь корабли и впереди, и сзади,
Лечь на кровать, не глядя ни на что,
Уснуть без снов и, любопытства ради,
Проснуться лет чрез сто.

〈1909〉

БЫТ

Избежать всего этого нельзя, но можно презирать все это.

(Сенека. «Письма к Люцилию»)

ОБСТАНОВКА

Ревет сынок. Побит за двойку с плюсом.
Жена на локоны взяла последний рубль.
Супруг, убитый лавочкой и флюсом,
Подсчитывает месячную убыль.

Кряхтят на счетах жалкие копейки:
Покупка зонтика и дров пробила брешь,
А розовый капот из бумазейки
Бросает в пот склонившуюся плешь.

Над самой головой насвистывает чижик
(Хоть птичка Божия не кушала с утра).
На блюде киснет одинокий рыжик,
Но водка выпита до капельки вчера.

Дочурка под кроватью ставит кошке клизму,
В наплыве счастья полуоткрывши рот,—
И кошка, мрачному предавшись пессимизму,
Трагичным голосом взволнованно орет.

Безбровая сестра в облезшей кацавейке
Насилует простуженный рояль,
А за стеной жиличка-белошвейка
Поет романс: «Пойми мою печаль...»

Как не понять?! В столовой тараканы,
Оставляя черствый хлеб, задумались слегка,
В буфете дребезжат сочувственно стаканы
И сырость капает слезами с потолка.

⟨1909⟩

МЯСО

(Шарж)

Брандахлысты в белых брючках
В лаун-теннисном азарте
Носят жирные зады.
 Вкруг площадки, в модных штучках,
 Крутобедрые Астарты,
 Как в торговые ряды,
Зазывают кавалеров
И глазами, и боками,
Обещая *все для всех*.
 И гирлянды офицеров,
 Томно дрыгая ногами,
 «Сладкий празднуют успех».
В лакированных копытах
Ржут пажи и роют гравий,
Изгибаясь, как лоза,—
 На раскормленных досыта
 Содержанок, в модной славе,
 Щуря сальные глаза.
Щеки, шеи, подбородки,
Водопадом в бюст свергаясь,
Пропадают в животе,
 Колыхаются, как лодки,
 И, шелками выпираясь,
 Вопиют о красоте.
Как ходячие шнель-клопсы,
На коротких, пухлых ножках
(Вот хозяек дубликат!)
 Грандиознейшие мопсы
 Отдыхают на дорожках
 И с достоинством хрипят.
Шипр и пот, французский говор...
Старый хрен в английском платье
Гладит ляжку и мычит.
 Дипломат, шпион иль повар?
 Но без формы люди — братья —
 Кто их, к черту, различит?..
Как наполненные ведра,
Растопыренные бюсты
Проплывают без конца —
 И опять зады и бедра...
 Но над ними,— будь им пусто,—
 Ни единого лица!

<1909>

На дачной скрипучей веранде
 Весь вечер царит оживленье.
 К глазастой художнице Ванде
 Случайно сползлись в воскресенье
 Провизор, курсистка, певица,
 Писатель, дантист и девица.

«Хотите вина иль печенья?»
 Спросила писателя Ванда,
 Подумав в жестоком смущенье:
 «Налезла огромная банда!
 Пожалуй, на столько баранов
 Не хватит ножей и стаканов».

Курсистка упорно жевала.
 Косясь на остатки от торта,
 Решила спокойно и вяло:
 «Буржуйка последнего сорта».
 Девица с азартом макаки
 Смотрела писателю в баки.

Писатель, за дверью на полке
 Не видя своих сочинений,
 Подумал привычно и колко:
 «Отсталость!» И стал в отдаленье,
 Засунувши гордые руки
 В трикóвые стильные брюки.

Провизор, влюбленный и потный,
 Исследовал шею хозяйки,
 Мечтая в истоме дремотной:
 «Ей-богу! Совсем как из лайки...
 О, если б немножко потрогать!»
 И вилокóю чистил свой ноготь.

Певица пускала рулады
 Все реже, и реже, и реже.
 Потом, покраснев от досады,
 Замолкла: «Не просят! Невежи...
 Мещане без вкуса и чувства!
 Для них ли святое искусство?»

Наелись. Спустились с веранды
 К измученной пыльной сирени.
 В глазах умирающей Ванды

Любезность, тоска и презрение —
«Свести их к пруду иль в беседку?
Спустить ли с веревки Валетку?»

Уселись под старой сосною.
Писатель сказал: «Как в романе...»
Девушка вильнула спиною,
Провизор порылся в кармане
И чиркнул над кислой певичкой
Бенгальскою красною спичкой.

⟨1910⟩

ВСЕРОССИЙСКОЕ ГОРЕ

(Всем добрым знакомым с отчаянием посвящаю)

Итак — начинается утро.
Чужой, как река Брахмапутра,
В двенадцать влетает знакомый.
«Вы дома?» К несчастью, я дома.
В кармане послал ему фигу,
Бросаю немецкую книгу
И слушаю, вял и суров,
Набор из ненужных мне слов.
Вчера он торчал на концерте —
Ему не терпелось до смерти
Обрушить на нервы мои
Дешевые чувства свои.

Обрушил! Ах, в два пополудни
Мозги мои были, как студни...
Но, дверь запирая за ним
И жаждой работы томим,—
Услышал я новый звонок:
Пришел первокурсник-щенок.
Несчастный влюбился в кого-то...
С багровым лицом идиота
Кричал он о «ней», о богине,
А я ее толстой гусыней
В душе называл беспощадно...
Не слушал! С улыбкою стадной
Кивал головою сердечно
И мямлил: «Конечно, конечно».

В четыре ушел он... В четыре!
Как тигр, я шагал по квартире.

В пять ожил и, вытерев пот,
За прерванный сел перевод.
Звонок... С добродушием ведьмы
Встречаю поэта в передней.
Сегодня собрат именинник
И просит дать займы полтинник.
«С восторгом!» Но он... остается!
В столовую томно плетется,
Извлек из-за пазухи кипу
И с хрипом, и сипом, и скрипом
Читает, читает, читает...
А бес меня в сердце толкает:
Ударь его лампою в ухо!
Всади кочергу ему в брюхо!

Квартира? Танцкласс ли? Харчевня?
Прилезла рябая девица:
Нечаянно «Месяц в деревне»
Прочла и пришла «поделиться»...
Зачем она замуж не вышла?
Зачем (под лопатки ей дышло!)
Ко мне отправляясь, — сначала
Она под трамвай не попала?

Звонок... Шаромыжник бродячий,
Случайный знакомый по даче,
Разделся, подсел к фортепьяно
И лупит. Неправда ли, странно?
Какие-то люди звонили.
Какие-то люди входили.
Боясь, что кого-нибудь плюхну,
Я бегал тихонько на кухню
И плакал за вьюшкою грязной
Над жизнью своей безобразной.

<1910>

НА ВЕРБЕ

Бородатые чуйки с голодными глазами
Хрипло предлагают «животрепещущих докторов».
Гимназисты поводят бумажными усами,
Горничные стреляют в суконных юнкеров.

Шаткие лари, сколоченные наскоро,
Холерного вида пряники и халва,
Грязь под ногами хлюпает так ласково,
И на плечах болтается чужая голова.

Червонные рыбки из стеклянной обители
Грустно-испуганно смотрят на толпу.
«Вот замечательные американские жители —
Глотают камни и гвозди, как крупу!»

Писаря выражаются вдохновенно-изысканно,
Знакомятся с модистками и переходят на ты,
Сгущенный воздух переполнился писками,
Кричат бирюзовые бумажные цветы.

Деревья вздрагивают черными ветками,
Капли и бумажки падают в грязь.
Чужие люди толкуются между клетками
И месят ногами пеструю мазь.

<1909>

СОВЕРШЕННО ВЕСЕЛАЯ ПЕСНЯ

(Полька)

Левой, правой, кучерявый,
Что ты ерзаешь, как черт?
Угощение на славу,
Музыканты — первый сорт.
Вот смотри:
Раз, два, три.
Прыгай, дрыгай до зари.

Ай, трещат мои мозоли
И на юбке позумент!
Руки держат, как франзоли,
А еще интеллигент.

Ах, чудак,
Ах, дурак!
Левой, правой,— вот так-так!

Трим-ти, тим-ти — без опаски,
Трим-тим-тим — кружись вперед.
Что в очки запрятал глазки?
Разве я, топ-топ, урод?

Топ-топ-топ,
Топ-топ-топ...
Оботри платочком лоб.

Я сегодня без обеда
И не надо — ррри ти-ти.
У тебя-то, буквоеда,
Тоже денег не ахти?

Ну и что ж —
Наживешь.
И со мной, топ-топ, пропьешь.

Думай, думай — не поможет!
Сорок бед — один ответ:
Из больницы на рогоже
Стащат черту на обед.

А пока,
Ха-ха-ха,
Не толкайся под бока!

Все мы люди-человеки...
Будем польку танцевать.
Даже нищие-калеки
Не желают умирать.

Цок-цок-цок
Каблучок,
Что ты морщишься, дружок?

Ты ли, я ли — всем не сладко,
Знаю, котик, без тебя.
Веселись же хоть украдкой —
Танцы — радость, книжки — бя.

Лим-тим-тись,
Берегись.
Думы к черту, скука — брысь!

<1910>

СЛУЖБА СБОРОВ

Начальник Акцептации сердит:
Нашел просчет в копейку у Орлова.
Орлов уныло бровью шевелит
И про себя бранится: «Ишь, бандит!»
Но из себя не выпустит ни слова.

Вокруг сухой, костлявый, дробный треск —
Как пальцы мертвецов, бряцают счеты.
Начальнической плечи строгий блеск
С бычачьим лбом сливается в гротеск,—
Но у Орлова любоваться нет охоты.

Конторщик Кузькин бесконечно рад:
Орлов на лестнице стыдил его невесту,
Что Кузькин, как товарищ,— хам и гад,
А как мужчина,— жаба и кастрат...
Ах, может быть, Орлов лишится места!

В соседнем отделении содом:
Три таксировщика, увлекшись чехардою,
Бодают пол. Четвертый же, с трудом
Соблазн преодолев, с досадой и стыдом
Им укоризненно кивает бородою.

Но в коридоре тьма и тишина.
Под вешалкой таинственная пара —
Он руки растопырил, а *Она*
Щемящим голосом взывает: «Я жена...
И муж не вынесет подобного удара!»

По лестницам красавицы снуют,
Пышнее и вульгарнее гортензий.
Их сослуживцы «фаворитками» зовут —
Они не трудятся, не сеют — только жнут.
Любимицы Начальника Претензий...

В буфете чавкают, жуют, сосут, мычат.
Берут пирожные в надежде на прибавку.
Капуста и табак смешались в едкий чад.
Конторщицы ругают шоколад
И бьют буфетчицы, дрожащий на прилавке...

Второй этаж. Дубовый кабинет,
Гигантский стол. Начальник Службы Сборов,
Поймав двух мух, куда дела нет,
Пытается определить на свет,
Какого пола жертвы острых взоров.

Внизу в прихожей бывший гимназист
Стоит перед швейцаром без фуражки.
Швейцар откормлен, груб и неречист:
«Ведь грамотный, поди не трубочист!
«Нет мест» — вон на стене висит бумажка».

<1909>

ОКРАИНА ПЕТЕРБУРГА

Время года неизвестно.
Мгла клубится пеленой.
С неба падает отвесно
Мелкий бисер водяной.

Фонари горят, как бельма,
Липкий смрад навис кругом,
За рубашку ветер-шельма
Лезет острым холодком.

Пьяный чуйка обнял нежно
Мокрый столб — и голосит.
Бесконечно, безнадежно
Кислый дождик моросит...

Поливает стены, крыши,
Землю, дрожки, лошадей.
Из ночной пивной все лише
Граммофон хрипит, злодей.

«Па-ца-луем дай забвень!»
Прямо за сердце берет.
На панели тоже пенье:
Проститутку дворник бьет.

Брань и звуки зашумели...
И на них из всех дверей
Побежали светотени
Жадных к зрелищу зверей.

Смех, советы, прибаутки,
Хлипкий плач, свистки и вой —
Мчится к бедной проститутке
Постовой городской.

Увели... Темно и тихо.
Лишь в ночной пивной вдали
Граммофон выводит лихо:
«Муки сердца утоли!»

⟨1908⟩

НА ОТКРЫТИИ ВЫСТАВКИ

Дамы в шляпках кэк-уоках,
Холодок публичных глаз,
Лица в складках и отеках,
Трэны, перья, ленты, газ.
В незначительных намеках
Штемпеля готовых фраз.

Кисло-сладкие мужчины,
Знаменитости без лиц,
Строят знающие мины,
С видом слушающих птиц,
Шевелюры клонят ниц
И исследуют причины.

На стенах упорный труд —
Вдохновенье и бездарность...
Пусть же мудрый и верблюд
Совершают строгий суд:
Отрицанье, благодарность
Или звонкий словоблуд...

Умирающий больной.
Фиолетовые свиньи.
Стая галок над копной.
Блюдо раков. Пьяный Ной.
Бюст молочницы Аксины,
И кобыла под сосной.

Вдохновенное Nocturno *,
Рядом рыжий пиджачок,
Растопыренный над урной...
Дама смотрит в кулачок
И рассеянным: «Недурно!»
Налепляет ярлычок.

Да? Недурно? Что? — Nocturno
Иль яичница-пиджак?
Генерал вздыхает бурно
И уводит даму. Так...
А сосед глядит в кулак
И ругается цензурно...

<1908>

В РЕДАКЦИИ ТОЛСТОГО ЖУРНАЛА

Серьезных лиц густая волосатость
И двухпудовые, свинцовые слова:
«Позитивизм», «идейная предвзятость»,
«Спецификация», «реальные права»...

Жестикулируя, бурля и споря,
Киты редакции не видят двух персон:
Поэт принес — «Ночную песню моря»,
А беллетрист — «Последний детский сон».

Поэт присел на самый кончик стула
И кверху ногами развернул журнал,
А беллетрист покорно и сутуло
У подоконника на чьи-то ноги стал.

Обносят чай... Поэт взял два стакана,
А беллетрист не взял ни одного.
В волнах серьезного табачного тумана
Они уже не ищут ничего.

Вдруг беллетрист, как леопард, в поэта
Метнул глаза: «Прозаик или нет?»
Поэт и сам давно искал ответа:
«Судя по галстуку, похоже, что поэт...»

* Ночное — здесь: ночной пейзаж (*лат.*).

Подходит некто в сером,— но по моде,
И говорит поэту: «Плач земли?..»
«Нет, я вам дал три «Песни о восходе».
И некто отвечает: «Не пошли!»

Поэт поник. Поэт исполнен горя:
Он думал из «Восходов» сшить штаны!
«Вот здесь еще «Ночная песня моря»,
А здесь — «Дыханье северной весны».

«Не надо,— отвечает некто в сером.—
У нас лежит сто весен и морей».
Душа поэта затянулась флером,
И розы превратились в сельдерей.

«Вам что?» И беллетрист скороговоркой:
«Я год назад прислал «Ее любовь».
Ответили, пошаривши в конторке:
«Затеряна. Перепишите вновь».

«А вот, не надо ль? — Беллетрист запнулся,—
Здесь... семь листов — «Последний детский сон».
Но некто в сером круто обернулся —
В соседней комнате залаял телефон.

Чрез полчаса, придя от телефона,
Он, разумеется, беднягу не узнал
И, проходя, лишь буркнул раздраженно:
«Не принято! Ведь я уже сказал...»

На улице сморкался дождь слюнявый.
Смеркалось... Ветер. Тусклый, дальний гул.
Поэт с «Ночною песней» взял направо.
А беллетрист налево повернул.

Счастливый случай скуп и черств, как Плюшкин.
Два жемчуга — опять на мостовой...
Ах, может быть, поэт был новый Пушкин,
А беллетрист был новый Лев Толстой?!

Бей, ветер, их в лицо, дуй за сорочку —
Надуй им жабу, тиф и дифтерит!
Пуускай не продают души в рассрочку,
Пуускай душа их без штанов парит...

<1909>

ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН

Пан-пьян! Красные яички.
Пьян-пан! Красные носы.
Били-бьют! Радостные личики.
Бьют-били! Груды колбасы.

Дал-дам! Праздничные взятки.
Дам-дал! И этим, и тем.
Пили-ели! Визиты в перчатках.
Ели-пили! Водка и крем.

Пан-пьян! Наливки и студни.
Пьян-пан! Боль в животе.
Били-бьют! И снова будни.
Бьют-били! Конец мечте.

〈1909〉

НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДАЧЕ

Промокло небо и земля,
Душа и тело отсырели.
С утра до вечера скуля,
Циничный ветер лезет в щели.
 Дрожу, как мокрая овца...
 И нет конца, и нет конца!

Не ем прекрасных огурцов,
С тоской смотрю на землянику:
Вдруг отойти в страну отцов
В холерных корчах — слишком дико...
 Сам Мережковский учит нас,
 Что смерть страшна, как папуас.

В объятых шерстяных носков
Смотрю, как дождь плюет на стекла.
Ах, жив бездарнейший Гучков,
Но нет великого Патрокла!
 И в довершение беды
 Гучков не пьет сырой воды.

Ручьи сбегают со стволов.
Городовой одел накидку.
Гурьба учащихся ослов
Бежит за горничною Лидкой.

Собачья свадьба... Чахлый гром.
И два спасенья: бром и ром.

На потолке в сырой тени
Уснули мухи. Сатанею...
Какой восторг в такие дни
Узнать, что шаху дали в шею!
И только к вечеру поймешь,
Что твой восторг — святая ложь...

Горит свеча. Для счета дней
Срываю листик календарный —
Строфа из Бальмонта. Под ней:
«Борщок, шнель-клопс и мусс янтарный».
Дрожу, как мокрая овца...
И нет конца, и нет конца!

〈1909〉

НОЧНАЯ ПЕСНЯ ПЬЯНИЦЫ

Темно...
Фонарь куда-то к черту убежал!
Вино
Качает толстый мой фрегат, как в шквал...
Впотьмах
За телеграфный столб держусь рукой.
Но, ах!
Нет вовсе сладу с правою ногой —
Она
Вокруг меня танцует — вот и вот...
Стена
Все время лезет прямо на живот.
Свинья!!
Меня назвать свиньею? Ах, злодей!
Меня,
Который благородней всех людей?!
Убью!
А впрочем, милый малый, Бог с тобой —
Я пью,
Но так уж предназначено судьбой.
Ослаб...
Дрожат мои колени — не могу!
Как раб,
Лежу на мостовой и ни гу-гу...
Реву...

Мне нынче сорок лет — я нищ и глуп.
В траву
Заройте заспиртованный мой труп.
В ладье
Уже к чертям повез меня Харон...
Adieu! *
Я сплю, я сплю, я сплю со всех сторон...

〈1909〉

ГОРОДСКАЯ СКАЗКА

Профиль тоньше камеи,
Глаза, как спелые сливы,
Шея белее лилеи
И стан, как у леди Годивы.

Деву с душою бездонной,
Как первая скрипка оркестра,—
Недаром прозвали мадонной
Медички шестого семестра.

Пришел к мадонне филолог,
Фаддей Симеонович Смяткин.
Рассказ мой будет недолог:
Филолог влюбился в пятки.

Влюбился жестоко и сразу
В глаза ее, губы и уши,
Цедил за фразою фразу,
Томился, как рыба на суше.

Хотелось быть ее чашкой,
Братом ее или теткой,
Ее эмалевой пряжкой
И даже зубной ее щеткой!..

«Устали, Варвара Петровна?
О, как дрожат ваши ручки!» —
Шепнул филолог любовно,
А в сердце вонзились колючки.

«Устала. Вскрывала студента:
Труп был жирный и дряблый.

* Прощайте (*фр.*).

Холод... Сталь инструмента.
Руки, конечно, иззябли.

Потом у Калинкина моста
Смотрела своих венеричек.
Устала: их было дó ста.
Что с вами? Вы ищете спичек?

Спички лежат на окошке.
Ну вот. Вернулась обратно,
Вынула почки у кошки
И зашила ее аккуратно.

Затем мне с подругой достались
Препараты гнилой пуповины.
Потом... был скучный анализ:
Выделенье в моче мочевины...

Ах, я! Прошу извиненья:
Я роль хозяйки забыла —
Коллега! Возьмите варенья,—
Сама сегодня варила».

Фаддей Симеонович Смяткин
Сказал беззвучно: «Спасибо!»
А в горле ком кисло-сладкий
Бился, как в неводе рыба.

Не хотелось быть ее чашкой,
Ни братом ее и ни теткой,
Ни ее эмалевой пряжкой,
Ни зубной ее щеткой!

<1909>

В ГОСТЯХ

(Петербург)

Холостой стаканчик чаю
(Хоть бы капля коньяку).
На стене босой Толстой.
Добросовестно скучаю
И зеленую тоску
Заедаю колбасой.

Адвокат ведет с коллегой
Специальный разговор.
Разорвись — а не поймешь!
 А хозяйка с томной негой,
 Устремив на лампу взор,
 Поправляет бюст и брошь.

«Прочитали Метерлинка?»
— Да. Спасибо, прочитал...
«О, какая красота!»
 И хозяйкина ботинка
 Взволновалась, словно в шквал.
 Лжет ботинка, лгут уста.

У рояля дочь в реформе,
Взяв рассеянно аккорд,
Стилизованно молчит.
 Старичок в военной форме
 Прежде всех побил рекорд —
 За экран залез и спит.

Толстый доктор по ошибке
Жмет мне ногу под столом.
Я страдаю и терплю.
 Инженер зудит на скрипке.
 Примирайсь и с этим злом,
 Я и бодрствую, и сплю.

Что бы вслух сказать такое?
Ну-ка, опыт, выручай!
« Попрошу... еще стакан... »
 Ем вчерашнее жаркое,
 Кротко пью холодный чай
 И молчу, как истукан.

⟨1908⟩

ЕВРОПЕЕЦ

В трамвае, набитом битком,
Средь двух гимназисток, бочком,
Сажу в настроенье прекрасном.

Панама сползает на лоб,
Я — адски пленительный сноб,
В накидке и в галстукe красном.

Пассаж не спеша осмотрев,
Вхожу к «Доминику», как лев,
Пью портер, малагу и виски.

По карте, с достоинством ем
Сосиски в томате и крем,
Пулярку и снова сосиски.

Раздуло утробу копной...
Сановный швейцар предо мной
Толкает бесшумные двери.

Умаявшись, сыт и сонлив,
И руки в штаны заложив,
Сижу в Александровском сквере.

Где б вечер сегодня убить?
В «Аквариум», что ли, сходить,
Иль, может быть, к Мэри слетаю?

В раздумье на мамок смотрю.
Вздыхаю, зеваю, курю,
И «Новое время» читаю...

Шварц, Персия, Турция... Чушь!
Разносчик! Десяточек груш...
Какие прекрасные грушки!

А завтра в двенадцать часов
На службу явиться готов,
Чертить на листах завитушки.

Однако: без четверти шесть.
Пойду-ка к «Медведю» поесть,
А после — за галстуком к Кнопу.

Ну как в Петербурге не жить?
Ну как Петербург не любить
Как русский намек на Европу?

<1908>

ЛАБОРАНТ И МЕДИЧКИ

I

Он сидит среди реторт
И ругается, как черт:
«Грымзы! Кильки! Бабы! Совы!
Безголовы, бестолковы —
Иодом залили сюртук,
Не закрыли кран... Без рук!
Бьют стекло, жужжат, как осы...
А дурацкие вопросы?
А погибший матерьял?
О, как страшно я устал!»

Лаборант встает со стула.
В уголок идет сутуло
И, издав щемящий стон,
В рот сует пирамидон.

II

А на лестнице медички
Повторяли те же клички:
«Грымза! Килька! Баба! Франт!
Безголовый лаборант...
На невиннейший вопрос
Буркнет что-нибудь под нос;
Придирается, как дама —
Ядовито и упрямо,
Не простит пустой ошибки!
Ни привета, ни улыбки...»

Визг и писк. Блестят глазами,
Машут красными руками:
«О, несноснейший педант,
Лаборашка, лаборант!»

III

Час занятий. Шепот. Тишь.
Девы гнутся, как камыш,
Девы все ушли в работы.
Где же «грымзы»? Где же счеты?
Лаборант уже не лев
И глядит бочком на дев,
Как колибри на боа.

Девы тоже трусят льва:
Очень страшно, очень жутко —
Оскандалиться — не шутка!
Свист горелок. Тишина.
Ноет муха у окна.
Где Юпитер? Где Минервы?
Нервы, нервы, нервы, нервы...

〈1909〉

В УСАДЬБЕ

Склад вазонов на дорожках,
На комодах, на столах,
На камине, на окошках,
На буфетах, на полах!

Три азартных канарейки
Третий час уже подряд
Выгнув тоненькие шейки,
Звонко стеклышки дробят.

За столом в таком же роде
Деликатный дамский хор:
О народе, о погоде,
О пюре из помидор...

Вспоминают о Париже,
Клонят головы к плечу.
Я придвинулся поближе,
Наслаждаюсь и молчу.

«Ах, pardon!.. Возьмите ножку!
Масло? Ростбиф? Камамбер?»
Набиваюсь понемножку,
Как пожарный кавалер.

Лес высоких аракарий,
В рамках — прадедов носы.
Словно старый антикварий,
Тихо шепчутся часы.

Самовар на курьих лапках,
Гиацинты в колпачках.
По стенам цветы на папках
Мирно дремлют на крючках.

Стекла сказочно синеют:
В мерзлых пальмах — искры льда.
Лампа-молния лютует,
В печке красная руда.

Рай... Но входит Макс легавый.
Все иллюзии летят!
В рай собак, о рок неправый,
Не пускают, говорят...

⟨1910⟩ *Декабрь*
Сальмела

КУХНЯ

Тихо тикают часы.
На картонном циферблате
Вязь из розочек в томате
И зеленые усы.

Возле раковины щель
Вся набита прусаками,
Под иконой ларь с дровами
И двугорбая постель.

Над постелью бывший шах,
Рамки в ракушках и бусах,—
В рамках чучела в бурнусах
И солдаты при часах.

Чайник ноет и плюет.
На окне обрывки книжки:
«Фаршированные пышки»,
«Шведский яблочный компот».

Пахнет мыльной водой,
Старым салом и угаром.
На полу пред самоваром
Кот сидит, как неживой.

Пусто в кухне. Тик-да-так.
А за дверью на площадке
Кто-то пьяненький и сладкий
Ноет: «Дарья, четверт-так!»

〈1913〉

АВГИЕВЫ КОНЮШНИ

Это может дойти до того, что ино-
му, особенно в минуты ипохондричес-
кого настроения, мир может показаться
с эстетической стороны — музеем
карикатур, с интеллектуальной —
сумасшедшим домом, и с нравствен-
ной — мошенническим притоном.

(Шопенгауэр. «Свобода воли»)

«СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ»

(1809—1909)

Ах! Милый Николай Васильич Гоголь!
Когда б сейчас из гроба встать ты мог,—
Любой прыщавый декадентский щеголь
Сказал бы: «Э, какой он, к черту, бог?
Знал быт, владел пером, страдал. Какая редкость!
А стиль, напевность, а прозрения печать,
А темно-звонких слов изысканная меткость?..
Нет, старичок... Ложитесь в гроб опять!»

Есть между нами, правда, и такие,
Что дерзко от тебя ведут свой тусклый род
И, лицемерно пред тобой согнувши выи,
Мечтают сладенько: «Придет и мой черед!»
Но от таких «своих», дешевых и развязных,
Удрал бы ты, как Подколесин, чрез окно...
Царят! Бог их прости, больных, пустых и грязных,
А нам они наскучили давно.

Пусть их шумят... Но где твои герои?
Все живы ли, иль, небо прокоптив,
В углах медвежьих сгнили на покое
Под сенью благостной крестьянских тучных нив?
Живут... И как живут! Ты, встав сейчас из гроба,
Ни одного из них, наверно, б не узнал:
Павлуша Чичиков — сановная особа
И в интендантстве патриотом стал.

На мертвых душ портянки поставляет
(Живым они, пожалуй, ни к чему),
Манилов в Третьей Думе заседает
И в председатели был избран... по уму.

Петрушка сдуру сделался поэтом
И что-то мажет в «Золотом руне»,
Ноздрев пошел в охранное — и в этом
Нашел свое призвание вполне.

Поручик Пирогов с успехом служит в Ялте
И сам сапожников по праздникам сечет,
Чуб стал союзником и об еврейском гвалте
С большою эрудицией поет.
Жан Хлестаков работает в «России»,
Затем — в «Осведомительном бюро»,
Где чувствует себя совсем в родной стихии:
Разжился, раздобыл — вот борзое перо!..

Одни лишь черти, Вий да ведьмы, и русалки,
Попавши в плен к писателям modernes,
Зачахли, выдохлись и стали страшно жалки,
Истасканные блудом мелких скверн...
Ах, милый Николай Васильич Гоголь!
Как хорошо, что ты не можешь встать...
Но *мы* живем! Боюсь — не слишком много ль
Нам надо слышать, видеть и молчать?

И в праздник твой, в твой праздник благородный,
С глубокой горечью хочу тебе сказать:
— Ты был для нас источник многоводный,
И мы к тебе пришли теперь опять,—
Но «смех сквозь слезы» радостью усталой
Не зазвенит твоим струнам в ответ...
Увы, увы... Слез более не стало,
И смеха нет.

⟨1909⟩

СТИЛИЗОВАННЫЙ ОСЕЛ

(Ария для безголосых)

Голова моя — темный фонарь с перебитыми стеклами,
С четырех сторон открытый враждебным ветрам.
По ночам я шатаюсь с распутными пьяными Фёклами,
По утрам я хожу к докторам.
Тарарам.

Я — волдырь на сиденье прекрасной российской словесности,
Разрази меня гром на четыреста восемь частей!
Оголюсь и добьюсь скандалезно-всемирной известности,
И усядусь, как нищий-слепец, на распутиях путей.

Я люблю апельсины и все, что случайно рифмуется,
У меня темперамент макаки и нервы, как сталь.
Пусть «П. Я.»-старомодник из зависти злится и дуется,
И вопит: «Не поэзия — шваль!»

Врешь! Я прыщ на извечном сиденье поэзии,
Глянцевито-багровый, напевно-коралловый прыщ,
Прыщ с головкой белее несказанно-жженной магнезии
И галантно-развязно-манерно-изломанный хлыщ.

Ах, словесные, тонкие-звонкие фокусы-покусы!
Заклюю, забрыкаю, за локоть себя укушу.
Кто не понял — невежда. К нечистому! Накося — выкуси.
Презираю толпу. Попишу? Попишу, попишу...

Попишу животом и ноздрей, и ногами, и пятками,
Двухкопеечным мыслям придам сумасшедший размах,
Зарифмую все это для стиля яичными смятками
И пойду по панели, пойду на бесстыжих руках...

<1909>

ПРОСТЫЕ СЛОВА

(Памяти Чехова)

В наши дни трехмесячных успехов
И развязных гениев пера
Ты один тревожно-мудрый Чехов
Повторяешь скорбное: «Пора!»

Сам не веришь, но зовешь и будишь,
Разрываешь ямы до конца
И с беспомощной усмешкой тихо судишь
Оскорбивших землю и Отца.

Вот ты жил меж нами, нежный, ясный,
Бесконечно ясный и простой —
Видел мир наш хмурый и несчастный,
Отравлялся нашей наготой...

И ушел! Но нам больней и хуже:
Много книг, о слишком много книг!
С каждым днем проклятый круг все уже
И не сбросить «чеховских» вериг...

Ты хоть мог, вскрывая торопливо
Гнойники,— смеяться, плакать, мстить,—
Но теперь все вскрыто. Как тоскливо
Видеть, знать, не ждать и, молча, гнить!

<1910>

АНАРХИСТ

Жил на свете анархист.
Красил бороду и щеки,
Ездил к немке в Териоки
И при этом был садист.

Вдоль затылка жались складки
На багровой полосе.
Ел за двух, носил перчатки —
Словом, делал то, что все.

Раз на вечере попович,
Молодой идеалист,
Обратился: «Петр Петрович,
Отчего вы анархист?»

Петр Петрович поднял брови
И багровый, как бурак,
Оборвал на полуслове:
«Вы невежа и дурак».

<1908>

НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Она была поэтесса,
Поэтесса бальзаковских лет.
А он был просто повеса —
Курчавый и пылкий брюнет.

Повеса пришел к поэтессе,
В полумраке дышали духи,
На софе, как в торжественной мессе,
Поэтесса гнусила стихи:

«О, сумей огнедышащей лаской
Всколыхнуть мою сонную страсть.
К пене бедер, за алой подвязкой
Ты не бойся устами припасть!

Я свежа, как дыханье левкоя...
О, сплетем же истомности тел!»
Продолжение было такое,
Что курчавый брюнет покраснел.

Покраснел, но оправился быстро
И подумал: была не была!
Здесь не думские речи министра,
Не слова здесь нужны, а дела...

С несдержанной силой кентавра
Поэтессу повеса привлек.
Но визгливо-вульгарное: «Мавра!!»
Охладило кипучий поток.

«Простите...— вскочил он.— Вы сами...»
Но в глазах ее холод и честь:
«Вы смели к порядочной даме,
Как дворник, с объятьями лезть?!»

Вот чинная Мавра. И задом
Уходит испуганный гость.
В передней растерянным взглядом
Он долго искал свою трость...

С лицом блее магнезии
Шел с лестницы пылкий брюнет:
Не понял он новой поэзии
Поэтессы бальзаковских лет.

⟨1909⟩

ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ

(Посв. исписавшимся «популярностям»)

Я похож на родильницу,
Я готов скрежетать...
Проклинаю чернильницу
И чернильницы мать!

Патлы дыбом взлохмачены,
Отупел, как овца,—
Ах, все рифмы истрачены
До конца, до конца!..

Мне, правда, нечего сказать, сегодня, как всегда,
Но этим не был я смущен, поверьте, никогда —
Рожал словечки и слова, и рифмы к ним рожал,
И в жизнерадостных стихах, как жеребенок, ржал.

Паралич спинного мозга?
Врешь, не сдамся! Пень-мигрень,
Бебель-стебель, мозга-розга,
Юбка-губка, тень-тюлень,

Рифму, рифму! Иссакаю,—
К рифме тему сам найду...
Ногти в бешенстве кусаю
И в бессильном трансе жду.

Иссяк. Что будет с моей популярностью?
Иссяк. Что будет с моим кошельком?
Назовет меня Пильский дешевой бездарностью,
А Вакс Калошин разбитым горшком...

Нет, не сдамся... Папа-мама,
Дратва-жатва, кровь-любовь,
Драма-рама-панорама,
Бровь, свекровь, морковь... носки!

<1908>

СИРОПЧИК

(Посв. «детским поэтессам»)

Дама, качаясь на ветке,
Пикала: «Милые детки!
Солнышко чмокнуло кустик...
Птичка оправила бюстик
И, обнимая ромашку,
Кушает манную кашку...»

Детки, в оконные рамы
Хмуρο уставясь глазами,
Полны недетской печали,
Даме в молчанье внимали.

Вдруг зазвенел голосочек:
«Сколько напикала строчек?..»

〈1910〉

ИСКУССТВО В ОПАСНОСТИ!

Литературного ордена
Рыцари! Встаньте, горим!!
Книжка Владимира Гордина
Вышла изданием вторым.

〈1910〉

ПЕСНЯ О ПОЛЕ

«Проклятые» вопросы,
Как дым от папиросы,
Рассеялись во мгле.
Пришла Проблема Пола,
Румяная фефела,
И ржет навеселе.
Заерзали старушки,
Юнцы и дамы-душки
И прочий весь народ.
Виват, Проблема Пола!
Сплетайте вокруг подола
Веселый «Хоровод».

Ни слез, ни жертв, ни муки...
Подыдем знамя-брюки
Высоко над толпой.
Ах, нет доступней темы!
На ней сойдемся все мы —
И зрячий и слепой.
Научно и приятно,
Идейно и занято —
Умей момент учесть:
Для слабенькой головки
В Проблеме-мышеловке
Всегда приманка есть.

〈1908〉

ЕДИНСТВЕННОМУ В СВОЕМ РОДЕ

Между Толстым и Гоголем Суворин
Справляет юбилей.
Тон юбилейный должен быть мажорен:
Ври, красок не жалей!
Позвольте ж мне с глубоким реверансом,
Маститый старичок,
Почтить вас кисло-сладеньким романсом
(Я в лести новичок):

Полсотни лет,
Презревши все «табу»,
Вы с тьмой и ложью, как Гамлет,
Вели борьбу.

Свидетель Бог!
Чтоб отложить в сундук,—
Вы не лизали сильным ног,
Ни даже рук.

Вам все равно —
Еврей ли, финн, иль грек,
Лишь был бы только не «Евно»,
А человек.

Твои глаза
(Перехожу на ты!),
Как брюк жандармских бирюза,
Всегда чисты.

Ты vis-à-vis
С патриотизмом — пол
По объявленьям о любви
Свободно свел.

И орган твой,
Кухарок нежный друг,
Всегда был верный часовой
Для верных слуг...

На лире лопнули струны со звоном!..
Дрожит фальшивый, пискливый аккорд...
С мяуканьем, с визгом, рычаньем и стоном
Несутся кошмаром тысячи морд:
Наглость и ханжество, блуд, лицемерье,
Ненависть, хамство, жадность и лесть,

Несутся, слюнявят кровавые перья
И чертят по воздуху: Правда и Честь!

〈1909〉

ПО МЫТАРСТВАМ

У райских врат гремит кольцом
Душа с восторженным лицом:
— Тук-тук! Не слышат... вот народ!
К вам редкий праведник грядет!

И после долгой тишины
Раздался глас из-за стены:
— Здесь милосердие царит —
Но кто ты? Чем ты знаменит?

— Кто я? Не жид, не либерал!
Я «письма к ближним» сочинял...
За дверью топот быстрых ног,
Краснеет райских врат порог.

У адских врат гремит кольцом
Душа с обиженным лицом:
— Эй, там! Скорее, Асмодей!
Грядет особенный злодей...

Визгливый смех пронзает тишь:
— Ну, этим нас не удивишь!
Отца зарезал ты, иль мать?
У нас таких миллионов пять.

— Я никого не убивал —
Я «письма к ближним» сочинял...
За дверью топот быстрых ног,
Краснеет адских врат порог.

Душа вернулась на погост —
И здесь вопрос не очень прост:
Могилы нет... Песок изрыт,
И кол осиновый торчит...

Совсем обиделась душа
И, воздух бешено круша,
В струях полуночных теней
Летит к редакции своей.

Впорхнувши в форточку клубком,
Она вдоль стен бочком, бочком,
И шмыг в плевательницу. «О!
Да здесь уютнее всего!»

На утро кто-то шел, спеша,
И плюнул. Нюхает душа:
— Лук, щука, перец... Сатана!
Ужель еврейская слюна?!

— Ах, только я был верный щит!
И в злобе выглянуть спешит —
Но сразу стих священный гнев:
— Ага! Приемник мой — Азеф!

〈1909〉

ПАНУРГОВА МУЗА

Обезьяний стильный профиль,
Щелевидные глаза,
Губы клецки, нос картофель —
Ни девица, ни коза.

Волоса, как хвост селедки,
Бюста нет — сковорода,
И растет на подбородке,—
Гнусно молвить — борода.

Жесты резки, ноги длинные,
Руки выгнуты назад,
Голос тоньше паутины
И клыков подгнивших ряд.

Ах, ты душечка! Смеется,
Отворила ворота...
Сногшибательно несется
Кислый запах изо рта.

Щелки глаз пропали в коже,
Брови лысые дугой.
Для чего ж, великий Боже,
Выводить ее нагой?!

〈1908〉

ДВА ТОЛКА

Один кричит: «Что форма? Пустяки!
Когда в хрусталь налить навозной жижи —
Не станет ли хрусталь безмерно ниже?»

Другие возражают: «Дураки!
И лучшего вина в ночном сосуде
Не станут пить порядочные люди».

Им спора не решить... А жаль!
Ведь можно наливать... *вино в хрусталь.*

〈1909〉

НЕТЕРПЕЛИВОМУ

Не ной... Толпа тебя, как сводня,
К успеху жирному толкнет,
И в пасть расчетливых тенет
Ты залучишь свое сегодня.

Но знай одно — успех не шутка:
Сейчас же предъявляет счет.
Не заплатил — как проститутка,
Не доночует и уйдет.

〈1910〉

ПОШЛОСТЬ

(*Пастель*)

Лиловый шарф и желтый бант у бюста,
Безглазые глаза, как два пупка.
Чужие локоны к вискам прилипли густо
И маслянисто свесились бока.

Сто слов, навитых в черепе на ролик,
Замусленную всеми ерунду,—
Она, как четки набожный католик,
Перебирает вечно на ходу.

В ее салонах — *Все*, толпою смелой,
Содравши шкуру с девственных Идей,

Хватают лапами бесчувственное тело
И рьяно ржут, как стадо лошадей.

Там говорят, что вздорожали яйца,
И что комета стала над Невой,—
Любуясь, как каминные китайцы
Кивают в такт, под граммофонный вой.

Сама мадам склонна к идеалам:
Законную двуспальную кровать
Под стеганым атласным одеялом
Она всегда умела охранять.

Но нос суя любовно и сурово
В случайный хлам бесштемпельных «грехов»,
Она читает вечером Баркова
И с кучером храпит до петухов.

Поет. Рисует акварелью розы.
Следит, дрожа, за модой всех сортов,
Копя остроты, слухи, фразы, позы
И растлевающая музу и любовь.

На каждый шаг — расхожий катехизис,
Прин-ци-пи-аль-но носит бандажи,
Некстати поминает слово «кризис»
И томно тяготеет к глупой лжи.

В тщеславном, нестерпимо-остром зуде
Всегда смешна, себе самой в ущерб,
И даже на интимнейшей посуде
Имеет родовой, дворянский герб.

Она в родстве и дружбе неизменной
С бездарностью, нахальством, пустяком.
Знакома с лестью, пафосом, изменой
И, кажется, в амурах с дураком...

Ее не знают, к счастью, только... Кто же?
Конечно — дети, звери и народ.
Одни — когда со взрослыми не схожи,
А те — когда подальше от господ.

Портрет готов. Карандаши бросая,
Прошу за грубость мне не делать сцен:
Когда свинью рисуешь у сарая —
На полотне не выйдет belle Hélène *.

<1910>

* Прекрасная Елена (*фр.*).

Я обращаюсь к писателям,
художникам, устроителям с горячим
призывом не участвовать в деле,
разлагающем общество...

(А. Блок. «Вечера искусств»)

Молил поэта Блок-поэт:

«Во имя Фета

Дай обет —

Довольно быть с эстрады

Гнусавые баллады!

Искусству вреден

Гнус и крик,

И нищ и бледен

Твой язык,

А publicum гогочет

Над тем, кто их морочит».

Поэт на Блока

Заворчал:

«Мерси! Урока

Я не ждал —

Готов читать хоть с крыши

Иль в подворотной нише!

Мелькну, как дикий,

Там и тут,

И шум и крики

Все растут,

Глядишь — меня в итоге

На час зачислят в боги.

А если б дома

Я торчал

И два-три тома

Наточал,

Меня б не покупали

И даже не читали...»

Был в этом споре

Блок сражен.

В наивном горе

Думал он:

«Ах! нынешние Феты

Как будто не поэты...»

<1908>

НЕДЕРЖАНИЕ

У поэта умерла жена...
Он ее любил сильнее гонорара!
Скорбь его была безумна и страшна —
Но поэт не умер от удара.

После похорон пришел домой — до дна
Весь охвачен новым впечатленьем
И, спеша, родил стихотворенье:
«У поэта умерла жена».

〈1909〉

ЧЕСТЬ

Когда раскроется игра —
Как негодуют шулера!
И как кричат о чести
И благородной мести!

〈1910〉

ВЕШАЛКА ДУРАКОВ

I

Раз двое третьего рассматривали в лупы
И изрекли: «Он глуп». Весь ужас здесь был в том,
Что тот, кого они признали дураком,
Был умницей — они же были глупы.

II

«Кто этот, лгущий так туманно,
Неискренно, шаблонно и пространно?»
— «Известный мистик N, большой чудак».
— «Ах, мистик? Так... Я полагал — дурак».

III

Ослу образование дали.
Он стал умней? Едва ли.
Но раньше, как осел,
Он просто чушь порол,

А нынче,— ах, злодей,—
Он с важностью педанта,
При каждой глупости своей
Ссылается на Канта.

IV

Дурак рассматривал картину:
Лиловый бык лизал моржа.
Дурак пригнулся, сделал мину
И начал: «Живопись свежа...
Идея слишком символична,
Но стилизовано прилично».
(Бедняк скрывал сильнее всего,
Что он не понял ничего.)

V

Умный слушал терпеливо
Излиянья дурака:
— Не затем ли жизнь тосклива
И бесцветна, и дика,
Что вокруг, в конце концов,
Слишком много дураков?
Но, скрывая желчный смех,
Умный думал, свирепея:
— Он считает только тех,
Кто его еще глупее —
«Слишком много» для него...
Ну, а мне-то каково?

VI

Дурак и мудрецу порою кровный брат:
Дурак вовек не поумнеет,
Но если с ним заспорит хоть Сократ,—
С двух первых слов Сократ глупеет!

VII

Пусть свистнет рак,
Пусть рыба запоет,
Пусть манна льет с небес,—
Но пусть дурак
Себя в себе найдет —
Вот чудо из чудес!

〈1908—1910〉

БАЛЛАДА

(Из «*Sinngedichte*» * Людвиг Фюльда)

Был верный себе до кончины
Почтенный и старый шаблон.
Однажды с насмешкой змеиной
Кинжалом он был умерщвлен.
Когда с торжеством разделили
Наследники царство и трон,—
То новый шаблон, говорили,
Похож был на старый шаблон.

⟨1908⟩

«ТРАДИЦИИ»

Не носи сатир в газеты,
Как товар разносит фактор.
Выйдет толстенький редактор,
Сногшибательно одетый,
Скажет: «Нам нужны куплеты
В виде хроники с гарниром.
Марков выругал Гучкова,
А у вас о сем ни слова?!
Где ж сатира? В чем сатира?
Извините... Нет, не надо».
Взглянет с важностью банкира
И махнет рукой с досадой.

Не носи сатир в журналы,
Как товар разносит фактор.
Выйдет жиденский редактор,
Волосатый, полинялый.
Буркнет: «Тоже... Ювеналы!
Покупаем только строчки
С благородным содержанием:
Осень, желтые листочки,
Две вороны на каштане,
Ветер... дождик... и молчанье...
А сатиры...— Нет, не надо!»
Фыркнет, фукнет, скрестит длани
И мотнет губой с досадой...

Но придя домой, мой милый,
Не намыливай веревку,

* «Эпиграммы» (нем.).

Не вскрывай, тоскуя, жилы,
Не простреливай головку —
А пошли-ка лучше Дашку
За грибами и селедкой,
Сядь к столу, возьми бумажку
И пиши — остро и четко.
Написал — прочти, почувствуй
И спроси у сердца: верно?
Только так придешь к искусству.
Остальное — злая скверна.

⟨1909⟩

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОДНОГО СТАРОГО
РАЗГОВОРА

Книгопродавец

Стишки любимца муз и граций
Мы вмиг рублями заменим
И в пук наличных ассигнаций
Листочки наши обратим.

(«Разговор книгопродавца с поэтом» Пушкин.)

Читатель

Слова без смысла, чувства нету,
Натянут каждый оборот:
Притом — сказать ли по секрету?
И в рифмах часто недочет.

(«Журналист, читатель и писатель» Лермонтов.)

Гражданин

Будь гражданин. Служа искусству
Для блага ближнего живи,
Свой гений подчиняя чувству
Всеобнимающей любви.

(«Поэт и гражданин» Некрасов.)

(Отдельный кабинет. Писатель, читатель, критик и издатель)

К р и т и к

Антракт... Один сплошной антракт.
Но унывать нельзя однако.
Отлив — перед приливом. Факт!
Вновь солнце выглянет из мрака...
Примет не мало, господа,
Всем надоели выкрутасы,
И даже «рыжие» саврасы
Сошли, как грязная вода.
Плач у разбитого корыта
Уже не трогает сердце.
Пусть быт... Но отчего ж из быта
Брать только зло за образец?
Все больше грамотных у нас,
Все крепнет жажда бодрой пищи,
А наш изысканный Парнас

Зарос репьем по голенище...
Потребность в гении ясна,—
А если так, то несомненно
Придет, гремя оружием, смена,
И будет вновь у нас весна!

П и с а т е л ь

Что ж... Вам, почтеннейшей гадалке,
И карты в руки. Очень рад!
Пусть гениальный мой собрат
Скорей придет. Вот только палки
Не суйте, друг, промеж колес.
Закон ли гению ваш спрос?
Вдруг не захочет петь он бодро:
Ведь вы тогда с него по бедра
Сдерете кожу! Между прочим,
И вам мы, сударь, напророчим.
Боюсь, чтоб вам, судья суровый,
Не прозевать его приход!
Вот разве гений — критик новый
Придет с ним вместе в свой черед...
Алло?

К р и т и к (*холодно, с достоинством*)
Благодарю покорно.

Ч и т а т е л ь

Мне примирить нетрудно вас:
Нет Достоевских, но бесспорно
Белинских тоже нет сейчас.
Хотя не мало...

П и с а т е л ь (*перебивает*)

Что не мало?

Монбланы были и прошли,
А ты все так же бродишь вяло
По грязной ярмарке земли.
Что ж, вкус твой вырос? Сердце шире?
Богаче мысль? Дух стал без шор?
И вообще — к чему в трактире
Литературный разговор?
Патрон, налейте...

И з д а т е л ь (*игриво*)

За манишку?

Ха-ха! Что спорить? Я делец,
Читатель покупает книжку,
Писатель пишет, и конец.
Но я немножко тоже значу.

Чуть-чуть. Я говорю чуть-чуть...
Кто снаряжает всех вас в путь?
Кто финансирует удачу?
Успех — вот штука! Гений — хлам.
Сознайтесь, господин писатель,
Не я ль, ваш опытный издатель,
Такое имя сделал вам?

П и с а т е л ь

Вот говорящий кошелек!
Да, признаюсь... Но... где же водка?..
А до сих пор я думал кротко,
Что имя плод м о и х лишь строк...
Прозрел.

И з д а т е л ь

Не злитесь, мой красавец!

Давно прошли те времена-с,
Когда, пробравшись на Парнас,
Ждал в уголке книгопродавец.
Приди сюда хоть сам ваш Фет —
И в свой журнал «Всего помногу»
Я закажу ему, ей-богу,
В сто строк рождественский сонет!

К р и т и к (деловито)

Четырнадцать лишь строк в сонете.

И з д а т е л ь

Пускай четырнадцать! Плевать!
Ого! Уж час. Прощайте, дети!
На вернисаж не опоздать...
Там мой портрет. Работа — сон!
Одна лишь рама стоит двести.
Что здесь торчать? Пошли бы вместе?
А? Не хотите? Миль пардон!

(не без грации уходит)

П и с а т е л ь

Видали? Вот он — демон мой,
Мой меценат и искуситель,
Заказчик мой глухонемой,
Сезонных вкусов утвердитель...
Кто им не скуплен на корню?
И кто к очередному дню
Его «Еженедельных Вздоров»
Новелл не пишет для шоферов?

Он клеит сотни альманахов,
Объединяя их... рублем.
Без рук, без глаз, с душой-нулем
Он самовластной падишахов!
Он залил хламом детский рынок,
Родил «анкеты о белье»,
Придумал конкурсы картинок
На тему «Драма в ателье».
Он, как эксперт в литературке,
Сидит среди теток и друзей
И все маститые окурки
Покорно тащит в свой музей...
Он издает, как каталоги,
Стихи о нежном и святом...
И я пред ним... дрожу в тревоге,
Чтоб к сроку сдать свой новый том...

К р и т и к

Коллега, вы сгустили краски.
Что говорить — капитализм
Родил рекламу и цинизм
И музу нарядил в подвязки.
Но чем издатель виноват?
Он только раб условий века.
Нелепо ждать ведь, чтоб от чека
Струился тонкий аромат.
В универсальном магазине
Должно быть все на всякий вкус.
А «Спальня ветреной графини»
Всегда для рынка верный плюс.
В обложке пестрой суррогат
Идет бойчей оригинала.
Тот Мопассана гонит в сало,
Тот шьет из лейкиных заплат...
Боритесь! Будьте лишь собой —
Смешно глодать чужие кости.
Смотрите, с запада гурьбой
Идут наряднейшие гости.
Пусть быт их чужд, пусть речь нова —
Мы все на новое ведь падки.
А вы, как нищая вдова,
Распродаете лишь остатки...
Боритесь, черт вас побери!
Для зорких глаз все ново в мире,
Иль загасите фонари
И...

П и с а т е л ь (зевая)

Дважды два — четыре.

Ч и т а т е л ь

Позвольте мне сказать два слова.
Вы так отделали сурово
Того, кто вас распродает...
Но вы-то сами кто? Илот?
Не соблазненная ж купцом
Вы институтка в самом деле?
Вы тоже стали продавцом
И растеряли вкус и цели.
Специалисты по попам,
Альковым, страхам и скелетам,
Вы по налаженным тропам
Гарцуете зимой и летом.
Легко! Сто раз себе самим
Вы подражаете убого,—
А если смыть манерный грим —
Что там останется? Немного...

К р и т и к

Ну, не совсем...

Ч и т а т е л ь

Не в этом суть!

Но кто же, господин писатель,
Определил ваш новый путь?
Вы сами? Общество? Издатель?
Для вас сейчас любой успех,
Как допинг для усталой клячи...
Зачем торгуетесь при всех —
Чей «изм» умнее и богаче?
В неделю изводя стопу,
Привыкли вы менять две маски:
Во вторник презирать толпу,
А в пятницу ей строить глазки...
В тупой анкете «о мозоле»
И ваше мнение мы найдем,
В кинематографе с моржом
Снимались вы по доброй воле...
Да не один кинематограф!
Я не могу пойти в кабак,
Чтоб со стены, как вещей знак,
Не угрожал мне ваш автограф...
Поймите... Надо уважать
Хотя кого-нибудь на свете.
Я вас любил...

Ты любишь, друг мой, порыдать.
 Будь проклят ты с такой любовью!
 Устану ль я иль вдруг споткнусь,—
 Ты первый всякому злословью,
 Как прачка, веришь, милый гусь...
 Ты будешь пить, служить в акцизе
 И развивать игриво прыть,—
 А я обязан, в светлой ризе,
 Голодный над тобой парить...
 Не ты ль, приятель, Льва Толстого
 На Джека Лондона сменил?
 Кто «интересней»,— тот и мил.
 К чему кроту вершины слова?
 Увы, грешна моя душа,—
 Но пред собой одной и только,—
 Что я порой не гимн, а польку
 Спеша писал из-за гроша.
 Да, я толкался в ресторанах
 И бисер улице бросал,
 Но по музеям на Дианах
 Не я автографы писал.
 А ты! Что сделал ты на свете?
 Родил собачий, затхлый быт
 И, приучивши спину к плети,
 Охотно ел из всех корыт.
 Проблем не стало для тебя:
 Расковырял, зевнул — и к черту!
 Чтоб чем-нибудь развлечь себя,
 Ты к книгам подходил, как к торту...
 Не ты ль виной, шальная муха,
 Что даже слово «гражданин»
 Сейчас так дико режет ухо,
 Как старомодный «райский крин»?
 Но будет. Брысь... А вы, мой критик,
 Что в поте вялого лица,
 Как прогрессивный паралитик,
 Меня жуете без конца?
 Вы помогли мне разобраться
 В себе самом? Когда и чем?
 Пересказать, сравнить, придраться,
 Поставить балл — и все. Зачем?
 Какие общие вопросы
 Вы подымаете сейчас?
 Все те же шпильки, брань, разносы
 И генеральский зычный бас.

Кого вы вовремя узнали?
Не вам, сидящим у дорог,
Провидеть за туманом дали!
Дай Бог кой-как свести итог...
Парнасский пресный регистратор
И юбилейный декламатор
Без вдохновенья и огня —
Не вам, мой друг, судить меня!
Но впрочем — точка. Извините.
Шумит в башке. И пусть. Плевать!
Я лишь хотел в чаду событий
Чуть-чуть наш узел развязать,
Чтоб на мои одни лишь плечи
Не клали сдуру весь багаж...
Все хороши! Эй, человеке,
Что ж счет?.. Пойдем на вернисаж...
(Все поднимаются и уходят.)

⟨1914⟩

ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ ОДНОГО «ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЩЕСТВА»

Мы культурны: чистим зубы,
Рот и оба сапога.
В письмах вежливны сугубо:
«Ваш покорнейший слуга».
Отчего ж при всяком споре,
Доведенном до конца, —
Вместо умного отпора
Мы с бессилием глупца,
Подражая папуасам,
Бьем друг друга по мордасам?
Бьем, конечно, языком, —
Но больней, чем кулаком...

⟨1909⟩

КОРНЕЙ БЕЛИНСКИЙ

(Посвящается К. Чуковскому)

В экзотике заглавий пол-успеха.
Пусть в ноздри бьет за тысячу шагов:
«Корявый буйвол», «Окуни без меха»,
«Семен Юшкевич и охапка дров».

Закрыв глаза и перышком играя,
Впадая в деланный холодно-мутный транс,
Седлает линию... Ее зовут — кривая,
Она вывозит и блюдет баланс.

Начало? Гм... Тарас убил Андрея
Не за измену Сечи... Раз, два, три!
Но потому, что ксендз и два еврея
Держали с ним на сей предмет пари.

Ведь ново! Что-с? Акробатично-ново!
Затем — смешок. Стежок. Опять смешок.
И вот — плоды случайного улова —
На белых нитках пляшет сотня строк.

Что дальше? Гм... Приступит к данной книжке,
Определит, что автор... мыловар,
И так смешно раздует мелочишки,
Что со страниц пойдет казанский пар.

«Страница третья. Пятая. Шестая...»
«На сто шестнадцатой — «собака» через ять!»
Так можно летом на стекле, скучая,
Мух двадцать, размахнувшись, в горсть поймать.

Надравши «стружек» — кстати и некстати —
Потопчется еще с полсотни строк:
То выедет на английской цитате,
То с реверансом автору даст в бок.

Кустарит парадокс из парадокса...
Холодный пафос недомолвок — гол,
А хитрый гнев критического бокса
Все рвется в истерический футбол...

И, наконец, когда мелькнет надежда,
Что он сейчас поймает журавля,
Он вдруг смущенно потупляет вежды
И торопливо... сходит с корабля.

Post scriptum: иногда Корней Белинский
Сечет господ, цена которым грош,—
Тогда кипит в нем гений исполинский,
И тогой с плеч спадает макинтош!

<1911>

ТРАГЕДИЯ

Рожденный быть кассиром в тихой бане
Иль агентом по заготовке шпал,
Семен Бубнов, сверх всяких ожиданий,
Игрой судьбы в редакторы попал.

Огромный стол. Перо и десть бумаги,—
Сидит Бубнов, задравши кнопку-нос...
Не много нужно знаний и отваги,
Чтоб ляпать всем: «Возьмем», «Не подошло-с!».

Кто в первый раз,— скостит наполовину,
Кто во второй,— на четверть иль на треть...
А в третий раз — пришли хоть требушину,
Сейчас в набор, не станет и смотреть!

Так тридцать лет чернильным папуасом
Четвертовал он слово, мысль и вкус,
И, наконец, опившись как-то квасом,
Икнул и помер, вздувшись, словно флюс...

В некрóлогах, среди пышных восклицаний,
Никто, конечно, вслух не произнес,
Что он, служа кассиром в тихой бане,
Наверно, больше б пользы всем принес.

<<1912>>
<1922>

CRITICUS

(К картине Бёклина)

В зубах гусиное перо,
В сухих глазах гроза расправы...
Вот он — чернильное ядро,
Цепной барбос у храма Славы.

Какая злая голова!
Вихры свирепей змей Медузы,
Лоб прокурора, челюсть льва,—
Закройте в страхе лица, Музы!..

На вашей коже он сейчас
Пересчитает все веснушки,

Нахрапом влезет на Парнас
И всех облает вас с макушки:

«Гав-гав! Мой суд — закон для всех!
Я гид с универсальным вкусом.
Чему я чужд — то смертный грех:
Бесцветно! Плоско! Двойка с плюсом!»

Сгребет в намордник все мечты,
Польет ремесленную злобой
И к сердцу Новой Красоты
Привесит пломбу с низкой пробой.

<<1912>>
<1922>

ЛИТЕРАТОРЫ НА КАПРИ

На скалах вечерние розы горят.
Со скал долетает гуденье:
«Четвертую часть возвратили назад
И требуют вновь сокращенья...»

Пониже, средь кактусов пыльно сухих
Весь воздух тоской намозолен:
«Почто, Алексеич, задумчив и тих?»
— «Последней главой недоволен...»

А с моря, сквозь шлепанье сонной волны,
С далекой доносится барки:
«Сто раз переделывай! Очень умны!
И так нет строки без помарки...»

1912

ИЗ ЗЕЛЕННОЙ ТЕТРАДКИ

I

Холодный ветер разметал рассаду.
Мрак, мертвый сон и дребезжанье штофов...
Бодришь, народ! Дмитрий Философов
Зажег «Неугасимую Лампаду».

II

А. РОСЛАВЛЕВ

Без галстука и чина,
Настроив контрабас,
Размашистый мужчина
Взобрался на Парнас.
Как друг, облапил Феба,
Взял у него аванс
И, сочно сплюнув в небо,
Сел с Музой в преферанс.

III

Почему-то у «толстых» журналов,
Как у толстых девиц средних лет,
Слов и рыхлого мяса немало,—
Но совсем темперамента нет.

IV

ЧИТАТЕЛЬ

Бабкин смел,— прочел Сенеку
И, насвистывая туш,
Снес его в библиотеку,
На полях отметив: «Чушь!»
Бабкин, друг,— суровый критик,
Ты подумал ли хоть раз,
Что безногий паралитик
Легкой серне не указ?..

V

СТИЛИЗАЦИЯ

К баронессе Аксан'Грав
Влез в окно голландский граф.
Ауслендер все до слова
Записал из-под алькова,
Надушил со всех сторон
И отправил в «Аполлон»;
Через месяц — деньги, лавры
И кузминские литавры.

VI

ТОНКАЯ РАЗНИЦА

Порой вам «знаменитость»
 Подаст, забыв маститость,
 Пять пальцев с миной льва.

Зато его супруга
 (И то довольно туго) —
 Всегда подаст лишь два.

VII

Немало критиков сейчас,
 Для развлечения баранов,
 Ведут подробный счет опискам...
 Рекомендую в добрый час
 Дать этим мелким василискам
 Губернский титул «критиканов».

VIII

В АЛЬБОМ БРЮСОВУ

Люди свыклись с древним предрассудком
 (Сотни лет он был бессменно свят),—
 Что талант не может быть ублюдкой,
 Что душа и дар — сестра и брат.

Но теперь такой рецепт — рутина
 И, увы, не стоит ни гроша:
 Стил — алмаз, талант, как хвост павлина,
 А внутри... бездарная душа.

<<1912>>?
 <1922>

* * *

Жестокий бог литературы!
 Давно тебе я не служил:
 Ленился, думал, спал и жил,—
 Забыл журнальные фигуры,
 Интриг и купли кислый ил,
 Молчанья боль и трепет шкуры
 И терпкий аромат чернил...

Но странно, верная мечта
Не отцвела — живет и рдеет.
Не изменяет красота —
Все громче шепчет и смелееет.
Недостижимое светлеет
И вновь пленяет высота...

Опять идти к ларям впотьмах,
Где зазыванье, пыль и давка,
Где все слепые у прилавка
Убого спорят о цветах?..
Где царь-апломб решает ставки,
Где мода — властный падишах...

Собрав с мечты душистый мед,
Беспечный, как мечтатель-инок,
Придешь сконфуженно на рынок,—
Орут ослы, шумит народ,
В ларях пестрят возы новинок,—
Вступать ли в жалкий поединок,—
Иль унести домой свой сот?..

1912

НЕВОЛЬНАЯ ДАНЬ

ПЕСНЯ СОТРУДНИКОВ САТИРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА

- Поэт.* Погиб свободный смех,
А мы живем...
Тоска в глазах у всех —
Что мы споем?
- Все.* Убежав от мертвой злобы,
Мы смеялись — ой-ли-ла!
Открывалось дно трущобы
И чуть-чуть яснеала мгла.
Но известные утробы
Съели юмор — ой-ли-ла!
И, исполнен хилой злобы,
Юмор стонет, как пила.
- Художник.* Голова горит от тем,
Карандаш остер и тонок,
Лишь художник тих и нем,
Как спеленутый ребенок...
- Юморист.* Врешь! Ребенок
Из пеленок
Буйно рвется и кричит,
А художник,
Как заложник,
Слышит, видит... и молчит.
- Поэт.* Звени, мой стих, и плачь!
Мне хуже всех —
Я должен, как палач,
Убить свой смех...
- Все.* «Смеха не надо бояться»,
В смехе последний оплот:
Не над чем разве смеяться?
Лучше без слов задышаться
Чадом родимых болот?

Юморист. Вопрос гораздо проще —
Они сказали: «нет!»
Друзья, вернемся к теще —
Невиннейший сюжет...

Все. Он прав — играть не стоит в прятки,
Читатель дорогой!
Подставь чувствительные пятки
И, знай, брыкай ногой.

Поэт (запевает). Зять с тещей, сидя на ольхе,
Свершали смертный грех...
Смешно? Хи-хи. Смешно?
Хэ-хэ.
Греми, свободный смех!

Все. Ноги кверху! Выше, выше...
Счастлив только идиот.
Пусть же яростней и лише
Идиотский смех растет.
Превратим старушку-лиру
В балалайку. Жарь до слез!
Благородную сатиру
Ветер северный унес...

<1908>

НЕВОЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Гессен сидел с Милюковым в печали.
Оба курили и оба молчали.

Гессен спросил его кротко, как Авель:
«Есть ли у вас конституция, Павел?»

Встал Милюков. Запинаясь от злобы,
Резко ответил: «Еще бы! Еще бы!»

Долго сидели в партийной печали.
Оба курили и оба молчали.

Гессен опять придвигается ближе:
«Я никому не открою — скажи же!»

Раненый демон в зрачках Милюкова:
«Есть — для кадет! А о прочих ни слова...»

Мнительный взгляд на соратника бросив,
Вновь начинает прекрасный Иосиф:

«Есть ли»... но слезы бегут по жилету —
На ухо Павел шепнул ему: «Нету!»

Обнялись нежно и в мирной печали
Долго курили и долго молчали.

⟨1909⟩

БАЛЛАДА

Я позвал их, показал им пирог
и предложил условия. Большого им
и не требовалось.

(Ж. Ж. Руссо. «Эмиль»)

Устав от дела, бюрократ
Раз, вечером росистым,
Пошел в лесок, а с ним был штат:
Союзник с октябристом.
 Союзник нес его шинель,
 А октябрист — его портфель...
 Лесок дрожал в печали,
 И звери чуть дышали.

Вдруг бюрократ достал пирог
И положил на камень:
— Друзья! Для ваших верных ног
Я сделаю экзамен —
 За две версты отсель, чрез брод,
 Бежите задом наперед.
 И кто здесь первый будет,
 Пирог себе добудет.

Ушли. Вот слышен конский топ,
И октябрист, весь в мыле,
Несется к камушку в галоп —
Восторг горит на рыле!
— Скажи, а где наш общий брат? —
Спросил в испуге бюрократ.
— Отстал. Под сенью ветел
Жида с деньгами встретил...

— А где пирог мой? — Октябрист
Повел тревожно носом
(Он был немножко пессимист
По думским ста запросам).
 Но бюрократ слегка икнул,
 Зачем-то в сторону взглянул,
 Сконфузился, как дева,
 И показал на чрево.

〈1909〉

ЦЕНЗУРНАЯ САТИРА

Я видел в карете монаха,
Сверкнула на рясе звезда...
Но что я при этом подумал —
Я вам не скажу никогда!

Иду и — наткнулся на Шварца
И в страхе пустился бежать...
Ах, что я шептал по дороге —
Я вам не решаюсь сказать!

Поднялся к знакомой курсистке.
Усталый от всех этих дел,
Я пил кипяченую воду,
Бранился и быстро хмелел.

Маруся! Дай правую ручку...
Жизнь — радость, страданье — ничто!
И молча я к ней наклонился...
Зачем? Не скажу ни за что!

〈1908〉

ЭКСПРОМТ

И мы когда-то, как Тиль-Тиль,
Неслись за Синей Птицей!
Когда нам вставили фитиль —
Мы увлеклись синицей.

Мы шли за нею много миль —
Вернулись с Черной Птицей!
Синицу нашу ты, Тиль-Тиль,
Не встретил за границей?

〈1909〉

ГАРМОНИЯ

(Подражание древним)

Роза прекрасна по форме и запах имеет приятный,
Болиголов некрасив и при этом ужасно воняет.
Байрон, и Шиллер, и Скотт совершенны и духом и телом,
Но безобразен Буренин, и дух от него нехороший.

Тихо приветствую мудрость любезной природы.
Ловкой рукою она ярлыки налепляет:
Даже слепой различит, что серна, свинья и гиена
Так и должны были быть — серной, свиньей и гиеной.

Видели, дети мои, приложения к русским газетам?
Видели избранных, лучших, достойных и правых из правых?
В лица их молча взгляните, бумагу в руках разминая,
Тихо приветствуя мудрость любезной природы.

〈1908〉

ТАМ ВНУТРИ

У меня серьезный папа —
Толстый, важный и седой;
У него с кокардой шляпа,
А в сенях городской.

Целый день он пишет, пишет —
Даже кляксы на груди,
Подойдешь, а он не слышит,
Или скажет: «Уходи».

Ухожу... У папы дело,
Как у всех других мужчин.
Только как мне надоело:
Все один, да все один!

Но сегодня утром рано
Он куда-то заспешил
И на коврик из кармана
Ключ в передней обронил.

Наконец-то... Вот так штука.
Я обрадовался страсть.
Кабинет открыл без звука
И, как мышка, в двери — шашть!

На столе четыре папки,
Все на месте. Все — точь-в-точь.
Ну-с, пороемся у папки —
Что он пишет день и ночь?

«О совместном обученье,
Как вреднейшей из затей».
«Краткий список книг для чтения
Для кухаркиных детей».

«В Думе выступить с законом:
Чтобы школ не заражать,
Запретить еврейским женам
Девяносто лет рожать».

«Об издании журнала
«Министерский детский сад».
«О любви ребенка к баллам».
«О значении наград».

«Черновик проекта школы
Государственных детей».
«Возбуждение крамолой
Малолетних на властей».

«Дух законности у немцев
В младших классах корпусов».
«Поощрение младенцев,
Доносящих на отцов».

Фу, устал. В четвертой папке
«Апология плетей».
Вот так штука... Значит, папка
Любит маленьких детей?

〈1909〉

ПОБЕДА

С тех пор, как помчалась Земля,
Бесцельно пространство сверля,—
Летает летучая мышь,
Комар и летучая рыба,
Москит, и ворона, и чиж —
Один человек, как гранитная глыба,
Последнее чадо Земли,
Дряхлел и томился в пыли.

С незапамятных времен
Человек тянулся к небу:
Кто под мирный, лирный звон
Подымался к богу Фебу,
Кто, как пламенный Икар,
Делал крылья и срывался,
И ничтожнейший комар
Над несчастным издевался.

Сам великий Леонардо
Много бился и страдал,—
Но летать... Увы, ни ярда
Леонардо не летал!

От мыса Капа
И до Тарифа — Нip! Ура!!
Снимайте шляпы!
Пришла желанная пора:
Ах, от потопа
Едва ль приятней был сюрприз —
Уже в Европе
Летают вверх... и даже вниз!
А мы из чести
Пока на месте все сидим,
Лет через двести
Мы лучше немцев полетим!

Грандиозная картина:
Вон над крышами парят
Пресыщенные кретины
Из «мышинных жеребят»,
Содержанка с фокстерьером,
Цуг жандармских офицеров,
Густопсовые шпики,
Золотые барчуки,
Бюрократы, шулера,
Биржевые маклера

И, как толстые вампиры,
Мягкотелые банкиры.

Тьма людей, задравши скулы,
Смотрят снизу, как акулы,
Дирижабли и бипланы
Им, увы, не по карману!
Сверху корки и плевки
И ликерные бутылки
Попадают им в затылки.
В довершение тоски
Те вверху закрыли солнце!
С утра до ночи
Кто будет строить дирижабли?
Не раб ли?
О, нет — рабочий.
Зачем? Чтоб есть и пить.
А сам он будет ли парить?
Едва ль. Покуда руки не ослабли,
Он будет строить дирижабли —
Когда же тут парить?

〈1909〉

ВОЛК И БАРАН

(Из Виктора Буше)

Волк как-то драл с барана шкуру.
Баран, конечно, верещал.
Озлился волк: «Что воешь сдуру,
Нахал!
Деру тебя тебе ж во благо —
Без шкуры легче — тесно в ней.
Я эту тему на бумаге
Могу развить тебе ясней».
Бедняк баран, почти покойник,
В ответ заблеял, чуть дыша:
«Прошу вас, господин разбойник!
Пусть ваша тема хороша —
Но ваша справедливость волчья
Сейчас едва ль мне по плечу...
Ой-ой! Дерите лучше молча,
Я тоже скоро замолчу».

Когда-то волки просто драли
Без объяснения причин...

Для умных женщин и мужчин
Другой не надобно морали.

〈1909〉

ОКтябристы

От старух до гимназистов —
Все ругают октябристов,
Справедливость позабыв.
Разве раньше было мало
Хитрецов с душою вялой,
Лгущих всем наперерыв,

И с наигранной осанкой,
Без смущенья пред охранкой,
С благородством на челе,
Обвинявших вслух погоду,
Не дающую народу
Жить в довольстве и тепле?

Мало ль было двоедушных,
Теплых, ласковых, послушных
С гуттаперчевой спиной,
Не отдавших в пользу ближних
Даже пары старых нижних
И сочащих сладкий гной...

Люди! будем справедливы.
Октябристы лишь правдивы
И собрали заодно —
Все, что раньше от Адама
До сегодняшнего срама
Тайно пряталось на дно.

А другое оправданье
В том, что каждое созданье:
Князь, профессор, трубочист —
В те часы, когда он гадок,
Лжив и черств и льстиво-сладок —
Безусловно октябрист!

〈1908〉

МОЛИТВА

Благодарю Тебя, Создатель,
Что я в житейской кутерьме
Не депутат и не издатель
И не сижу еще в тюрьме.

Благодарю Тебя, могучий,
Что мне не вырвали язык,
Что я, как нищий, верю в случай
И к всякой мерзости привык.

Благодарю Тебя, Единый,
Что в Третью Думу я не взят,—
От всей души, с блаженной миной,
Благодарю Тебя стократ.

Благодарю Тебя, мой Боже,
Что смертный час, гроза глупцов,
Из разлагающейся кожи
Исторгнет дух в конце концов.

И вот тогда, молю беззвучно,
Дай мне исчезнуть в черной мгле —
В раю мне будет очень скучно,
А ад я видел на земле.

<1908>

ВСЕ ТО ЖЕ

В Государ. Совете одним из первых
будет разбираться дело о том, призна-
ются ли Бестужевские курсы высшими.
Спор этот ведется уже 7 лет.

(«Речь»)

В средневековье шум и гам
Схоласты подняли в Париже:
Какого роста был Адам?
И был брюнет он или рыжий?

Где был Господь (каков Париж!)
До первых дней земли и неба?
И причащается ли мышь,
Поевшая святого хлеба?..

Возможно ль «высшими» иль нет
Признать Бестужевские курсы?
Иль, может быть, решит Совет
Назвать их корпусом иль бурсой?

Ведь курсы *высшие* — давно,
И в самом высшем смысле слова,
Ведь спорить с этим так смешно,
Как называть реку коровой.

Вставляя колеса в палки всем,
Конечно, «высшее» призванье,—
Но в данном случае совсем
Бессильно старое брюзжанье.

А, впрочем... средние века
У нас гостят, как видно, цепко,
Но ведь корова не река —
И не в названье здесь зацепка...

<1909>

ВЕСЕЛАЯ НАГЛОСТЬ

«Русский народ мало трудится».
(Марков 2-й. Съезд дворян)

Ах, сквозь призму
Кретинизма
Гениально прост вопросец:
Наш народ — не богоносец,
А лентяй
И слюняй.

В самом деле —
Еле-еле
Ковырять в земле сухой
Старомодною сохой —
Не работа,
А дремота.

У француза —
Кукуруза,
Виноград да лесопилки,
Паровые молотилки.
А у нас —
Лень да квас.

Лежебокам
За уроком —
Что бы съездить за границу —
К шведам, к немцам или в Ниццу?
Не хотят —
Пьют да спят.

Иль со скуки
Хоть науки
Изучали бы, вороны:
Философию, законы...
Не желают:
Презирают!

Ну, ленивы!
Даже «Нивы»
Не хотят читать, обломы.
С Мережковским незнакомы!!
Только б жрать,
Только б спать.

Но сквозь призму
Критицизма
Вдруг вопрос родится яркий:
Как у этаких, как Марков,
Нет хвостов
И клыков?

<1909>

К ЖЕНСКОМУ СЪЕЗДУ

(Декабрь, 1908)

Не спорьте о мужских правах,—
Все объяснимо в двух словах:
Нет прав у нас,
Как и у вас.

И если в Третьей Думе мы
Цветем, как розы средь зимы,
То благо вам,—
Что вы не там.

Вы с нами пламенно ползли —
Вы с нами нынче на мели.
И вы, и мы —
Добыча тьмы.

Но мудрых нет как нет у нас,
Во век их не было у вас,
И мы, и вы
Без головы...

Чьи сны давно уже мертвы?
Кто будет в Мекке, мы иль вы?
Ни мы, ни вы...
Ни вы, ни мы...

А в воду ужас каждый час
Толкает больше — вас иль нас?
У двух полов —
Хорош улов.

Не спорьте о мужских правах,
Все объяснимо в двух словах:
Коль пасс, так пасс,
Для нас и вас...

⟨1908⟩

ЕЩЕ ЭКСПРОМТ

У старца Шварца
Ключ от ларца,—
А в ларце просвещенье.

Но старец Шварец
Сел на ларец
Без всякого смущенья.

Сиденье Шварца
Тверже кварца.
Унылая картина.

Что ж будет с ларцем
Под старцем Шварцем?
Молчу, молчу невинно...

⟨1908⟩

К ПРИЕЗДУ ФРАНЦУЗСКИХ ГОСТЕЙ

Слава богам! Петроград посетили французские гости.
Сладкие вести теперь повезут они в вольный Париж:

Пышных, развесистых клюкв и медведей на Невском не
видно,
Но у «Медведя» зато французская кухня вполне.

Русский казенный оркестр гремел без препон Марсельезу,
В честь *двух парламентских* стран выпил французский
посол —
«Гений финансов» теперь пеплом посыплет прическу
И с благородной тоской Милюкову портфель передаст!..

Где ж интендантский грабеж, реформобоязнь и Думбадзе,
Черные сотни, застой, гучковская Дума и гнет?
О, безобразная ложь русских слепцов-эмигрантов!
Сладкую весть повезут французские гости в Париж...

1910 г., февраль

ПОТОМКИ

Наши предки лезли в клетки
И шептались там не раз:
«Туго, братцы... Видно, дети
Будут жить вольготней нас».

Дети выросли. И эти
Лезли в клетки в грозный час
И вздыхали: «Наши дети
Встретят солнце *после нас*».

Нынче, также как вовеки,
Утешение одно:
Наши дети будут в Мекке,
Если нам не суждено.

Даже сроки предсказали —
Кто лет двести, кто пятьсот,
А пока лежи в печали
И мычи, как идиот.

Разукрашенные дули,
Мир умыт, причесан, мил...
Лет чрез двести? Черта в стуле!
Разве я Мафусаил?

Я, как филин, на обломках
Переломанных богов.

В неродившихся потомках
Нет мне братьев и врагов.

Я хочу немножко света
Для себя, пока я жив,
От портного до поэта,
Всем понятен мой призыв...

А потомки... Пусть потомки,
Исполняя жребий свой
И кляня *свои* потемки,
Лупят в стену головой!

〈1908〉

ЗЛОБОДНЕВНОСТЬ

Я сегодня всю ночь просидел до утра,—
Я испортил, волнуясь, четыре пера:
Злободневность мелькала, как бешеный хвост,
Я поймал ее, плюнул и свез на погост.

Называть наглецов наглецами, увы,
Не по силам для бедной моей головы —
Наглецы не поверят, а зрячих смешно
Убеждать в том, что зрячим известно давно.

Пуришкевич... обглоданный, тухлый Гучков...
О, скорее полы натирать я готов
И с шарманкой бродить по глухим деревням,
Чем стучать погремушкой по грязным камням.

Сколько дней золотых и потерянных дней,
Возмущались мы черствостью этих камней
И сердились, как дети, что камни не хлеб,
И громили ничтожество жалких амеб?

О, ужели пять-шесть ненавистных имен
Погрузили нас в черный, безрадостный сон?
Разве солнце погасло, и дети мертвы?
Разве мы не увидим весенней травы?

Я, как страус, не раз зарывался в песок...
Но сегодня мой дух так спокойно высок...
Злободневность,— Гучкова и Гулькина дочь,
Я с улыбкой прогнал в эту ночь.

〈1908〉

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

(Берлин — выборы 1907 г.)

Это было так прекрасно —
Под Берлинским небосводом
Объяснение в нежных чувствах
Императора с народом.

Много было любопытных,
Много было просто сброда,
Что при всяком дебоширстве
Образует тьму народа...

О победе и знаменах
Император на балконе
Им прочел стихи из Клейста
В театрально-пышном тоне.

(Не цитировал лишь Канта,
Как на свадьбе дочки Крупша,—
Потому что Кант народом
Понимался очень тупо.)

Но в тираде о победе
Над врагом-социалистом
Император оказался
Выдающимся стилистом:

«Да-с, Германия умеет
Наконец верхом кататься!
Скоро будем брать барьеры —
Стоит только постараться».

Так убийственно логично
Говорил он на балконе
(Не обмолвившись ни словом
Лишь о выборном законе).

А любезная супруга
Одобрительно вздыхала
И сочувственно к народу
Носовым платком махала.

Немцы были очень рады —
Немцы дружно «Нох» * кричали,

* «Ура!» (нем.).

Ну а шутцманы, конечно,
Честь, напыжась, отдавали.

А в толпе, на всякий случай,
Юрко сыщики шатались,
Потому что... потому что —
Кое-где и улыбались...

<<1907>>
<1910>

УСПОКОЕНИЕ

(Посв. русским Бисмаркам)

Больной спокоен. Спрячьте в шкаф лекарства и посулы!
Зрочки потухли, впала грудь и заострились скулы...
Больной лоялен... На устах застыли крик и стоны,
С веселым карканьем над ним уже кружат вороны...
С врачей не спросят. А больной — проснется ли, Бог знает?
Сознаться тяжко, но боюсь, что он уже воняет.

<1910>

ПОСЛАНИЯ

Сладок свет, и приятно для глаз
видеть солнце.

(Екклесиаст. XI, 7)

ПОСЛАНИЕ ПЕРВОЕ

Семь дней валяюсь на траве
Средь бледных незабудок,
Уснули мысли в голове
И чуть ворчит желудок,

Песчаный пляж. Волна скулит,
А чайки ловят рыбу.
Вдали чиновный инвалид
Ведет супругу-глыбу.

Друзья! Прошу вас написать —
В развратном Петербурге
Такой же рай и благодать,
Как в тихом Гунгербурге?

Семь дней газет я не читал...
Скажите, дорогие,
Кто в Думе выкинул скандал,
Спасая честь России?

Народу школа не дана ль
За этот срок недельный?
Не получил ли пост Лидваль,
И как вопрос земельный?

Ах да — не вышли ль, наконец,
Все левые из Думы?
Не утомился ль Шварц-делец?
А турки?.. Не в Батуме?

Лежу, как лошадь на траве,—
Забыл о мире бренном,
Но кто-то поет в голове:
Будь злым и современным...

Пишите ж, милые, скорей!
Условия суровы:
Ведь правый думский брадобрей
Скандал устроит новый.

Тогда, увы, и я, и вы
Не будем современны.
Ах, горько мне вставать с травы
Для злобы дня презренной!

1908
Гунгербург

ПОСЛАНИЕ ВТОРОЕ

Хорошо сидеть под черной смородиной,
Дышать, как буйвол, полными легкими,
Наслаждаться старой, истрепанной «Родиной»
И следить за тучками легкомысленно-легкими.

Хорошо, обедаясь ледяной простоквашею,
Смотреть с веранды глазами порочными,
Как дворник Пэтер с кухаркой Агашею
Угощают друг друга поцелуями сочными.

Хорошо быть Агашей и дворником Пэтером,
Без драм, без принципов, без точек зрения,
Начав с конца роман перед вечером,
Окончить утром — дуэтом храпения.

Бросаю тарелку, томлюсь и завидую,
Одеваю шляпу и галстук сиреневый
И иду в курзал на свидание с Лидою,
Худосочной курсисткой с кожей шагреновой.

Навстречу старухи мордатые, злобные,
Волочат в песке одеянья суконные,
Отвратительно-старые и отвисло-утробные,
Ползут и ползут, слово оводы сонные.

Где благородство и мудрость их старости?
Отжившее мясо в богатой материи
Заводит сатиру в ущелие ярости
И ведъм вызывает из тьмы суеверия...

А рядом юные, в прическах на валиках,
В поддельных локонах, с собачьими лицами,
Невинно шепчутся о местных скандаликах
И друг на друга косятся тигрицами.

Курзальные барышни, и жены, и матери!
Как вас не трудно смешать с проститутками,
Так мелко и тинисто в вашем фарватере,
Набитом глупостью и предрассудками...

Фальшивит музыка. С кровавой обидою
Катится солнце за море вечернее.
Встречаюсь сумрачно с курсисткой Лидою —
И власть уныния больней и безмернее...

Опять о Думе, о жизни и родине,
Опять о принципах и точках зрения...
А я вздыхаю по черной смородине
И полон желчи, и полон презрения...

⟨1908⟩
Гунгербург

ПОСЛАНИЕ ТРЕТЬЕ

Ветерок набегающий
Шаловлив, как влюбленный прелат.
Адмирал отдыхающий
Поливает из лейки салат.

За зеленой оградою,
Растянувшись на пляже, как краб,
Полицмейстер с отрадою
Из песку лепит формочкой баб.

Средь столбов с перекладиной —
Педагог на скрипучей доске
Кормит мопса говядиной,
С назиданьем при каждом куске.

Бюрократ в отдалении
Красит масляной краской балкон.
Я смотрю в удивлении
И не знаю: где правда, где сон?

Либеральную бороду
В глубочайшем раздумье щиплю...
Кто, приученный к городу,
В этот миг не сказал бы: «я сплю»?

Жгут сомненья унылые,
Не дают развернуться мечте —
Эти дачники милые
В городах совершенно не те!

⟨1908⟩
Гунгербург

ПОСЛАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Подводя итоги летом
Грустным промахам зимы,
Часто тешимся обетом,
Что *другими* будем мы.
Дух изношен, тело тоже,
В паутине меч и щит,
И в душе сильнее и строже
Голос совести рычит.

Сколько дней ушло впустую...
В сердце лезли скорбь и злость,
Как в открытую пивную,
Где любой прохожий гость.
В результате: жизнь ублюдка,
Одиноких мыслей яд,
Несварение желудка
И потухший, темный взгляд.

Баста! Лето... В семь встаю я,
В десять вечера ложусь,
С ленью бешено воюя,
Целый день, как вол, тружусь.
Чищу сад, копаю грядки,
Глажу старого кота
(А вчера играл в лошадки
И убил в лесу крота).

Водку пью перед едою
(Иногда по вечерам)
И холодной водою
Обтираюсь по утрам,
Храбро зимние сомненья
Неврастенъей назвал вдруг,
А фундамент обновленья
Все не начат... Недосуг...

Планы множатся, как блохи
(Май, июнь уже прошли),
Соберу ль от них хоть крохи?
Совесь, совесь, не скули!
Вам знакома повесть эта?
После тусклых дней зимы
Люди верят в силу лета
Лишь до новой зимней тьмы...

Кто желает объясненья
Этой странности земной,—
Пусть приедет в воскресенье
Побеседовать со мной.

<1908>
Гунгербург

ПОСЛАНИЕ ПЯТОЕ

Вчера играло солнце,
И море голубело,—
И дух тянулся к солнцу,
И радовалось тело.

И люди были лучше,
И мысли были сладки —
Вчера шальное солнце
Пекло во все лопатки.

Сегодня дождь и сырость...
Дрожат кусты от ветра,
И дух мой вниз катится
Быстрее барометра.

Из веры, книг и жизни,
Из мрака и сомненья
Мы строим год за годом
Свое мировоззренье...

Зачем вчера на солнце
Я выгнал вон усталость,
Заигрывал с надеждой
И верил в небывалость?

Горит закат сквозь тучи
Чахоточным румянцем.
Стою у злого моря
Циничным оборванцем.

Все тучи, тучи, тучи...
Ругаться или плакать?
О, если б чаще солнце!
О, если б реже слякоть!

⟨1908⟩

ПОСЛАНИЕ ШЕСТОЕ

В жаркий полдень влез, как белка,
На смолистую сосну.
Небо — синяя тарелка,—
Клонит медленно ко сну.
Впереди стальное море и далекий горизонт.
На песчаном пляже дама распустила красный зонт.

Пляска шелковых оборок,
Шляпа-дом, корсет, боа...
А... Купчиха! Глаз мой зорок —
Здравствуй, матушка-Москва!
Тридцать градусов на солнце — даже мухи спят в тени,
Распусти корсет и юбки и под деревом усни...

И, обласкан теплым светом,
В полудреме говорю:
Хорошо б кольцо с браслетом
Ей просунуть сквозь ноздрю...
Свищут птицы, шепчут сосны, замер парус вдалеке.
Засыпаю... до свиданья, засыпаю... на суке...

«Эй, мужчина!» — дачный сторож
Грубо сон мой вдруг прервал:
«Слезьте с дерева, да скоро ж!
Дамский час давно настал».
На столбе направо никнет в самом деле красный флаг.
Злобно с дерева слезаю и ворчу — за шагом шаг.

Вон желтеет сквозь осины
Груда дряблых женских тел —
Я б смотреть на эти спины
И за деньги не хотел...
В лес пойду за земляничкой... Там ведь дамских нет часов,
Там никто меня мужчиной не облает из кустов.

⟨1908⟩
Гунгербург

КУМЫСНЫЕ ВИРШИ

I

Благословен степной ковыль,
Сосцы кобыл и воздух пряный.
Обняв кумысную бутылъ,
По целым дням сижу, как пьяный.

Над речкой свищут соловьи,
И брекекекествуют лягушки.
В честь их восторженной любви
Тяну кумыс из липкой кружки.

Ленясь, смотрю на берега...
Душа вполне во власти тела —
В неделю правая нога
На девять фунтов пополнела.

Видали ль вы, как степь цветет?
Я не видал, скажу по чести;
Должно быть, милый божий скот
Поел цветы с травой вместе.

Здесь скот весь день среди степей
Навозит, жрет и дрыхнет праздно.
(Такую жизнь у нас, людей,
Мы называем буржуазной.)

Благословен степной ковыль!
Я тоже сплю и обжираюсь,
И на скептический костыль
Лишь по привычке опираюсь.

Бессильно голову склоня,
Качаюсь медленно на стуле
И пью. Наверно, у меня
Хвост конский вырастет в июле.

Какой простор! Вон пара коз
Дерется с пылкостью Аяксов.
В окно влетающий навоз
Милей струи опопонакса.

А там, в углу, перед крыльцом
Сосет рябой котенок суку.
Сей факт с сияющим лицом
Вношу как ценный вклад в науку.

Звенит в ушах, в глазах, в ногах,
С трудом дописываю строчку,
А муха на моих стихах
Пусть за меня поставит точку.

⟨1909⟩
Дер. Чебени

II

Степное башкирское солнце
Раскрыло пылающий зев.
Завесив рубахой оконце,
Лежу, как растерзанный лев.
И, с мокрым платком на затылке,
Глушу за бутылкой бутылку.

Войдите в мое положение:
Я в городе солнца алкал!
Дождлся — и вот без движенья,
Разинувши мертвый оскал,
Дымящийся, мокрый и жалкий
Смотрю в потолочные балки.

Но солнце, по счастью, залазит
Под вечер в какой-то овраг
И кровью исходит в экстазе,
Как смерти сдающийся враг.
Вздохмаченный, дикий и сонный
К воротам иду монотонно.

В деревне мертво и безлюдно.
Башкиры в кочевья ушли,
Лишь старые идолы нудно
Сидят под плетнями в пыли,
Икают кумысной отрыжкой
И чешут лениво подмышки.

В трехцветно окрашенном кэбе
Помещик катит на обед.
Мечеть выделяется в небе.
Коза забралась в минарет,
А голуби сели на крышу —
От сих впечатлений завишу.

Завишу душою и телом —
Ни книг, ни газет, ни людей!
Одним лишь терпеньем и делом

Спасаясь от мрачных идей:
У мух обрываю головки
И клецки варю на спиртовке.

⟨1909⟩
Чебени

III

Бронхитный исправник,
Серьезный, как классный наставник,
С покорной тоской на лице,
Дороден, задумчив и лыс,
Сидит на крыльце
И дует кумыс.

Плевритный священник
Взопрел, как березовый веник,
Отринул на рясе крючки,
И — тощ, близорук, белобрыс,
Уставил в газету очки
И дует кумыс.

Катарный сатирик,
Истомный и хлипкий, как лирик,
С бессмысленным, пробковым взглядом
Сижу без движения рядом.
Сомлел, распустился, раскис
И дую кумыс.

«В Полтаве попался мошенник»,—
Читает со вкусом священник.
«Должно быть, из левых»,—
Исправник басит полусонно.
А я прошептал убежденно:
«Из правых».

Подходит мулла в полосатом,
Пропахшем муллою халате.
Хихикает... Сам-то хорош! —
— Не ты ли, и льстивый и робкий,
В бутылках кумысных даешь
Негодные пробки?

Его пятилетняя дочка
Сидит, распевая у бочки,
В весьма невоспитанной позе.
Краснею, как скромный поэт,

А дева, копясь в навозе,
Смеется: «Бояр! Дай конфет!»

«И в Риге попался мошенник!» —
Смакует плевритный священник.
«Повесить бы подлого Витте...» —
Бормочет исправник сквозь сон.
— За что же?! И голос сердитый
Мне буркнул: «*все он*»...

Пусть вешает. Должен цинично
Признаться, что мне безразлично.
Исправник глядит на муллу
И тянет ноздрями: «Вонища!»
Священник взывает: «Жарища!»
А я изрекаю хулу:
— Тощища!!

⟨1909⟩
Чебени

IV

Поутру пошляк чиновник
Прибежал ко мне в экстазе:
— Дорогой мой, на семь фунтов
Пополнил я с воскресенья...

Я поник главою скорбно
И подумал: если дальше
Будет так же продолжаться,
Он поправится, пожалуй.

У реки под тенью ивы
Я над этим долго думал...
Для чего лечить безмозглых,
Пошлых, подлых и ненужных?

Но избитым возраженьем
Сам себя опровергаю:
Кто отлѣчит в наше время
Тех, кто нужен, от ненужных?

В самых редких положеньях
Это можно знать наверно:
Если Марков захворает,
То его лечить не стоит.

Только Марковы, к несчастью,
Все здоровы, как барбосы,—
Нервов нет, мозгов два лота
И в желудках много пищи...

У реки под тенью ивы
Я рассматривал природу —
Видел заросли крапивы
И вульгарнейшей полыни.

Но меж ними ни единой
Благородной, пышной розы...
Отчего так редки розы?
Отчего так много дряни?!

По степям бродил в печали:
Все коровник да репейник,
Лебеда, полынь, поганки
И глупейшая ромашка.

Вместо них зачем свободно
Не растут иные злаки —
Рожь, пшеница и картошка,
Помидоры и капуста?

Ах, тогда б для всех на свете
Социальная проблема
Разрешилась моментально...
О дурацкая природа!

Эта мысль меня так мучит,
Эта мысль меня так давит,
Что в волнении глубоко
Не могу писать я больше...

⟨1909⟩
Чибени

ПРОВИНЦИЯ

БУЛЬВАРЫ

Праздник. Франты гимназисты
Занимают все скамейки.
Снова тополи душисты,
Снова влюбчивы еврейки.

Пусть экзамены вернулись...
На тенистые бульвары,
Как и прежде, потянулись
Пары, пары, пары, пары...

Господа семинаристы
Голосисты и смешливы,
Но бонтонны гимназисты
И вдвойне красноречивы.

Назначают час свиданья.
Просят «веточку сирени»,
Давят руки на прощанье
И вздыхают, как тюлени.

Адъютантик благовонный
Увлечен усатой дамой.
Слышен голос заглушенный:
«Ах, не будьте столь упрямой!»

Обещает. О, конечно,
Даже кошки и собачки
Кое в чем не безупречны
После долгой зимней спячки...

Три акцизника портнихе
Отпускают комплименты,
Та бежит и шепчет тихо:
«А еще интеллигенты!»

Губернатор едет к тете.
Нежны кремовые брюки.
Присяжная на отлете
Вытанцовывает штуки.

А в соседнем переулке
Тишина, и лень, и дрема.
Все живое на прогулке,
И одни старушки дома.

Садик. Домик чуть заметен.
На скамье у старой елки
В упоенье новых сплетен
Две седые балаболки.

«Шмит к Серовой влез в окошко...
А еще интеллигенты!
Ночью к девушке, как кошка...
Современные... Студенты!»

〈1908〉

НА РЕКЕ

Господа волонтеры
Катаются в лодке
И горланят над сонной водою.
На скамье помидоры,
Посудина с водкой,
Пиво, сыр и бумажка с халвою.

Прямо к старой купальне
На дамские ноги
Правят нос, закрывая погоны.
Но передний печально
Вдруг свистнул: «О Боги!
Это ноги полковничьей бонны».

И уходит бросками
Скрипящая лодка.
Задыхаясь, рвут весла и гонят.
Упираясь носками,
Хохочут: «Лебедка!
Волонтер тебя пальцем не тронет!»

На челне два еврея
Поют себе хором:
«Закувала та сыза зозу-ля...»
Рулевой, свирепея,
Грозит помидором,
А сосед показал им две дули.

«Караул! Что такое?!»
Галдеж перебранки,
Челн во все удирает лопатки.
Тишина над рекою...
На грузной лоханке
Показался мороженщик с кадкой.

Навертел крокодилам
Три полные чашки.
Лодка пляшет и трется о лодку.
В синьке неба — белила.
Вспотели рубашки.
Хороша ли с мороженым водка?

⟨1910⟩

СВЯЩЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Беседка теснее скворешни.
Темны запыленные листья.
Блестят наливные черешни...
Приходит дородная Христя,
Приносит бутылку наливки,
Грибы, и малину, и сливки.

В поднос упираются дерзко
Преступно-прекрасные формы.
Смущенно, и робко, и мерзко
Уперлись глазами в забор мы...
Забыли грибы и бутылку,
И кровь приливает к затылку.

— Садитесь, Христина Петровна! —
Потупясь, мы к ней обратились
(Все трое в нее поголовно
Давно уже насмерть влюбились),
Но молча косится четвертый:
Причины особого сорта...

Хозяин беседки и Христи,
Наливки, и сливок, и сада
Сжимает задумчиво кисти,
А в сердце вползает досада:
— Ах, ешьте грибы и малину
И только оставьте Христину!

⟨1908⟩

НА СЛАВНОМ ПОСТУ

Фельетонист взъерошенный
Засунул в рот перо.
На нем халат изношенный
И шляпа болеро...

Чем в следующем номере
Заполнить сотню строк?
Зимую жизнь в Житомире
Сонлива, как сурок.

Живет перепечатками
Газета-инвалид
И только опечатками
Порой развеселит.

Не трогай полицмейстера,
Духовных и крестьян,
Чиновников, брандмейстера,
Торговцев и дворян,

Султана, предводителя,
Толстого и Руссо,
Адама-прародителя
И даже Клемансо...

Ах, жизнь полна суровости,
Заплачешь над судьбой:
Единственные новости —
Парад и мордобой!

Фельетонист взъерошенный
Терзает болеро:
Парад — сюжет изношенный,
А мордобой — старо!

〈1908〉

ПРИ ЛАМПЕ

Три экстерна болтают руками,
А студент-оппонент
На диван завалился с ногами
И, сверкая цветными носками,
Говорит, говорит, говорит...

Первый видит спасенье в природе,
Но второй, потрясая икрой,
Уверяет, что только в народе.
Третий — в книгах и в личной свободе,
А студент возражает всем трем.

Лазарь Рóзенберг, рыжий и гибкий,
В стороне на окне
К Дине Блюм наклонился с улыбкой.
В их сердцах ангел страсти на скрипке
В первый раз вдохновенно играл.

В окна первые звезды мигали,
Лез жасмин из куртин.
Дина нежилась в маминой шали,
А у Лазаря зубы стучали
От любви, от великой любви!..

Звонко пробило четверть второго —
И студент-оппонент
Приступил, горячась до смешного,
К разделению шара земного.
Остальные устало молчали.

Дым табачный и свежесть ночная...
В стороне, на окне,
Разметалась забытая шаль, как больная,
И служанка внесла, на ходу засыпая,
Шестой самовар...

<1908>

ПРАЗДНИК

Генерал от водки,
Управитель акцизами
С бакенбардами сизыми,
На новой пролетке,
Прямой, как верста,—
Спешит губернатора сухо поздравить
С Воскресеньем Христа.

То-то будет выпито.

Полицмейстер напыженный,
В регалиях с бантами,

Ругает коней арестантами,
А кучер пристыженный
Лупцует пристяжку с хвоста.
Вперед — на кляче подстриженной
Помчался стражник с поста...
Спешат губернатора лихо поздравить
С Воскресеньем Христа.

То-то будет выпито.

Директор гимназии,
Ради парадной okazji
На коленях держа треуголку
И фуражкой лысину скрыв,
На кривой одноколке,
Чуть жив,
Спускается в страхе с моста.
Спешит губернатора скромно поздравить
С Воскресеньем Христа.

То-то будет выпито.

Разгар кутерьмы!
В наемной лоханке
Промчался начальник тюрьмы.
Следом — директор казенного банка,
За ним предводитель дворянства
В роскошном убранстве
С ключами ниже спины.
Белеют штаны.
Сомкнуты гордо уста.
Спешат губернатора дружно поздравить
С Воскресеньем Христа.

То-то будет выпито!

⟨1910⟩

ШКАТУЛКА ПРОВИНЦИАЛЬНОГО КАВАЛЕРИСТА

(Опись)

Шпоры, пачка зубочисток,
Сорок писем от модисток,
Шитых шелком две закладки,

Три несвежие перчатки,
Бинт и средство для усов,
Пара сломанных часов,
Штрипки, старая кокарда.
Семь квитанций из ломбарда,
Пистолет, «salol» в облатках,
Анекдоты в трех тетрадках,
«Эсс-буке» и «Гонгруаз»,
Два листка кадрильных фраз,
Пять предметов из резинки,
Фотография от Зинки,
Шесть «варшавских» cartes postales *,
Хлястик, карты и вуаль,
Красной ленточки клочок
И потертый темлячок.

<1908>

НА ГАЛЕРКЕ

(В опере)

Предо мною чьи-то локти,
Ароматный воздух густ,
В бок вцепились чьи-то ногти,
Сзади шепот чьих-то уст:
«В этом месте бас сфальшивил!»
«Тише... Bravo! Ш-а! Еще!!»
Кто-то справа осчастливил —
Робко сел мне на плечо.
На лице моем несчастном
Бьется чей-то жирный бюст,
Сквозь него, на сцене, ясно
Вижу будочку и куст.
Кто-то дышит прямо в ухо.
Бас ревет: «О па-че-му?!»
Я прислушиваюсь сухо
И не верю ничему.

<1908>

РАННИМ УТРОМ

Утро. В парке — песнь кукушкина.
Заперт сельтерский киоск.

* Почтовые открытки (фр.).

Рядом — памятник Пушкина,
У подножья — пьяный в лоск;

Пондобнее притулится,
Посидит и упадет...
За оградой вьется улица,
А на улице народ:

Две дворянки, мама с дочкою,
Ковыляют на базар;
Водовоз, привстав над бочкою,
Мчится словно на пожар,

Простав с шашкою под мышкою,
Две свиньи, ветеринар.
Через час — «приготовишкою»
Оживляется бульвар.

Сколько их, смешных и маленьких,
И какой сановный вид! —
Вон толстяк в галошах-валенках
Ест свой завтрак и сопит.

Два — друг дружку лупят ранцами.
Третий книжки растерял,
И за это «оборванцами»
Встречный поп их обругал.

Солнце рдеет над березами.
Воздух чист, как серебро.
Тарахтит за водовозами
Беспокойное ведро.

На кентаврах раскоряченных
Прокатил архиерей,
По ошибке, страхом схваченный,
Низко шапку снял еврей.

С визгом пес промчался мнительный —
«Гицель» выехал на лов.
Бочки. Запах подозрительный
Объясняет все без слов.

Жизнь все ярче разгорается:
Двух старушек в часть ведут,
В парке кто-то надрывается —
Вероятно, морду бьют.

Тьма, как будто в Полинезии...
И отлично! Боже мой,
Разве мало здесь поэзии,
Самобытной и родной?!

〈1909〉

ЖИЗНЬ

У двух проституток сидят гимназисты:
Дудиленко, Барсов и Блок.
На Маше — персидская шаль и монисто,
На Даше — боа и платок.

Оплыли железнодорожные свечи.
Увлечшись азартным банчком,
Склоненные головы, шеи и плечи
Следят за чужим пяточком.

Играют без шулерства. Хочется люто
Порой игроку сплутовать.
Да жутко! Вмиг с хохотом бедного плута
Засунут силком под кровать.

Лежи, как в берлоге, и с завистью острой
Следи за игрой и вздыхай,—
А там на заманчивой скатерти пестрой
Баранки, и карты, и чай...

Темнеют уютными складками платья.
Две девичьих русых косы.
Как будто без взрослых здесь сестры и братья
В тиши коротают часы.

Да только по стенкам висят офицеры...
Не много ли их для сестер?
На смятой подушке бутылка мадеры,
И страшно затоптан ковер.

Стук в двери. «Ну, други, простите, к нам гости!»
Дудиленко, Барсов и Блок
Встают, торопясь, и без желчи и злости
Уходят готовить урок.

〈1910〉

ЛОШАДИ

Четыре кавалера
Дежурят возле сквера,
Но Вера не идет.

Друзья от скуки судят
Бока ее и груди,
Ресницы и живот.

«Невредная блондинка!»
«Н-дас, девочка с начинкой...»
«Жаль только не того-с!»

«Шалишь, а та интрижка
С двоюродным братишкой?»
«Ну это, брат, вопрос».

Вдали мелькнула Вера.
Четыре кавалера
С изяществом стрекоз

Галантно подлетели
И сразу прямо к цели:
«Как спали, хорошо-с?»

«А к вам, ха-ха, в окошко
Стучалась ночью кошка...»
«С усами... ха-ха-ха!»

Краснеет Вера густо
И шепчет: «Будь вам пусто!
Какая чепуха...»

Подходит пятый лихо
И спрашивает тихо:
«Ну, как дела, друзья?»

Смеясь шепнул четвертый:
«Морочит хуже черта —
Пока еще нельзя».

«Смотри... Скрывать негоже!
Я в очереди тоже...»
«Само собой, мой друг».

Пять форменных фуражек
И десять глупых ляжек
Замкнули Веру в круг.

<1910>

ИЗ ГИМНАЗИЧЕСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Пансионеры дремлют у стены
(Их место — только злость и зависть прочим).
Стена — спасенье гимназической спины —
Приткнулся, и часы уже короче.

Но остальным, увы, как тяжело:
Переминаются, вздыхают, как тюлени,
И, чтоб немножко тело отошло,
Становятся громоздко на колени.

Инспектор в центре. Левый глаз устал —
Косится правым. Некогда молиться!
Заметить надо тех, кто слишком вял,
И тех, кто не успел еще явиться.

На цыпочках к нему спешит с мольбой
Взволнованный малыш-приготовишка.
(Ужели Смайлъс не властен над тобой?!)
«Позвольте выйти!» Бедная маргышка...

Лишь за порог — все громче и скорей
По коридору побежал вприпрыжку.
И злится надзиратель у дверей,
Его фамилию записывая в книжку.

На правом клиросе серебряный тенор
Солирует, как звонкий вешний ветер.
Альты за нотами, чтоб не увидел хор,
Поспешно пожирают «Gala Peter».

Но гимназистки молятся до слез
Под желчным оком красной классной дамы,
Изящные, как купы белых роз,
Несложные и нежные, как гаммы.

Порой лишь быстрый и лукавый глаз
Перемигнется с миловидным басом:
И рявкнет яростней воспламененный бас,
Условленным томим до боли часом.

Директор — бритый дряхленький Кащей,
На левом клиросе увлекся разговором.
В косые нити солнечных лучей
Вплыл сизый дым и плавится над хором.

Усталость дует ласково в глаза.
Хор все торопится — скорей, скорей, скорее...
Кружатся стены, пол и образа,
И грузные слоны сидят на шее.

〈1910〉

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

А. И. Куприну

Из-за забора вылезла луна
И нагло села на крутую крышу.
С надеждой, верой и любовью слышу,
Как запирают ставни у окна.
Луна!

О томный шорох темных тополей,
И спелых груш наивно-детский запах!
Любовь сжимает сердце в цепких лапах,
И яблони смеются вдоль аллей.
Смелей!

Ты там, как мышь, притихла в тишине?
Но взвизгнет дверь пустынного балкона,
Белея и шумя волнами балахона,
Ты проскользнешь, как бабочка, ко мне.
В огне...

Да — дверь поет. Дождался наконец.
А, впрочем, хрип, и кашель, и сморканье,
И толстых ног чужие очертанья,
Все говорит, что это твой отец.
Конец.

О носорог! Он смотрит на луну,
Скребет бока, живот и поясницу,
И, придавив до плача половицу,
Икотой нарушает тишину.
Ну-ну...

Потом в туфлях спустился в сонный сад,
В аллее яблоки опавшие собирает,
Их с чавканьем и хрустом пожирает
И в тьму вперяет близорукий взгляд.
Назад!

К стволу с отчаяньем и гневом я приник.
Застыл. Молчу. А в сердце кастаньеты...
Ты спишь, любимая? Конечно, нет ответа,
И не уходит медленный старик —
Привык!

Мечтает... Гад! Садится на скамью...
Вокруг забор, а на заборе пики.
Ужель застряну и в бессильном крике
Свою любовь и злобу изолью?!
Плюю...

Луна струит серебряную пыль.
Светло. Прости!.. В тоске пе-ре-ле-за-ю,
Твои глаза заочно ло-бы-за-ю
И... с трреском рву штанину о костыль.
Рахиль!

Как мамонт бешеный, влачился я, хромой,
На улицах луна и кружево каштанов...
Будь проклята любовь вблизи отцов тиранов!
Кто утолит сегодня голод мой?
Домой!

<1910>

* * *

Трава на мостовой,
И на заборе кошка.
Зевая, постовой
Свернул «собачью ножку».

Натер босой старик
Забор крахмальной жижей
И лепит: Сестры Шик —
Сопрана из Парижа.

Окно в глухой стене:
Открытки, клей, Мадонна,
«Мозг и душа», «На дне»,
«Гаданье Соломона».

Трава на мостовой.
Ушла с забора кошка...
Семейство мух гурьбой
Усеяло окошко.

<1910>

ВИЛЕНСКИЙ РЕБУС

О Рахиль,— твоя походка
Отдается в сердце четко...
Голос твой, как голубь кроткий,
Стан твой — тополь на горе,
И глаза твои — маслины,
Так глубоки, так невинны,
Как... (нажал на все пружины —
Нет сравнений в словаре!).

Но жених твой... Гром и пушка!
Ты и он,— подумай, душка:
Одуванчик и лягушка,
Мотылек и вурдалак.
Эти жесты и улыбки,
Эти брючки, эти штрипки...
Весь до дна, как клейстер липкий,—
Мелкий маклер и пошляк.

Но, дитя, всего смешнее,
Что в придачу к Гименею
Ты такому дуралею
Триста тысяч хочешь дать...
О Рахиль, царица Вильны!
Мысль и логика бессильны,—
Этот дикий ребус стильный
И Спинозе не понять.

〈〈1919—1920?〉〉
〈1922〉

НА МУЗЫКАЛЬНОЙ РЕПЕТИЦИИ

Склонив хребет, галантный дирижер
Талантливо гребет обеими руками.
То сдержит оком бешеный напор,
То вдруг в падучей изойдет толчками...

Кургузый добросовестный флейтист,
Скосив глаза, поплеывает в дудку,
Впиваясь в скрипку, тоненький, как глист,
Визжит скрипач, прижав пюпитр к желудку.

Девушка-страус, сжав виолончель,
Ключицами прилипла страстно к грифу,
И, бесконечную наяривая трель,
Все локтем ерзает по кремовому лифу.

За фисгармонией унылый господин
Рычит, гудит и испускает вздохи,
А пианистка вдруг, без видимых причин,
Куда-то вверх полезла в суматохе.

Перед трюмо расселся местный лев,
Сияя парфюмерною улыбкой,—
Вокруг колье из драгоценных дев,
Шуршит волной томительной и гибкой...

А рядом чья-то mère *, в избытке чувств
Вздыхая, пудрит нос, горящий цветом мака:
«Ах музыка, искусство из искусств,
Безумно помогает в смысле брака!..»

<<1919—1920>>

<1922>

Вильно

ПСКОВСКАЯ КОЛОТОВКА

Завернувши рыбы кости
В нежно-розовую ткань,
Приплелась на елку в гости,
Улыбаясь, как тарань.

Изогнула зад корытом
К стрелке белого чулка
И кокетливо копытом
Подпустила всем жука.

И мгновенно так запахло
Шипром, псом et cetera **,
Что на стенке вдруг зачухло
Электрическое бра...

* Мать (*фр.*).

** И так далее (*лат.*).

Как колтун, торчали кудри,
Шейка гнулась, как змея,—
И паркет был бел от пудры
На аршин вокруг нея!

Вмиг с апломбом плоской утки
Нагло всем закрыла рты:
Сплетни, вздор, тупые шутки,
Водопады клеветы...

Предрассудок... Воспитанье...
Почему никто не мог
Это чучело баранье
Взять за хвост и об порог?!

Грубость? Дерзость? Оскорбленье?
Но ведь этот женский гнус
Оскорбил и мозг, и зренье,
Обонянье, слух и вкус...

Ржавый стих мой злее шила
И исполнен озорства:
Ведь она мне отравила
Милый вечер Рождества!

Ведь Господь, хотя бы в праздник,
Мог столкнуть меня с другой...
Эх ты, жизнь, скупой лабазник,
Хам угрюмый и нагой!

<<1916—1918?>>
<1922>

ЛИРИЧЕСКИЕ САТИРЫ

ПОД СУРДИНКУ

Хочу отдохнуть от сатиры...
У лиры моей
Есть тихо-дрожащие, легкие звуки.
Усталые руки
На умные струны кладу,
Пою и в такт головою киваю...

Хочу быть незлобным ягненком,
Ребенком,
Которого взрослые люди дразнили и злили,—
А жизнь за чьи-то чужие грехи
Лишила третьего блюда.

Васильевский остров прекрасен,
Как жаба в манжетах.
Отсюда, с балконца,
Омытый потоками солнца,
Он весел, и грязен, и ясен,
Как старый маркер.

Над ним углубленная просинь
Зовет, и поет, и дрожит...
Задумчиво осень,
Последние листья желтит.
Срывает.
Бросает под ноги людей на панель —
А в сердце не молкнет свирель:
Весна опять возвратится!

О зимняя спячка медведя,
Сосущего пальчики лап!
Твой девственный храп
Желанней лобзаний прекраснейшей леди.
Как молью, изъеден я сплином...
Посыпьте меня нафталином.
Сложите в сундук и поставьте меня на чердак,
Пока не наступит весна.

<1909>

У МОРЯ

Облаков жемчужный поясок
Полукругом вьется над заливом.
На горячий палевый песок
Мы легли в томлении ленивом.

Голый доктор, толстый и большой,
Подставляет солнцу бок и спину.
Принимаю вспыхнувшей душой
Даже эту дикую картину.

Мы наги, как дети-дикари,
Дикари, но в самом лучшем смысле.
Подымайся, солнце, и гори,
Растопляй кочующие мысли!

По морскому хрену, возле глаз,
Лезет желтенькая божия коровка.
Наблюдаю трудный перелаз
И невольно восхищаюсь: ловко!

В небе тают белые клочки.
Покраснела грудь от ласки солнца.
Голый доктор смотрит сквозь очки.
И в очках смеются два червонца.

— Доктор, друг! А не забросить нам
И белье, и платье в сине море?
Будем спины подставлять лучам
И дремать, как галки на заборе...

Доктор, друг... мне кажется, что я
Никогда не нашивал одежды!
Но коварный доктор — о змея —
Разбивает все мои надежды:

— Фантазер! Уже в закатный час
Будет холодно, и ветрено, и сыро.
И при том фигуришки у нас:
Вы — комар, а я — бочонок жира.

Но всего важнее, мой поэт,
Что меня и вас посадят в каталажку.
Я кивнул задумчиво в ответ
И пошел напяливать рубашку.

<1909>

Из всех билетов вызубрив четыре,
 Со скомканной программой в руке,
 Неся в душе раскаяния гири,
 Я мрачно шел с учебником к реке.

Там у реки блондинка гимназистка
 Мои билеты выслушать должна.
 Ах, провалюсь! Ах, будет злая чистка!
 Но ведь отчасти и ее вина...

Зачем о ней я должен думать вечно?
 Зачем она близка мне каждый миг?
 Ведь это, наконец, бесчеловечно!
 Конечно, мне не до проклятых книг.

Ей хорошо: по всем — двенадцать баллов,
 А у меня лишь по закону пять.
 Ах, только гимназистки без скандалов
 Любовь с наукой могут совмещать!

Пришел. Навстречу грозный голос Любы:
 «Когда Лойола орден основал?»
 А я в ответ ее жестоко в губы,
 Жестоко в губы вдруг поцеловал.

«Не смей! Нахал! Что сделал для науки
 Декарт, Бэкон, Паскаль и Галилей?»
 А я в ответ ее смешные руки
 Расцеловал от пальцев до локтей.

«Кого освободил Пипин Короткий?
 Ну, что ж? Молчишь! Не знаешь ни аза?»
 А я в ответ почтительно и кротко
 Поцеловал лучистые глаза.

Так два часа экзамен продолжался.
 Я получил ужаснейший разнос!
 Но, расставаясь с ней, не удержался
 И вновь поцеловал ее взасос.

.....
 Я на экзамене дрожал, как в лихорадке,
 И вытащил... второй билет! Спасен!
 Как я рубил! Спокойно, четко, гладко...
 Иван Кузьмич был страшно поражен.

Бегом с истории, ликующий и чванный,
Летел мою любовь благодарить...
В душе горел восторг благоуханный.
Могу ли я экзамены хулить?

⟨1910⟩

ИЗ ФИНЛЯНДИИ

Я удрал из столицы на несколько дней
В царство сосен, озер и камней.

На площадке вагона два раза видал,
Как студент свою даму лобзал.

Эта старая сцена сказала мне вмиг
Больше ста современнейших книг.

А в вагоне — соседка и мой vis-à-vis
Объяснялись тихонько в любви.

Чтоб свое одинокое сердце отвлечь,
Из портплекда я вытащил «Речь».

Вверх ногами я эту газету держал:
Там в углу юнкер барышню жал!

Был на Иматре. — Так надо.
Видел глупый водопад.
Постоял у водопада
И, озлясь, пошел назад.

Мне сказала в пляске шумной
Сумасшедшая вода:
«Если ты больной, но умный —
Прыгай, миленький, сюда!»

Извините. Очень надо...
Я приехал отдохнуть.
А за мной из водопада
Донеслось: «Когда-нибудь!»

Забыл на вокзале пенсне, сломал отельную лыжу.
Купил финский нож — и вчера потерял.
Брожу у лесов и вдвойне опять ненавижу
Того, кто мое легкоеверие грубо украл.

Я в городе жаждал лесов, озер и покоя.
Но в лесах снега глубоки, а галоши мелки.
В отеле все те же комнаты, слуги, жаркое,
И в окнах финского неба слепые белки.

Конечно, прекрасно молчание финнов и финок,
И сосен, и финских лошадок, и неба, и скал,
Но в городе я намолчался по горло, как инок,
И здесь я бури и вольного ветра искал...

Над нетронутым компотом
Я грущу за табль д'отом:
Все разъехались давно.

Что мне делать — я не знаю.
Сплю, читаю, ем, гуляю —
Здесь — иль город: все равно.

⟨1909⟩

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

(Поэма)

Нос твой — башня Ливанская,
обращенная к Дамаску.

(*Песнь песн. Гл. VII*)

Царь Соломон сидел под кипарисом
И ел индюшку с рисом.
У ног его, как воплощенный миф,
Лежала Суламифь
И, высунувши розовенький кончик
Единственного в мире язычка,
Как кошечка при виде молочка,
Шептала: «Соломон мой, Соломончик!»

«Ну, что?» промолвил царь,
Обглядывая лапку.
«Опять раскрыть мой ларь?
Купить шелков на тряпки?
Кровать из янтаря?
Запястье из топазов?
Скорей проси царя,
Проси, цыпленок, сразу!»

Суламифь царя перебивает:
«О мой царь! Года пройдут, как сон —

Но тебя никто не забывает —
Ты мудрец, великий Соломон.
Ну, а я, шалунья Суламита,
С лучезарной, смуглой красотой,
Этим миром буду позабыта,
Как котенок в хижине пустой!
О мой царь! Прошу тебя сердечно:
Прикажи, чтоб медник твой Хирам
Вылил статую мою из меди вечной,—
Красоте моей нетленный храм!..»

«Хорошо! — говорит Соломон.— Отчего же?»
А ревнивые мысли поют на мотив:
У Хирама уж слишком красивая рожа —
Попозировать хочет моя Суламифь.
Но ведь я, Соломон, мудрецом называюсь,
И Хирама из Тира мне звать не резон...
«Хорошо, Суламифь, хорошо, постараюсь!
Подарит тебе статую царь Соломон...»

Царь тихонько от шалуньи
Шлет к Хираму в Тир гонца,
И в седьмое новолунье
У парадного крыльца
Соломонова дворца
Появился караван
Из тринадцати верблюдов,
И на них литое чудо —
Отвратительней верблюда
Медный, в шесть локтей, болван.
Стража, чернь и служки храма
Наседают на Хирама:
«Идол? Чей? Кому? Зачем?»
Но Хирам бесстрастно нем.
Вдруг выходит Соломон.
Смотрит: «Что это за гриф
С безобразно длинным носом?!»
Не смущаясь сим вопросом,
Медник молвит: «Суламифь».

«Ах!» Сорвалось с нежных уст,
И живая Суламита
На плиту из малахита
Опускается без чувств...
Царь, взбесясь, уже мечом
Замахнулся на Хирама,
Но Хирам повел плечом:
«Соломон, побойся срама!

Не спяна и не во сне
Лил я медь, о царь сердитый,
Вот пергамент твой ко мне
С описаньем Суламиты:

Нос ее — башня Ливана!
Ланиты ее — половинки граната.
Рот, как земля Ханаана,
И брови, как два корабельных каната.

Сосцы ее — юные серны,
И груди, как две виноградные кисти,
Глаза — золотые цистерны,
Ресницы, как вечнозеленые листья.

Чрево, как ворох пшеницы,
Обрамленный гирляндой лилий,
Бедрa, как две кобылицы,
Кобылицы в кремовом мыле...

Кудри, как козы стадами,
Зубы, как бритые овцы с приплодом,
Шея, как столп со щитами,
И пупок, как арбуз, помазанный медом!

В свите хохот заглушенный. Улыбается Хирам.
Соломон, совсем смущенный, говорит: «Пошел к чертям!
Все, что следует по счету, ты получишь за работу...
Ты — лудильщик, а не медник, ты сапожник... Стыд и срам!»
С бородою по колена, из толпы — пророк Абрам
Выступает вдохновенно: «Ты виновен — не Хирам!
Но не стоит волноваться, всякий может увлечься:
Ты писал и рассказкался, как козуля по горам.
«Песня песней» — это чудо! И бессилен здесь Хирам.
Что он делал? Вылил блюдо в дни, когда ты строил храм...
Но клянусь! В двадцатом веке по рождении Мессии
Молодые человеки возродят твой стиль в России...»

Суламифь открывает глаза,
Соломон наклонился над нею:
«Не волнуйся, моя бирюза!
Я послал уж гонца к Амоню.
Он хоть стар, но прилежен, как вол,
Говорят, замечательный медник...
А Хирам твой — бездарный осел
И при этом еще привередник!

Будет статуя здесь — не проси —
Через два или три новолунья...»
И в ответ прошептала «Меґсі!»
Суламифь, молодая шалунья.

⟨1910⟩

ДИСПУТ

Три курсистки сидели над Саниным,
И одна — сухая, как жердь,
Простонала с лицом затуманенным:
«Этот Санин прекрасен, как смерть...»

А другая, кубышка багровая,
Поправляя двойные очки,
Закричала: «Молчи, безголовая! —
Эту книгу порвать бы в клочки...»

Только третья молчала внимательно.
Розовел благородный овал,
И глаза загорались мечтательно...
Кто-то в дверь в этот миг постучал.

Это был вольнослушатель Анненский.
Две курсистки вскочили: «Борис,
Разрешите-ка диспут наш санинский!»
Поклонился смущенный Парис.

Посмотрел он на третью внимательно,
На взволнованно-нежный овал,
Улыбнулся чему-то мечтательно
И в ответ... ничего не сказал.

⟨1908⟩

СКВОЗНОЙ ВЕТЕР

Графит на крыше раскален.
Окно раскрыто. Душно.
Развесил лапы пыльный клен
И дремлет равнодушно.

Собрались мальчики из школ.
Забыты вмиг тетрадки,

И шумен бешеный футбол
На стриженной площадке.

Горит стекло оранжерей,
Нагрелся подоконник.
Вдруг шалый ветер из дверей
Ворвался, беззаконник.

Смахнул и взвил мои стихи —
Невысохшие строчки.
Внизу ехидное: «хи-хи»
Хозяйской младшей дочки.

Она, как такса, у окна
Сидит в течение суток.
Пускай хихикает она —
Мне вовсе не до шуток.

Забыл, забыл... Сплелись в мозгу
Все рифмы, как химера,
И даже вспомнить не могу
Ни темы, ни размера.

<1910>

ВЕСНА МЕРТВЕЦОВ

Зашевелились корни
Деревьев и кустов.
Растаял снег на дерне
И около крестов.

Оттаявшие кости
Брыкаются со сна,
И бродит на погосте
Весенняя луна.

Вон вылезли скелеты
Из тесных, скользких ям.
Белеют туалеты
Мужчин и рядом дам.

Мужчины жмут им ручки,
Уводят в лунный сад
И все земные штучки
При этом говорят.

Шуршанье. Вздохи. Шепот.
Бряцание костей.
И слышен скорбный ропот
Из глубины аллей.

«Мадам! Плохое дело...
Осмелюсь вам открыть:
Увы, истлело тело —
И нечем мне любить!»

〈1910〉

БЕГСТВО

Зеленой плесенью покрыты кровли башен,
Зубцы стены змеятся вокруг Кремля.
Закат пунцовой бронзой окрашен.
Над куполами, золотом пыля,
Садится солнце сдержанно и сонно,
И древних туч узор заткал полнебосклона.

Царь-колокол зевает старой раной,
Царь-пушка зев уперла в небеса,
Как арбузы,— охвачены нирваной,
Спят ядра грузные, не веря в чудеса —
Им никогда не влезть в жерло родное
И не рыгнуть в огне, свистя и воя...

У Красного крыльца, в цветных полукафтанных,
Верзилы певчие ждут, полы подобрал.
В лиловом сумраке свивая очертанья,
Старинным золотом горит плеяда глав,
А дальше терема, расписанные ярко,
И каменных ворот зияющая арка.

Проезжий в котелке, играя модной палкой,
В наполеоновские пушки постучал,
Вздыхнул, зевнул и, улыбаясь жалко,
Поправил галстук, хмыкнул, помычал —
И подошел к стене: все главы, главы, главы
В последнем золоте закатно-красной лавы...

Широкий перезвон басов-колоколов
Унизан бойкою, серебряною дробью.
Ряды опричников, монахов и стрельцов
Бесшумно выросли и, хмурясь исподлобья,

Проходит Грозный в черном клобуке,
С железным костылем в сухой руке.

Скорее в город! Современность ближе —
Приезжий в котелке, как бешеный, подрал.
Сесть в узенький трамвай, мечтать, что ты в Париже,
И по уши уйти в людской кипящий вал!
В случайный ресторан забраться по пути,
Газету *в руки* взять и сердцем отойти...

«Эй, человек! Скорей вина и ужин!»
Кокотка в красном дрогнула икрой.
«Madame, присядьте... Я Москвой контужен!
Я одинок... О, будьте мне сестрой».
«Сестрой, женой иль тещей — чем угодно —
На этот вечер я совсем свободна».

Он ей в глаза смотрел и плакал зло и пьяно:
«Ты не Царь-колокол? Не башня из Кремля?»
Она, смеясь, носком толкнула фортепьяно,
Мотнула шляпкой и сказала: «Тля!»
Потом он взял ее в гостиницу с собой,
И там она была ему сестрой.

<1909>

ГАРМОНИЯ

Направо в обрыве чернели стволы
Гигантских развесистых сосен,
И был одуряющий запах смолы,
Как зной неподвижный, несносен.

Зеленые искры светящих жуков
Носились мистическим роем,
И в городе дальнем ряды огоньков
Горели вечерним покоем.

Под соснами было зловеще темно,
И выпи аукали дружно.
Не здесь ли в лесу бесконечно давно
Был Ивик убит безоружный?..

Шли люди — их лица закутала тьма,
Но речи отчетливы были:
«Вы знали ли Шляпкиных»? — «Как же, весьма —
Они у нас летом гостили».

«Как ваша работа?» — «Идет,— ничего,
Читаю Роберта Оvéна».

«Во вторник пойдем в семинар?» — «Для чего?»
«Орлов — референт». — «Непременно».

«Что пишет Кадушкин?» — «Женился, здоров,
И предан партийной работе».
Молчанье. Затихла мелодия слов,
И выпь рассмеялась в болоте.

<1908>

СЕВЕРНАЯ ЛИРИКА

Танец диких у костров.
Пламя цепенеет,
Вяло лижет вязки дров
И в тумане рдеет.

Стынут белые ряды
Телеграфных нитей.
Все следочки, да следы
У казенных питей.

Горе! Малый весь дрожит,
Бьет рукой о донце...
В пелене, как сыр, сквозит
Розовое солнце...

Пар от окон, стен и крыш,
Мерзлые решетки.
Воздух — сталь, Нева — Иртыш.
Комнату и водки!

Лопнет в градуснике ртуть,
Или лопнут скулы,
Тяжелей и гуще муть,
Холод злей акулы.

Замерзаю, как осел.
Эй, извозчик! Живо,
В Ботанический пошел!
Понеслись на диво...

Еду пальмы посмотреть
И обнять бананы.

Еду душу отогреть
В солнечные страны.

Эскимосы и костры!
Стужа сердце гложет —
Час тропической жары
Только и поможет.

<1909>

КАРНАВАЛ В ГЕЙДЕЛЬБЕРГЕ

Город спятил. Людям надоели
Платья серых будней — пиджаки.
Люди тряпки пестрые надели,
Люди все сегодня — дураки.

Умничать никто не хочет больше,
Так приятно быть самим собой...
Вот костюм кичливой старой Польши,
Вот бродяги шествуют гурьбой.

Глупый Михель с пышною супругой
Семенит и машет колпаком,
Белый клоун надрывается белугой
И грозит кому-то кулаком.

Ни проехать, ни пройти,
Засыпают конфетти.
Щиплют пухленьких жеманниц.

Нет манер, хоть прочь рубаху!
Дамы бьют мужчин с размаху,
День во власти шумных пьяниц.

Над толпою — серпантин,
Сетью пестрых паутин,
Перевился и трепещет.

Треск хлопушек, свист и вой,
Словно бешеный прибой,
Рвется в воздухе и плещет.

Идут, обнявшись, смеясь и толкаясь,
В открытые настезь пивные.

Идут, как братья, шутя и ругаясь,
И все такие смешные...

Смех людей соединил,
Каждый пел и каждый пил,
Каждый делался ребенком.

Вон судья навеселе
Пляшет джигу на столе,
Вон купец пищит котенком.

Хор студентов свеж и волен —
Слава сильным голосам!
Город счастлив и доволен,
Льется пиво по столам...

Ходят кельнерши в нарядах —
Та матросом, та пажом,
Страсть и дерзость в томных взглядах.
«Помани и... обождем!»

Пусть завтра опять наступают будни,
Пусть люди наденут опять пиджаки,
И будут спать еще непробудней —
Сегодня мы все — дураки...

Братья! Женщины не щепки —
Губы жарки, ласки крепки,
Как венгерское вино.

Пейте, лейте, прочь жеманство!
Завтра трезвость, нынче пьянство...
Руки вместе — и на дно!

⟨1909⟩

ИЗ «ШМЕЦКИХ» ВОСПОМИНАНИЙ

Посв. А. Григорьеву

У берега моря кофейня. Как вкусен густой шоколад!
Лиловая жирная дама глядит у воды на закат.

— Мадам, отодвиньтесь немножко! Подвиньте ваш грузный баркас.
Вы задом заставили солнце, — а солнце прекраснее вас...

Сосед мой краснеет, как клюква, и смотрит сконфуженно вбок.
— Не бойся! Она не услышит: в ушах ее ватный клочок.

По тихой веранде гуляет лишь ветер да пара щенят,
Закатные волны вскипают, шипят и любовно звенят.

Весь запад в пунцовых пионах, и тени играют с песком,
А воздух вливается в ноздри тягучим парным молоком.

— Михайлович, дай папироску! — Прекрасно сидеть в темноте,
Не думать и чувствовать тихо, как краски растут в высоте.

О, море верней валерьяна врачует от скорби и зла...
Фонарщик зажег уже звезды, и грузная дама ушла.

Над самой водою далеко, как сонный усталый глазок,
Садится в шипящее море цветной, огневой ободок.

До трех просчитать не успели, он вздрогнул и тихо нырнул,
А с моря уже доносился ночной нарастающий гул...

〈1909〉

Шмецке — вблизи Гунгербурга

УЛИЦА В ЮЖНО-GERMANСКОМ ГОРОДЕ

Звонки бирюзовых веселых трамваев.
Фланеры-туристы, поток горожан...
Как яркие перья цветных попугаев,
Уборы студентов. А воздух так пьян!

Прекрасные люди! Ни брани, ни давки.
Узнайте: кто герцог и кто маникюр?
А как восхитительны книжные лавки,
Какие гирлянды из книг и гравюр!

В обложках малиновых, желтых, лиловых
Цветут, как на грядках, в зеркальном окне...
Сильнее колбасных, сильнее фруктовых
Культурное сердце пленяют оне.

Прилично и сдержанно умные таксы
Флиртуют носами у низких витрин,
А Фриды и Францы, и Минны, и Максы
Пленяют друг друга жантильностью мин.

Жара. У «Регео» открылись окошки.
Отрадно сидеть в холодке и смотреть:
Вон пуг корпорантов. За дрожками дрожки...
Поют и хохочут. Как пьяным не петь!

Свежи и дородны, глупы, как кентавры.
Проехали. Солнце горит на домах.
Зеленые кадки и пыльные лавры
Слились и кружатся в ленивых глазах.

Свист школьников, хохот и пьяные хоры,
Звонки, восклицания, топот подков.
Довольно! В трамвай — и к подъему на горы.

О, сила пространства! О, сны облаков!

(1910)

ТЕАТР

В жизни так мало красивых минут,
В жизни так много безверья и черной работы.
Мысли о прошлом морщины на бледные лица кладут,
Мысли о будущем полны свинцовой заботы,
А настоящего — нет... Так между двух берегов
Бьемся без смеха, без счастья, надежд и богов...

И вот, порою,
Чтоб вспомнить, что мы еще живы,
Чужою игрою
Спешим угрюмое сердце отвлечь...
Пусть снова встанут
Миражи счастья с красивой тоскою,
Пусть нас обманут,
Что в замке смерти живет красота.
Нам «Синие птицы»
И «Вечные сказки» — желанные гости,
Пускай — небылицы,
В них наши забытые слезы дрожат.

У барьера много серых, некрасивых, бледных лиц,
Но в глазах у них, как искры, бьются крылья синих птиц.
Вот опять открылось небо — голубое полотно...
О, по цвету голубому стосковались мы давно,
И не меньше стосковались по ликующим словам,
По свободным, смелым жестам, по несбыточным мечтам!

Дома стены, только стены,
Дома жутко и темно,
Там, не зная перемены,
Повторяешь: «все равно...»

Все равно? О, так ли? Трудно искры в сердце затоптать,
Трудно жить и знать, и видеть, но не верить, но не ждать,
И играть тупую драму, покоровшись, как овца,
Без огня и вдохновенья, без начала и конца...

И вот, порою,
Чтоб вспомнить, что мы еще живы,
Чужою игрою
Спешим угрюмое сердце отвлечь.

<1908>

В ОРАНЖЕРЕЕ

Небо серо,— мгла и тучи, садик слякотью размыт,
Надо как-нибудь подкрасить предвесенний русский быт.

Я пришел в оранжерею и, сорвав сухой листок,
Молвил: «Дайте мне дешевый, прочный, пахнущий цветок».

Немцу дико: «Как так прочный? Я вас плохо понимал...»
— «Да такой, чтоб цвел подольше и не сразу опадал».

Он ушел, а я склонился к изумрудно-серым мхам,
К юным сморщенным тюльпанам, к гиацинтным лепесткам.

Еле-еле прикоснулся к крепким почкам клубероз
И до хмеля затянулся ароматом чайных роз.

На азалии смотрел я, как на райские кусты,
А лиловый рододендрон был пределом красоты.

Там, за мглой покатых стекол, гарь и пятна ржавых крыш —
Здесь парной душистый воздух, гамма красок, зелень, тишь...

Но вернулся старый немец и принес желтофиоль.
Я очнулся, дал полтинник и ушел в сырую голь...

И идя домой, смеялся: «Ах, ты немец-крокодил,
Я на сто рублей бесплатно наслажденья получил!»

⟨1912⟩

САТИРЫ И ЛИРИКА

В ПРОСТРАНСТВО

В литературном прейскуранте
Я занесен на скорбный лист:
«Нельзя, мол, отказать в таланте,
Но безнадежный пессимист».

Ярлык пришит. Как для дантиста
Все рты полны гнилых зубов,
Так для поэта-пессимиста
Земля — коллекция гробов.

Конечно, это свойство взоров!
Ужели мир так впал в разврат,
Что нет природы для узоров
Оптимистических кантат?

Вот редкий подвиг героизма,
Вот редкий умный господин,
Здесь — брак, исполненный лиризма,
Там — мирный праздник именин...

Но почему-то темы эти
У всех сатириков в тени,
И все сатирики на свете
Лишь ловят минусы одни.

Вновь с «безнадежным пессимизмом»
Я задаю себе вопрос:
Они ль страдали дальтонизмом,
Иль мир бурьяном зла зарос?

Ужель из дикого желанья
Лежать ничком и землю грызть
Я искажил все очертанья,
Лишь в краску тьмы макая кисть?

Я в мир, как все, явился голый
И шел за радостью, как все...

Кто спеленал мой дух веселый —
Я сам? Иль ведьма в колесе?

О Мефистофель, как обидно,
Что нет статистики такой,
Чтоб даже толстым стало видно,
Как много рухляди людской!

Тогда, объяв века страданья,
Не говорили бы порой,
Что пессимизм, как заиканье,
Иль как душевный геморрой...

⟨1911⟩

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Белые хлопья и конский навоз
Смесились в грязную желтую массу и преют.
Протухшая, кислая, скучная, острая вонь...
Автомобиль и патронный обоз.
В небе пары, разлагаясь, сереют.
В конце переулка желтый огонь...
Плывет отравленный пьяный!
Бросил в глаза проклятую брань
И скрылся, качаясь, — нелепый, ничтожный и рваный.
Сверху сочится какая-то дрянь...
Из дверей извозчичьих чадных трактиров
Вырывается мутным снопом
Желтый пар, пропитанный шерстью и щами...
Слышишь крики распаренных сиплых сатиров?
Они веселятся... Плетется чиновник с попом.
Щебечет грудастая дама с хлыщами.
Орут ломовые на темных слоновых коней,
Хлещет кнут и скучное острое русское слово!
На крутом повороте забили подковы
По лбам обнаженных камней —
И опять тишина.
Пестроглазый трамвай вдалеке промелькнул.
Одиночество скучных шагов... «Ка-ра-ул!»
Все черней и неверней уходит стена,
Мертвый день растворился в тумане вечернем...
Зазвонили к вечерне.
Пей до дна!

⟨1910⟩

В ПАССАЖЕ

Портрет Бетховена в аляповатой рамке,
Кастрюли, скрипки, книги и нуга.
Довольные обтянутые самки
Рассматривают бусы-жемчуга.

Торчат усы и чванно пляшут шпоры.
Острятся бороды бездельников-дельцов.
Сереет негр с улыбкою обжоры,
И нагло ржет компания писцов.

Сквозь стекла сверху, тусклый и безличный,
Один из дней рассеивает свет.
Толчется люд бесцветный и приличный.

Здесь человечество от глаз и до штиблет
Как никогда — жестоко гармонично
И говорит мечте цинично: Нет!

〈1910〉

ВИД ИЗ ОКНА

Захватанные копотью и пылью,
Туманами, парами и дождем
Громады стен с утра влекут к бессилью
Твердя глазам: мы ничего не ждем...

Упитанные голуби в карнизах,
Забыв полет, в помете грузно спят.
В холодных стеклах, матовых и сизых,
Чужие тени холодно сквозят.

Колонны труб и скат слинявшей крыши,
Мостки для трубочиста, флюгера
И провода в мохнато-пыльной нише.

Проходят дни, утра и вечера.
Там где-то небо спит аршином выше,
А вниз сползает серый люк двора.

〈1910〉

КОМНАТНАЯ ВЕСНА

Проснулся лук за кухонным окном
И выбросил султан зелено-блеклый.
Замученные мутным зимним сном,
Тукнули ласковые солнечные стекла.

По комнатам проснувшаяся моль
Зигзагами носилась одурело
И вдруг — поняв назначенную роль —
Помчалась за другой легко и смело.

Из-за мурильевской Мадонны на стене
Прозрачные клопенки выползали,
Невинно радовались комнатной весне,
Дышали воздухом и лапки расправляли.

Оконный градусник давно не на нуле —
Уже неделю солнце бьет в окошки!
В вазончике по треснувшей земле
Проворно ползали зелененькие вошки.

Гнилая сырость вывела в углу
Сухую изумрудненькую плесень,
А зайчики играли на полу
И требовали глупостей и песен...

У хламной этажерки на ковре
Сидело чучело в манжетах и свистало,
Прислушивалось к гаму на дворе
И пыльные бумажки разбирало.

Пять воробьев, цепляясь за карниз,
Сквозь стекла в комнату испуганно вонзилось:
«Скорей! Скорей! Смотрите, вот сюрприз —
Оно не чучело, оно зашевелилось!»

В корзинку для бумаг «ее» портрет
Давно был брошен, порванный жестоко...
Чудак собрал и склеил свой предмет,
Недоставало только глаз и бока.

Любовно и восторженно взглянул
На чистые черты сбежавшей дамы,
Взял лобзик, сел верхом на хлипкий стул —
И в комнате раздался визг упрямый.

Выпиливая рамку для «нея»,
Свистало чучело и тихо улыбалось...
Напротив пела юная швея,
И солнце в стекла бешено врывалось!

⟨1910⟩

МЕРТВЫЕ МИНУТЫ

Набухли снега у веранды.
Темнеет лиловый откос.
Закутав распухшие гланды,
К стеклу прижимаю я нос.

Шперович — банкир из столицы
(И истинно-русский еврей)
С брусничною веткой в петлице
Ныряет в сугроб у дверей.

Его трехобхватная Рая
Туда уронила кольцо,
И, жирные пальцы ломая,
К луне подымает лицо.

В душе моей страх и смятенье:
Ах, если Шперович найдет! —
Двенадцать ножей огорченья
Мне медленно в сердце войдет...

Плюется... Встает... Слава Богу!
Да здравствует правда, ура!
Шперович уходит в берлогу,
Супруга рыдает в боа.

⟨1911⟩

Кавантсари. Пансион

ПЯТЬ МИНУТ

«Господин» сидел в гостиной
И едва-едва
В круговой беседе чинной
Плел какие-то слова.

Вдруг безумный бес протеста
В ухо проскользнул:
«Слушай, евнух фраз и жеста,
Слушай, бедный вечный мул!

Пять минут (возьми их с бою!)
За десятки лет
Будь при всех самим собою
От пробора до штиблет».

В сердце ад. Трепещет тело.
«Господин» поник...
Вдруг рукой оледенелой
Сбросил узкий воротник!

Положил на кресло ногу,
Плечи почесал
И внимательно и строго
Посмотрел на стихший зал.

Увидал с тоской суровой
Рыхлую жену,
Обозвал ее коровой
И, как ключ, пошел ко дну...

Близорукого соседа
Щелкнул пальцем в лоб
И прервал его беседу
Гневным словом: «Остолоп!»

Бухнул в чай с полчашки рома,
Пососал усы,
Фыркнул в нос хозяйке дома
И, вздохнув, достал часы.

«Только десять! Ну и скука...»
Потянул альбом
И запел, зевнув, как щука:
«Тили-тили-тили-бом!»

Зал очнулся: шепот, крики,
Обмороки дам.
«Сумасшедший! Пьяный! Дикий!»
— «Осторожней — в морду дам».

Но прислуга «господину»
Завязала рот
И снесла, измяв, как глину,
На пролетку у ворот...

Двадцать лет провел несчастный
Дома, как барбос,
И в предсмертный час напрасно
Задавал себе вопрос:

«Пять минут я был нормальным
За десятки лет —
О, за что же так скандально
Поступил со мною свет?!»

⟨1910⟩

ЧЕЛОВЕК В БУМАЖНОМ ВОРОТНИЧКЕ

Занимается письмоводством.
(Отметка в паспорте)

Позвольте представиться: Васин.
Несложен и ясен, как дрозд.
В России подобных орясин,
Как в небе полуночном звезд.

С лица я не очень приятен:
Нос толстый, усы, как порей,
Большое количество пятен,
А также немало угрей...

Но если постричься, побриться
И sprыснуться майским амбре —
Любая не прочь бы влюбиться
И вместе пойти в кабаре.

К политике я равнодушен.
Кадеты, эсдеки — к чему-с?
Бухгалтеру буду послушен
И к Пасхе прибавки добыюсь.

На службе у нас лотереи...
Люблю, но, увы, не везет:
Раз выиграл баночку клею,
В другой — перебитый фагот.

Слежу иногда за культурой:
Бальмонт, например, и Дюма,
Андреев... с такой шевелюрой. —
Мужчины большого ума!..

Видали меня на Литейном?
Пейзаж! Перед каждым стеклом
Торчу по часам ротозейно:
Манишечки, пряничный лом...

Тут мятный, там вяземский пряник,
Здесь выпуски «Ужас таверн»,
Там дивный фразе-подстаканник
С русалкою в стиле модерн.

Зайдешь и возьмешь полендвичи
И кетовой (четверть) икры,
Привяжешься к толстой девице,
Проводишь, предложишь дары.

Чаек. Заведешь на гитаре
Чарующий вальс «На волнах»
И глазом скользишь по Тамаре...
Невредно-с! Удастся иль швах?

Частенько уходишь без толку:
С идеями или глупа.
На Невском бобры, треуголки,
Чиновники, шубы... Толпа!

Нырнешь и потонешь бесследно.
Ах, черт, сослуживец... «Балда!»
«Гуляешь?» — «Гуляю». — «Не вредно!»
«Со мною?» — «С тобою». — «Айда!»

<1911>

ДВЕ БАСНИ

I

Гуляя в городском саду,
Икс влопался в беду:
Навстречу шел бифштекс в нарядном женском платье.
Посторонившись с тонким удалством,
Икс у забора — о проклятье!
За гвоздик зацепился рукавом.

Трах! Вдребезги сукно,
Скрежещет полотно —
И локоть обнажился.
От жгучего стыда Икс пурпуром покрылся:
«Что делать? Боже мой!»
Прикрыв рукою тело,
Бегом к извозчику, вскочил, как очумелый,
И рысью, марш домой!..

Последний штрих,— и кончена картина:
Сей Икс имел лицо кретина
И сорок с лишним лет позорил им Творца,—
Но никогда,
Сгорая от стыда,
Ничем не прикрывал он голого лица.

II

Мудрейший индивид,
Враг всех условных человеческих вериг,
Пожравший сорок тысяч книг
И даже Ницше величающий буржуем,
Однажды был судьбою испытует
Ужасней, чем Кандид:
Придя на симфонический концерт
И взором холодно блуждая по партеру,
Заметил, что сосед, какой-то пошлый ферт,
Косится на него, как на пантеру.
Потом другой, и третий, и четвертый —
И через пять минут почти вся зала,
Впивая остроту нежданного скандала,
Смотрела на него, как сонм святых на черта.
Спокойно индивид
В складное зеркальце взглянул в недоуменье:
О, страшный вид!
«В зобу дыханье сперло!»
Растерянно закрыв программой горло,
Во все лопатки,
Бежал он из театра,—
Краснел,
Бледнел
И дома принял три облатки
Бромистого натра.

Зачем же индивид удрал с концерта вспять?
Забыл в рассеянности галстук повязать.

<1911>

СТИЛИСТЫ

На последние полушки
Покупая безделушки,
Чтоб свалить их в Петербурге
В ящик старого стола,—

У поддельных ваз этрусских
Я нашел двух бравых русских,
Зычно спорящих друг с другом,
Тыча в бронзу пятерней:

«Эти вазы, милый Филя,
Ионического стиля!»
— «Брось, Петруша! Стиль дорийский
Слишком явно в них сквозит...»

Я взглянул: лицо у Филя
Было пробкового стиля,
А из галстука Петруши
Бил в глаза армейский стиль.

⟨1910⟩

Флоренция

КОЛУМБОВО ЯЙЦО

Дворник, охапку поленьев обрушивши с грохотом на пол,
Шибко и тяжело дыша, пот растирал по лицу.
Из мышеловки за дверь вытряхая мышонка для кошек,
Груз этих дров квартирант нервной спиной ощутил.

«Этот чужой человек с неизвестной фамилией и жизнью
Мне не отец и не сын — что ж он принес мне дрова?
Правда, мороз на дворе, но ведь я о Петре не подумал
И не принес ему дров в дворницкий затхлый подвал».

Из мышеловки за дверь вытряхая мышонка для кошек,
Смутно искал он в душе старых напетых цитат:
«Дворник, мол, создан для дров, а жилец есть объект для услуги.
Взять его в комнату жить? Дать ему галстук и «Речь»?»

Вдруг осенило его и, гордынею кроткой сияя,
Сунул он в руку Петра новеньких двадцать монет,
Тронул ногою дрова, благодарность с достоинством принял.
И в мышеловку кусок свежего сала вложил.

⟨1911⟩

ЧИТАТЕЛЬ

Я знаком по последней версии
С настроением Англии в Персии
И не менее точно знаком
С настроением поэта Кубышкина,
С каждой новой статьей Кочерыжкина
И с газетно-журнальным песком.

Словом, чтение всегда в изобилии —
Недосуг прочитать лишь Вергилия,
А поэт, говорят, золотой.
Да еще не мешало б Горация —
Тоже был, говорят, не без грации...
А Платон, а Вольтер... а Толстой?

Утешаюсь одним лишь — к приятелям
(Чрезвычайно усердным читателям)
Как-то в клубе на днях я пристал:
«Кто читал Ювенала, Вергилия?»
Но, увы (умолчу о фамилиях),
Оказалось — никто не читал!

Перебрал и иных для забавы я:
Кто припомнил обложку, заглавие,
Кто цитату, а кто анекдот,
Имена переводчиков, критику...
Перешли вообще на пиитику
И поехали. Пылкий народ!

Разобрали детально Кубышкина,
Том шестой и восьмой Кочерыжкина,
Альманах «Обгорелый фитиль»,
Поворот к реализму Поплавкина
И значение статьи Бородавкина
«О влиянье желудка на стиль»...

Утешенье, конечно, большущее...
Но в душе есть сознание сосущее,
Что я сам до кончины моей,
Объедаясь трухой в изобилии,
Ни строки не прочту из Вергилия
В суете моих пестреньких дней!

⟨1911⟩

Метранпаж октавой низкой
Оглушил ученика:
«Васька, дьявол, тискай, тискай!
Что валяешь дурака?

Рифмачу для корректуры надо оттиск отослать...»
Васька брюхом навалился на стальную рукоять.

У фальцовщиц тоже гонка —
Влажный лист шипит по швам.
Сочно-белые колонки
Набухают по столам.

Пальцы мчатся, локти ходят, тараторят языки,
Непрерывные движенья равномерны и легки.

А машины мягко мажут
Шрифт о вал и вал о вал,
Рычаги бесшумно вьжуют
За овалами овал.

«Пуф, устала, пуф, шалею, наглоталась белых кип!»
Маховик жужжит и гонит однотонный, тонкий скрип.

У наборных касс молчанье.
Свисли груши-огоньки,
И свинец с тупым мерцаньем
Спорко скачет из руки.

Прейскуранты, проза, вирши, каталоги и счета
Свеют нежную невинность белоснежного листа...

В грязных ботиках и шубе
Арендатор фон-дер-Фалл,
Оттопыривая губы,
Глазки выпучил на вал.

Кто-то выдумал машины, народил для них людей.
Вылил буквы, сделал стены, окна, двери, пол.

Владей!

Пахнет терпким терпентином.
Под машинное туше
С липким чмоканьем змеиным
Ходят жирные клише,

Шрифт, штрихи, заказы, сказки, ложь и правда, бред
и гнус.
Мастер вдумчиво и грустно краску пробует на вкус.

В мертво-бешеной погоне
Лист ныряет за листом.
Ток гудит, машина стонет —
Слышишь в воздухе густом:
«Пуф, устала, пуф, шалею. Слишком много белых кип!»
Маховик жужжит и гонит однотонный тонкий скрип.

<1910>

ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ АРТЕЛЬ

Все мозольные операторы,
Прогоревшие рестораторы,
Остряки-паспортисты,
Шато-куплетисты и бильярд-оптимисты
Валом пошли в юмористы.
Сторонись!

Заказали обложки с макаками,
Начинили их сорными злаками:
Анекдотами длинно-зевотными,
Остротами скотными,
Зубоскальством
И просто нахальством.
Здравствуй, юмор российский,
Суррогат под-английский!
Галерка похлопает,
Улица слопает...
Остальное — не важно.

Раз-раз!
В четыре странички рассказ —
Пожалуйста, смейтесь:
Сюжет из пальца,
Немножко сальца,
Психология рачья,
Радость телячья,
Штандарт скачет,
Лейкин в могиле плачет:
Обокрали, канальи!

Самое время для ржання!
Небо, песок и вода,

Посреди — улюлюканье травли...
Опостыли исканья,
Павлы полезли в Савлы,
Страданье прокисло в нитье,
Безрыбье — в безрачье...
Положенье собачье!
Чем наполнить житье?
Средним давно надоели
Какие-то (черта ль в них!) цели —
Нельзя ли попроще: театр в балаган,
Литературу в канкан.
Рынок требует смеха!

С пылу, с жару,
Своя реклама,
Побольше гама
(Вдруг спрос упадет!),
Пятак за пару —
Держись за живот:
Самоубийство и Дума,
Пародии на пародии,
Чревоугодие,
Комический случай в Батуме,
Самоубийство и Дума,
Случай в спальне
Во вкусе армейской швальни,
Случай с пьяным в Калуге,
Измена супруги,
Самоубийство и Дума...

А жалко: юмор прекрасен —
Крыловских ли басен,
Иль Чеховских «Пестрых рассказов»,
Где строки, как нити алмазов,
Где нет искусства смешить
До потери мысли и чувства,
Где есть... просто искусство
В драгоценной оправе из смеха.

Акулы успеха!
Осмелюсь спросить —
Что вы нанизали на нить?
Картонных паяцев. Потянешь — смешно,
Потом надоест — за окно.
Ах, скоро будет тошнить
От самого слова «юмор»!..

⟨1911⟩

БОДРЫЙ СМЕХ

... песню пропойте,
Где злость не глушила бы смеха —
И вам, точно чуткое эхо,
В ответ молодежь засмеется.

*(Из письма «группы киевских
медичек» к автору)*

Голова, как из олова.
Наплевать!
Опущусь на кровать
И в подушку зарюю я голову
И закрою глаза.
Оранжево-сине-багровые кольца
Завертелись, столкнулись и густо сплелись,
В ушах золотые звенят колокольцы,
И сердце и ноги уходят в черную высь,
Весело! Общедоступно и просто:
Уткнем в подушку нос и замрем —
На дне подушки, сбежав с погоста,
Мы бодрый смех найдем.
Весело, весело! Пестрые хари
Щелкают громко зубами,
Проехал черт верхом на гитаре
С большими усами.
 Чирикают пташки,
 Летают барашки,
 Плодятся букашки, и тучки плывут.
 О грезы! О слезы!
 О розы! О козы!
 Любовь, упоенье и ра-до-стный труд!
Весело, весело! В братской могиле
Щелкайте громче зубами.
Одни живут, других утопили,
А третьи — сами.
 Три собачки на дворе
 Разыграли кабаре:
 Широко раскрыли пасти
 И танцуют в нежной страсти.
 Детки прыгают кругом
 И колотят псов прутом.
 «У Егора на носу
 Черти ели колбасу...»
Весело, весело, весело, весело!
Щелкайте громче зубами.
Одни живут, других повесили,
А третьи — сами...

Бесконечно-милая группа божьих коровок!
Киевлянки-медички! Я смеюсь на авось.
Бодрый смех мой, может, и глуп и неловок —
Другого сейчас не нашлось.
Но когда вашу лампу потушат,
И когда вы сбежите от всех,
И когда идиоты задушат
Вашу мысль, вашу радость и смех,—
Эти вирши, смешные и странные
Положите на ноты и пойте, как пьяные:
И тогда, о смею признаться,
Вы будете долго и дико смеяться!

⟨1910⟩

ВО ИМЯ ЧЕГО?

Во имя чего уверяют,
Что надо кричать — «рад стараться!»?
Во имя чего заливают
Помоями правду и свет?

Ведь малые дети и галки
Друг другу давно рассказали,
Что в скинии старой лишь палки
Да тухлый, обсосанный рак...

Без белых штанов с позументом
Угасло бы солнце на небе?
Мир стал бы без них импотентом?
И груши б в садах не росли?..

Быть может, не очень прилично
Средь сладкой мелодии храпа
С вопросом пристать нетактичным:
Во имя, во имя чего?

Но я ведь не действую скопом:
Мне вдруг захотелось проверить,
Считать ли себя мне холопом
Иль сыном великой страны...

Чины из газеты «Россия»,
Прошу вас, молю вас — скажите
(Надеюсь, что вы не глухие),
Во имя, во имя чего?!

⟨1911⟩

УТЕШЕНИЕ

В минуты,
Когда, озираясь, беспомощно ждешь перемены,
Невольно
Скуратова образ всплывает, как призрак гангрены...
О счастье,
Что в мир мы явились позднее, чем предки!
Все лучше
По Чехову жить, чем биться под пытками в клетке...
Что муки
Духовных застенок, смягченных привычной печалью,
Пред адом
Хрустящих костей и мяса под жадною сталью?
У нас ведь
Симфонии, книги, поездки в Европу... и Дума —
При Грозном
Так страшно и так бесконечно угрюмо...
Умрем мы,
И дети умрут, и другое придет поколение —
В минуты
Повышенных, новых и острых сомнений
Вновь скажут
Они, озираясь с беспомощным смехом угрюмым:
«О счастье,
Что мы родились после той удивительной Думы!
Все лучше
К исканиям новым идти, томясь и срываясь,
Чем, молча,
Позором своим любоваться, в плену задыхаясь».

<1911>

БИРЮЛЬКИ

Лекционная религия пудами прибывает.
На безверье заработать можно очень хорошо.

Современные банкроты испугались беспроблемья —
Отрыгнув Проблему Пола, надо ж что-нибудь жевать!

Много есть на свете мяса, покупающего книги,
Заполняющего залы из-за месячных проблем.

Кто-то хитрый и трусливый первый крикнул рыбе слово,
И сбежались остальные, как на уличный скандал!

Успокоиться так любо! Дай им с формулами веру,
С иностранными словами, с математикой тоски.

Брось им кость для нудных споров о Великом Незнакомце —
Эта тема бесконечна для варьяций индюков.

Как приятно строить мостик из бездарных слов и воплей
И научно морщить брови, и мистически сопеть...

И с куриным самомнением сожалеть о тех «незрячих»,
Кто, закрыв лицо руками, целомудренно молчит.

С авиатикою слабо... И уже надоедает
Каждый день читать, как Игрек грудь и череп раздробил...

От идей слова остались, а от слов остались буквы —
Что нам стоит! Можно к Небу на безверье полететь.

На Шаляпина билеты достают одни счастливыцы.
Здесь же можно за полтинник вечность щупать за бока!

Мой знакомый, Павел Стружкин, замечательная личность:
Он играет на бильярде, как армейский капитан.

Двести двадцать слов он знает на российском диалекте
И завязывает галстук на двенадцать номеров.

Но вчера я на заборе увидел с тоской афишу:
Павел Стружкин. «Бог и вечность».
Бедный Тенишевский зал!

Вам смешно? А мне нисколько. Я его не буду слушать,
Ну а вам не удержаться, мой читатель дорогой...

Можно вволю посмеяться, покричать, побесноваться —
Кой-кому сия проблема заменяет даже цирк.

«Скучно жить на белом свете!» — Это Гоголем открыто,
До него же — Соломоном, а сейчас — хотя бы мной.

⟨1910⟩

В ДЕРЕВНЕ

Так странно: попал к незнакомым крестьянам —
Приветливость, ровная ласка... За что?
Бывал я в гостиных, торчал по ночным ресторанам,
Но меня ни один баран не приветил. Никто!

Так странно: мне дали сметаны и сала,
Черного хлеба, яиц и масла кусок.
За что? За деньги, за смешные кружочки металла?
За звонкий символ обмена, проходящий сквозь мой кошелек?

Так странно. Когда бы вернулась вновь меня —
Что дал бы я им за хлеб и вкусный крупник?
Стихи? Но, помявши в руках их, они непременно
Вернули бы мне их обратно, сказав с усмешкой: «Шутник!»

Конфузясь, в другую деревню пошел бы, чтоб снова
Обросшие люди отвергли продукт мой смешной,
Чтоб, приняв меня за больного, какой-нибудь Митрич сурово
Ткнул мне боком краюшку с напутствием: «С Богом,
блажной!»

Обидно! Искусство здесь в страшном загоне:
В первый день Пасхи царни, под русскую брань,
Орали циничные песни под тьяканье пьяной гармонии,
А девки плясали на сочном холме «па д'эспань».

Цветут анемоны. Опушки лесов все чудесней,
Уносятся к озеру ленты сверкающих вод...
Но в сытинских сборниках дремлют народные песни,
А девки в рамах на выставках водят цветной хоровод.

Крестьяне на шляпу мою реагируют странно:
Одни меня «баринном» кличут — что скажешь в ответ?
Другие вдогонку, без злобы, но очень пространно,
Варьируют сочно и круто единственно-русский привет.

И в том и в другом разобраться не сложно —
Но скучно... Пчела над березой дрожит и жужжит.
Дышу и молчу, червяка на земле обхожу осторожно,
И солнце на пальцах моих все ярче, все жарче горит.

Двухлетнюю Тоню, крестьянскую дочку,
Держу на руках — и ей моя шляпа смешна:
Разводит руками, хохочет, хватает меня за сорочку,
Но, к счастью, еще говорить не умеет она...

⟨1910⟩
Заозерье

СЕВЕРНЫЕ СУМЕРКИ

В небе полосы дешевых чернил
Со снятым молоком впережку,
Пес завалился в пустую тележку
И спит. Дай, Господи, сил!

Черви на темных березах висят
И колышат устало хвостами.
Мошки и тени дрожат над кустами.
Как живописен вечерний мой сад!

Серым верблюдом стала изба.
Стекла, как очи тифозного сфинкса.
С видом с Марса упавшего принца
Пот неприятия злобно стираю со лба...

Кто-то порывисто дышит в сарайную щель.
Больная корова, а может быть, леший?
Лужи блестят, как старцев-покойников плечи.
Апрель? Неужели же это апрель?!

Вкруг огорода пьяный, беззубый забор.
Там, где закат, узкая ниточка желчи.
Страх все растет, гигантский, дикий и волчий...
В темной душе запутанный темный узор.

Умерли люди, скворцы и скоты.
Воскреснут ли утром для криков и жвачки?
Хочется стать у крыльца на карачки
И завывать в глухонемые кусты...

Разбудишь деревню, молчи! Прибегут
С соломою в патлах из изб печенег,
Спросонья воткнут в тебя вилы с разбега
И триста раз повернут...

Черным верблюдом стала изба.
А в комнате пусто, а в комнате гулко.
Но лампа разбудит все закоулки,
И легче станет борьба.

Газетной бумагой закрою пропасть окна.
Не буду смотреть на грязь небосвода!
Извините меня, дорогая природа,—
Сварю яиц, заварю толокна.

⟨1910⟩
Заозерье

ПИЦА

«Ну, тащися, сивка!»

Варвара сеет ртом петрушку,
Морковку, свеклу и укроп.
Смотрю с пригорка на старушку,
Как отдыхающий Эзоп.

Куры вытянули клювы...
Баба гнется вновь и вновь.
Кыш! Быть может, сам Петр Струве
Будет есть ее морковь.

Куда ни глянь — одно и то же:
Готовят новую еду.
Покинув ласковое ложе,
Без шляпы в ближний лес иду.

Озимь выперла щетиной.
Пицца-с... Булки на корню.
У леска мужик с скотиной
Ту же подняли возню:

Михайла, подбирая вожжи,
На рахитичной вороной
С полос сдирает плугом кожи.
Дед рядом чешет бороной.

Вороная недовольна:
Через два шага — антракт.
Но вожжа огреет больно,
И опять трясутся в такт.

На пашне щепки, пни и корни —
Берез печальные следы:
Здесь лягут маленькие зерна
Для пресной будущей еды.

Пыльно-потная фигура
Напрягает зверски грудь:
«Ну, тащися, сивка, шкура!
Надо ж лопать что-нибудь».

Не будет засух, ливней, града —
Смолотят хлеб и станут есть...
Ведь протянуть всю зиму надо,
Чтоб вновь весной в оглобли влезть.

Плуг дрожит и режет глину.
Как в рулетке! Темный риск...
Солнце жжет худую спину,
В небе жаворонка писк.

Пой, птичка, пой! Не пашут птички.
О ты, Великий Агроном!
Зачем нельзя иметь привычки
Быть сытым мыслью, зреньем, сном?!

Я спросил у мужичонки:
«Вам приятен этот труд?»
Мужичок ответил тонко:
«Ваша милость пожуют».

〈1910〉

КОНСЕРВАТИЗМ

(Миниатюра)

Перед школою — лужок.
Пять бабенок, сев в кружок,
У больших и малышей
Монотонно ищут вшей.

Школьный сторож, гном Сысой,
Тут же рядышком с женой —
Ткнул в колени к ней руно
И разлегся, как бревно.

Увидав такой пейзаж,
Я замедлил свой вояж
И невольно проронил:
«Ты бы голову помыл!»

Но язвительный Сысой,
Дрыгнув пяткою босой,
Промычал из-под плеча:
«Эка, выдумал!.. Для ча?»

⟨1911⟩
Кривцово

СООБЩА

«Отчего такая радость
У багровских мужиков?»
— «В заказном лугу поймали
Нижнедарьинских коров».

«Ну и что ж?» — «А очень просто:
За потраву — четвертной».
«Получили?» — «Уж по-лу-чат!
Под него вот и пропой».

«Отчего же их так много?»
— «Эх ты, милая душа,—
Нижнедарьинцы ведь тоже
Пропивают сообща!»

⟨1911⟩

ПРЯНИК

Как-то, сидя у ворот,
Я жевал пшеничный хлеб,
 А крестьянский мальчик Глеб,
 Не дыша, смотрел мне в рот.

Вдруг он буркнул, глядя в бок:
«Дай-кась толичко и мне!»
 Я отрезал на бревне
 Основательный кусок.

Превосходный аппетит!
Вмиг крестьянский мальчик Глеб,
 Как акула, съел свой хлеб
 И опять мне в рот глядит.

«Вкусно?» Мальчик просиял:
«Быдто пряник! Дай ищо!»
 Я ответил: «Хорошо»,
 Робко сжался и завял...

Пряник?.. Этот белый хлеб
Из пшеницы мужика —
Нынче за два пятака
Твой отец мне продал, Глеб.

⟨1911⟩

ПЕСНЯ

Багровое солнце косо
Зажигало откосы, стволы и небесные дали,
Девки шли с сенокоса
И грабли грозно вздымали.
Красный кумач и красные лица!
Одна ударяла в ведро,
А вся вереница
Выла звериную песню.
Если б бить, нажимая педали,
Слоновым бивнем
По струнам рояля,
Простоявшего сутки под ливнем,—
Зазвучала б такая же песня!
О чем они пели — не знаю,
Но к их горячему лаю,
Но к их махровому визгу
До боли вдруг захотелось пристать.
Нельзя! Засмеют!
Красный кумач и красные лица,
Красный закат.
Гремит, ликуя, ведро,
Звуки, как красная кровь...
О, как остро,
Непонятною завистью ранена,
Наслаждалась душа,—
Душа горожанина,
У которой так широки берега наслажденья —
От «Золота Рейна»
До звериного гиканья девок...

⟨1911⟩
Кривцово

В КАРЦЕРЕ

За сверхформенно отросшие волосья
Третий день валяюсь здесь во тьме.

В теле зуд. Прическа, как колосья.
Пыль во рту и вялый гнев в уме.

Неуютно в черном помещенье...
Доски жестки и скамья узка,
А шинель скользит, как привиденье,—
Только дразнит сонные бока.

Отбрали ремешок мой брючный
И табак (ложись и умирай!),—
Чтобы я в минуты мути скучной
Не курил и не стремился в рай.

Запою ль вполголоса, лютея,
Щелкнет в дверце крошечный квадрат
И, светясь, покажется, как фея,
Тыквилицый каменный солдат.

«Арестованному петь не позволятца»,
Ротный, друг мой, Бурлюков-мурло!
За тебя, осинового братца,
Мало ль писем я писал в село?..

Оторвал зубами клочок краюхи
И жую противный кислый ком.
По лицу ползут, скучая, мухи,
Отогнал — и двинул в дверь носком.

«Черт, Бурлюк! Гнусит «не позволятца!»,
Ишь, завел, псковской гиппопотам»...
Замолчал. А в караульной святцы
Стал доить ефрейтор по складам.

Спать? От сна распухло переносье...
Мураши в коленях и в спине...
О, зачем я не носил волосьев
По казенной форменной длине!

Время стало. В ноздри бьет опойкой...
Воздух сперт, как в чреве у кита!
Крыса точит дерево под койкой.
Для чего я обращен в скота?

Во дворе березки и прохлада.
В горле ходит жесткое бревно...
«Эй, Бурлюк! Веди скорее... Надо!»
Эту хитрость я постиг давно.

Скрип задвижки. Контрабасный ропот:
«Не успел прийти, опять веди!»
Лязг ружья. Слоноподобный топот
И сочувственно-угрюмое: «Иди!»

〈1911〉

НОВАЯ ИГРА

Чахлый классный надзиратель
Репетирует ребят:
Бабкин, черт, стоишь, как дятел!
Грудь вперед, живот назад...
Смирно! Смиррна!! Не сморкайся,
Индюки, ослиный фарш!
Ряды вздвой! Не на-кло-няйся.
Бег на месте. Бегом... аррш!!
Спасский, пояса не щупай!
Кто на правом фланге ржет?
За-пи-шу! В строю, как трупы,—
Морду выше, грудь вперед!
Ать-два, ать-два, ать-два... Лише!
Заморился... Ать-два, ать!
Сундуков — коленки выше,
Бабкин — задом не вилять!
Не пыхтеть, дыши ровнее,
Опускайся на носки,
Локти к телу, прямо шею...
Не сбивайся там с доски!
Ать-два, ать... Набей мозоли!
Что?! Устал? Не приставай...
Молодчаги! Грянем, что ли...
Запевала, запевай:

«Три деревни, два села,
Восемь девок — один я,
Куды де-эвки, туды я!»

〈1910〉

ПРАЗДНИК

Гиацинты яркие, гиацинты пряны.
В ласковой лампаде нежный изумруд.
Тишина. Бокалы, рюмки и стаканы
Стерегут бутылки и гирлянды блюд.

Бледный поросенок, словно труп ребенка,
Кротко ждет гостей, с петрушкой во рту.
Жареный гусак уткнулся в поросенка
Парою обрубков и грозит посту.

Крашенные яйца, смазанные лаком,
И на них узором — буквы Х и В.
Царственный индюк румян и томно-лаком,
Розовый редис купается в траве.

Бабы и сыры навалены возами,
В водочных графинах спит шальной угар,
Окорок исходит жирными слезами,
Радостный портвейн играет, как пожар...

Снова кавалеры, наливая водку,
Будут целовать чужих супруг в засос
И, глотая яйца, пасху и селедку,
Вежливо мычать и осаждать поднос.

Будут выбирать неспешно и любовно
Чем бы понежней набить пустой живот,
Сочно хохотать и с масок полнокровных
Отирать батистом добродушный пот.

Локоны и фраки, плечи и проборы
Будут наклоняться, мокнуть и блестеть,
Наливать мадеру, раздвигать приборы,
Тихо шелестеть и чинно соловеть.

После разберут, играя селезенкой,
Выставки, награды, жизнь и красоту...
Бледный поросенок, словно труп ребенка,
Кротко ждет гостей, с петрушкой во рту.

<1910>

РУССКОЕ

«Руси есть веселие пити».

Не умеют пить в России!
Спиртом что-то разбудив,
Тянут сильные витии
Патетический мотив

О наследственности шведа,
О началах естества,
О бездарности соседа
И о целях Божества.
Пальцы тискают селедку...
Водка капают с усов,
И сосед соседям кротко
Отпускает «подлецов».
(Те дают ему по морде,
Так как лиц у пьяных нет.)
И летят в одном аккорде
Люди, рюмки и обед.
Благородные лакеи
(Помесь фрака с мужиком)
Молча гнут хребты и шеи,
Издеваясь шепотком...
Под столом гудят рыданья,
Кто-то пьет чужой ликер.
Примиренные лобзанья,
Брудершафты, спор и вздор...
Анекдоты, словоблудье,
Злая грязь циничных слов...
Кто-то плачет о безлюдье,
Кто-то врет: «Люблю жидов!»
Откровенность гнойным бредом
Густо хлещет из души...
Людоеды ль за обедом
Или просто апаши?
Где хмельная мощь момента?
В головах угарный шиш,
Сутенера от доцента
В этот миг не отличишь!

Не умеют пить в России!..
Под прибор пустых минут,
Как вздохмаченные Вии,
О д и н о ч к и — молча пьют.
Усмехаясь, вызывают
Все легенды прошлых лет
И, глумясь, их растлевают,
Словно тешась словом: «Нет!»
В перехваченную глотку,
Содрогаясь и давясь,
Льют безрадостную водку
И надежды топчут в грязь.
Сатанеют равнодушно,

Разговаривают с псом,
А в душе пестро и скучно
Черти ходят колесом.
Цель одна: скорей напиться...
Чтоб смотреть угрюмо в пол,
И, качаясь, колотиться
Головой о мокрый стол.

Не умеют пить в России!
Ну а как же надо пить?
Ах, взлохмаченные Вии...
Так же точно,— как любить!

〈1911〉

В ДЕТСКОЙ

— Сережа! Я прочел в папашинем труде,
Что плавает земля в воде,
Как клетка в миске супа...
Так в древности учил Фалес Милетский...
— И глупо! —
Уверенно в ответ раздался голос детский.
— Ученостью своей, Павлушка, не диви,
Не смыслит твой Фалес, как видно, ни бельмеса,
Мой дядя говорил,— а он умней Фалеса,
Что плавает земля... 7000 лет в крови!

〈1908〉

БОРЬБА

Сползаются тучи.
Все острее мечта о заре...
А они повторяют: «Чем хуже, тем лучше» —
И идут... в кабаре.

〈1911〉

АНЕМОНЫ

Сорвавши белые перчатки
И корчась в гуще жития,
Упорно правлю опечатки
В безумной книге бытия.

Увы, их с каждой мыслью больше:
Их так же трудно сосчитать,
Как блох в конце июля в Польше —
Поймал одну, а рядом пять...

Но всех больней одна кусает:
Весь смрадный мусор низких сил
Себя вовеки не узнает,
Ни здесь, ни в прочном сне могил!

Всю жизнь насилуя природу
И запятнав неправдой мир,
Они, тучнее год от году,
Как боги, кончат злой свой пир...

И, как лесные анемоны,
С невинным вздохом отойдут...
Вот мысль страшней лица Горгоны!
Вот вечной мести вечный спрут!

⟨1911⟩

БЕССМЕННЫЙ

Мой грозный шаг звенит в веках,
Мое копьё всегда готово,
В моих железных кулаках
Спит сила в холоде суровом.

Я с каждым годом все расту
На океанах и на суше,
Железным льдом сковал мечту
И мощью тела проклял души.

Не раз под ратный барабан
Я шел на окрик воеводин
Громить соседей-христиан
И воевать за Гроб Господень...

Мне все равно — Нерон иль Кир,
И кто враги — свои иль мавры...
Я ишагал весь божий мир
И, сея ужас, бил в литавры.

Сильнее правды и идей —
Мое копьё — всему развязка.
Стою бессменный средь людей,
А Вечный Мир далек, как сказка.

Мой грозный шаг звенит в веках...
В лицо земли вонзил я шпоры!
В моих железных кулаках
Все духи ящика Пандоры.

⟨1910⟩

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

Адам молчал, сурово, зло и гордо,
Спеша из рая, бледный, как стена.
Передник кожаный зажав в руке нетвердой,
По-детски плакала дрожащая жена...

За ними шло волнующейся лентой
Бесчисленное пестрое зверье:
Резвились юные, не чувствуя момента,
И нехотя плелось угрюмое старье.
Дородный бык мычал в недоуменье:
«Ярмо... Труд в поте морды... О, Эдем!
Я яблок ведь не ел от сотворенья,
И глупых фруктов я вообще не ем...»
Толстяк баран дрожал, тихонько бляя:
«Пойдет мой род на жертвы и в очаг!
А мы щипали мох на триста верст от змея
И сладкой кротостью дышал наш каждый шаг...»
Ржал вольный конь, страхась неволи вьючной,
Тоскливо мекала смиренная коза,
Рыдали раки горько и беззвучно,
И зайцы терли лапами глаза.
Но громче всех в тоске визжала кошка:
«За что должна я в муках чад рожать?!»
А крот вздыхал: «Ты маленькая сошка,
Твое ли дело, друг мой, рассуждать...»
Лишь обезьяны весело кричали,—
Почти все яблоки пожрав уже в раю,—
Бродяги верили, что будут без печали
Они их рвать — теперь в ином краю.
И хищники отчасти были рады:
Трава в раю была не по зубам!
Пусть впереди облавы и засады,
Но кровь и мясо, кровь и мясо там!..

Адам молчал, сурово, зло и гордо,
По-детски плакала дрожащая жена.
Зверье тревожно подымало морды.
Лил серый дождь, и даль была черна...

〈1910〉

НАСТРОЕНИЕ

«Sing, Seele, sing...» *

Dehmel

Ли-ли! В ушах поют весь день
Восторженные скрипки.
Веселый бес больную лень
Укачивает в зыбке.

Подняв уютный воротник
И буйный сдерживая крик,
По улицам шатаюсь
И дерзко ухмыляюсь.

Ли-ли! Мне скучно взрослым быть
Всю жизнь — до самой смерти.
И что-то нудное пилить
В общественном концерте.
Удрал куда-то дирижер,
Оркестр несет нестройный вздор —
Я ноты взял под мышку
И покидаю вышку...

Ли-ли! Пусть жизнь черна, как кокс,
Но смерть еще чернее!
Трепещет радость-парадокс,
Как губы Гименея...
Задорный бес толкает в бок:
Зайди в игрушечный ларек,
Купи себе пастушку,
Свистульку, дом и пушку...

Ли-ли! Фонарь!.. Имею честь —
Пройдись со мной в кадрили...
Увы! Фитиль и лампы есть,
А масло утащили.
Что делать с радостью моей
Среди кладбищенских огней?..

* «Пой, душа, пой». Демель (нем.).

Как мечь, она воскресла
И бьет, ликуя, в чресла!

Ли-ли! Вот рыженький студент
С серьезным выраженьем;
Позвольте, будущий доцент,
Позвать вас на рожденье!

Мы будем басом петь «Кармен»,
Есть мед, изюм и суп-жульен,
Пьянясь холодным пивом
В неведение счастливым...

Ли-ли! Боишься? Черт с тобой,
Проклятый рыжий штопор!
Растет несдержанный прибор,
Хочет радость в рупор:
Ха-ха! Как скучно взрослым быть,
По скучным улицам бродить,
Смотреть на скучных братьев,
И скуке мстить проклятьем!

<1910>

НА РАССТОЯНИИ

Друзья и родственники холодно молчат,
И девушки любимые не пишут...
Печальна жизнь покинутых галчат,
Которых ветер бросил через крышу,—
Еще печальнее нести из *poste-restante* *
В глазах усмешку, в сердце ураган.

Почтовый франт сквозь дырочку в окне
Косится на тебя с немим презреньем:
Как низко нужно пасть в своей стране,
Чтоб заслужить подобное забвенье!
За целый месяц только *carte-postale* **:
Внизу «поклон», а сверху — этуаль.

Противны горы, пальмы и маяк!
На языке вкус извести и серы.
Ужель все девушки вступили скопом в брак,
А все друзья погибли от холеры?!

* Почта до востребования (*фр.*).

** Почтовая открытка (*фр.*).

Иль, может быть, пронесся дикий слух,
Что я ограбил двух слепых старух?

Все может быть... У нас ведь всяким врачам
На расстоянье верят так легко.
Уехал — значит, шулер и собака...
Поди, доказывай, когда ты далеко!
А девушки любимые клюют
Все то, что под рукою, рядом, тут...

Особенно одно смешно и кисло знать:
Когда вернешься — вновь при свете лампы
Друзья сойдутся и начнут ругать
И наш и заграничные почтамты —
Окажется, что зверски все писали,
Но только письма, как всегда... пропали.

⟨1910⟩
Santa Margherita

БОЛЬНОМУ

Есть горячее солнце, наивные дети,
Драгоценная радость мелодий и книг.
Если нет — то ведь были, ведь были на свете
И Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Григ...

Есть незримое творчество в каждом мгновенье —
В умном слове, в улыбке, в сиянии глаз.
Будь творцом! Созидай золотые мгновенья.
В каждом дне есть раздумье и пряный экстаз...

Бесконечно позорно в припадке печали
Добровольно исчезнуть, как тень на стекле.
Разве Новые Встречи уже отсияли?
Разве только собаки живут на земле?

Если сам я угрюм, как голландская сажа
(Улыбнись, улыбнись на сравненье мое!),—
Это черный румянец — налет от дренажа,
Это Муза меня подняла на копые.

Подожди! Я сживусь со своим новосельем —
Как весенний скворец запою на копые!
Оглушу твои уши цыганским весельем!
Дай лишь срок разобраться в проклятом тряпье.

Оставайся! Так мало здесь чутких и честных...
Оставайся! Лишь в них оправданье земли.
Адресов я не знаю — ищи неизвестных,
Как и ты, неподвижно лежащих в пыли.

Если лучшие будут бросаться в пролеты,
Скиснет мир от бескрылых гиен и тупиц!
Полюби безотчетную радость полета...
Разверни свою душу до полных границ.

Будь женой или мужем, сестрой или братом,
Акушеркой, художником, нянькой, врачом,
Отдавай — и, дрожа, не тянись за возвратом.
Все сердца открываются этим ключом.

Есть еще острова одиночества мысли.
Будь умен и не бойся на них отдыхать.
Там обрывы над темной водою нависли —
Можешь думать... и камешки в воду бросать...

А вопросы... Вопросы не знают ответа —
Налетят, разожгут и умчатся, как корь.
Соломон нам оставил два мудрых совета:
Убегай от тоски и с глупцами не спорь.

Если сам я угрюм, как голландская сажа
(Улыбнись, улыбнись на сравнение мое!), —
Это черный румянец — налет от дренажа,
Это Муза меня подняла на копые.

<1910>

ПРИЗНАНИЕ

Какая радость — в бешенстве холодном
Метать в ничтожных греческий огонь
И обонять в азарте благородном
Горящих шкур дымящуюся вонь!

Но гарь от шкур и собственного сала
Ничтожных радует, как крепкий вкусный грог:
«В седьмой строке лишь рифма захромала,
А в двадцать третью втерся лишний слог...»

Цветам земли — невиннейшим и кротким —
Больней всего от этого огня...

Еще тесней встают перегородки,
Еще тусклей печальный трепет дня.

От этой мысли, черной и косматой,
Душа кричит, как пес под колесом!
Кричи, кричи!.. Ты так же виновата,
Как градовая туча над овсом...

⟨1910⟩

ВИЗИТ

Садик. День. Тупой, как тумба,
Гость — учитель Ферапонт.
Непреклоннее Колумба
Я смотрю на горизонт.

Тускло льются переливы.
Гость рассказывает вслух
По последней книжке «Нивы»
Повесть Гнедича «Петух».

Говори... Чрез три недели
Сяду в поезд... Да, да, да! —
И от этой канители
Не останется следа.

Садик. Вечер. Дождик. Клумба.
Гость уполз, раскрывши зонт.
Непреклоннее Колумба
Я смотрю на горизонт.

〈〈1911〉〉
〈1922〉
Кривцово

РОЖДЕНИЕ ФУТУРИЗМА

Художник в парусиновых штанах,
Однажды сев случайно на палитру,
Вскочил и заметался впопыхах:
«Где скипидар?! Давай,— скорее вытру!»

Но рассмотревши радужный каскад
Он в трансе творческой интуитивной дрожи
Из парусины вырезал квадрат
И... учредил салон «Ослиной Кожи».

〈1912〉

Если при столкновении книги с
головой раздастся пустой звук,— то
всегда ли виновата книга?

Георг Лихтенберг

Книжный клоп, давясь от злобы,
Раз устроил мне скандал:
«Ненавидеть — очень скверно!
Кто не любит,— тот шакал!
Я тебя не утверждаю!
Ты ничтожный моветон!
Со страниц литературы
Убирайся к черту вон!»

Пеплом голову посыпав,
Побледнел я, как яйцо,
Проглотил семь ложек брому
И закрыл плащом лицо.
Честь и слава — все погибло!
Волчий паспорт навсегда...
Ах, зачем я был злодеем
Без любви и без стыда!

Но в окно вспорхнула Муза
И шепнула: Лазарь, встань!
Прокурор твой слеп и жалок,
Как протухшая тарань...
Кто не глух, тот сам расслышит,
Сам расслышит вновь и вновь,
Что под ненавистью дышит
Оскорбленная любовь.

⟨1922⟩

ТРАГЕДИЯ

Я пришел к художнику Миноге —
Он лежал на низенькой тахте
И, задравши вверх босые ноги,
Что-то мазал кистью на холсте.

Испугавшись, я спросил смущенно:
«Что с тобой, maestro? Болен? Пьян?»

Но Минога гаркнул раздраженно,
Гениально сплюнув на диван:

— Обыватель с заячьей душою!
Я открыл в искусстве новый путь,—
Я теперь пишу босой ногою...
Все, что было,— пошлость, ложь и муть.

— Футуризм стал ясен всем прохожим.
Дальше было некуда леветь...
Я нашел! — и он, привстав над ложем,
Ногу с кистью опустил, как плеть.

Подстеливши на пол покрывало,
Я колено робко преклонил
И, косясь на лоб микрокефала,
Умиленным шепотом спросил:

«О Минога, друг мой, неужели? —
Я себя ударил гулко в грудь,—
Но, увы, чрез две иль три недели
Не состарится ль опять твой новый путь?»

И Минога тоном погребальным
Пробурчал, вздыхая, как медведь:
«Н-да-с... Извольте быть тут гениальным!...
Как же, к черту, дальше мне леветь?!»

<1922>

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕТРАРКА

Говорите ль вы о Шелли, иль о ценах на дрова,
У меня, как в карусели, томно никнет голова,
И под смокингом налево жжет такой глухой тоской,
Словно вы мне сжали сердце теплой матовой рукой...

Я застенчив, как мимоза, осторожен, как газель,
И намека, в скромной позе, жду уж целых пять недель.
Ошибиться так нетрудно,— черт вас, женщин, разберет,
И глаза невольно тухнут, стынут пальцы, вянет рот.

Но влачится час за часом, мутный голод все острее,—
Так сто лет еще без мяса настоишься у дверей.
Я нашел такое средство — больше ждаты я не хочу:
Нынче в семь, звеня браслетом, эти строки вам вручу...

Ваши пальцы будут эхом, если вздрогнут, и листок
Забелеет в рысьем мехе у упругих ваших ног,—
Я богат, как двадцать Крезов, я блажен, как царь Давид,
Я прощу всем рецензентам сорок тысяч их обид!

Если ж с миною кассирши вы решитесь молча встать —
И вернете эти вирши с равнодушным баллом «пять»,—
Я шутил! Шутил — и только, отвергаю сладкий плен...
Ведь фантазия поэта, как испанский гобелен!

Пафос мой мгновенно скиснет,— а стихи... пошлю в журнал,
Где наборщик их оттиснет под статью «Наш развал»,
Почтальон через неделю принесет мне гонорар
И напьюсь я, как под праздник напивается швейцар!..

<1922>

* * *

Безглазые глаза надменных дураков,
Куриный кодекс модных предрассудков,
Рычание озлобленных ублюдков
И наглый лязг очередных оков...
А рядом, словно окна в синий мир,
Сверкают факелы безумного Искусства:
Сияет правда, пламенеет чувство,
И мысль справляет утонченный пир.

Любой пигмей, слепой, бескрылый крот,
Вползает к Аполлону, как в пивную,—
Нагнет, икая, голову тупую
И сладостный нектар, как пиво, пьет.
Изучен Дант до неоконченной строфы,
Кишат концерты толпами прохожих,
Бездарно и безрадостно похожих,
Как несгораемые тусклые шкафы...

Вы, гении, живущие в веках,
Чьи имена наборщик знает каждый,
Заложники бессмертной вечной жажды,
Скопившие всю боль в своих сердцах!

Вы все — единой Дон-Кихотской расы —
И ваши дерзкие, святые голоса
Все также тщетно рвутся в небеса
И вновь, как встарь, вам рукоплещут папуасы...

<1922>

* * *

Лучше встретить человеку медведицу,
лишенную детей, нежели глупца
с его глупостью.

(Кн. притч Соломоновых, гл. 15—17)

Пред каждым дураком душа пылает гневом.
Вот он — чудовище, владыка бытия!
Проклятый граммофон с затасканным напевом,
Безглазый судия...

В любой квартире, развалясь беспечно,
Он в сердце истины вбивает грубый кол —
И вежливо в ответ мычишь: «Да-да, конечно...»
А в горле вопль: «Осел!»

В искусстве — прокурор, все смял он, кроме моды,
В быту — надменный крот, обрел все «нет» и «да»,
И, словно саранча, зудит в садах природы
Бессчетные года!

Рак человечества, вовек неизлечимый,—
Лишь он блажен в житейском кабаре.
Стучится в дверь. Кипишь непримиримый,—
И говоришь: «Entrez!» *

<1922>

* «Войдите!» (фр.)

ГОРЬКИЙ МЕД

* * *

Любовь должна быть счастливой —
Это право любви.
Любовь должна быть красивой —
Это мудрость любви.
Где ты видел такую любовь?
У господ писарей генерального штаба?
На эстраде,— где бритый тенор,
Прижимая к манишке перчатку,
Взбивает сладкие сливки
Из любви, соловья и луны?
В лирических строчках поэтов,
Где любовь рифмуется с кровью
И почти всегда голодна?

К ногам Прекрасной Любви
Кладу этот жалкий венок из полыни,
Которая сорвана мной в ее опустелых садах...

<1911>

ТАК СЕБЕ

Тридцать верст отшагав по квартире,
От усталости плечи горбя,
Бледный взрослый увидел себя
Бесконечно затерянным в мире.
 Перебрал всех знакомых, вздохнул
 И поплелся, покорный, как мул.

На углу покачался на месте
И нырнул в темный ящик двора.
Там жила та, с которою вместе
Он не раз убивал вечера.
 Даже дружба меж ними была —
 Так знакомая близко жила.

Он застал ее снова не в духе.
Свесив ноги, брезгливо-скучна,
И, крутя зубочисткою в ухе,
В оттоманку вдавилась она.
 И белели сквозь дымку зефира
 Складки томно-ленивого жира.

Мировые проблемы решая,
Заскулил он, шагая, пред ней,
А она потянулась, зевая,
Так что бок обтянулся сильнее —
И, хребет выгибая дугой,
По ковру застучала ногой.

Сел. На плотные ноги сурово
Покосился и гордо затих.
Сколько раз он давал себе слово
Не решать с ней проблем мировых!
Отмахнул горьких дум вереницу
И взглянул на ее поясицу.

Засмотрелся с тупым любопытством,
Поперхнулся и жадно вздохнул,
Вдруг зарделся и с буйным бесстыдством
Всю ее, как дикарь, оглянул.
В сердце вгрызлись голодные волки,
По спине заплясали иголки.

Обернулась, зевая, сирена
И невольно открыла зрачки:
Любопытство и дерзость мгновенно
Сплин и волю схватили в тиски,
В сердце вгрызлись голодные шуки,
И призывно раскинулись руки...

Воротник поправляя измятый,
Содрогаясь, печален и тих,
В дверь, потупясь, шмыгнул воровато
Разрешитель проблем мировых.
На диване брезгливо-скучна,
В потолок засмотрелась она.

<1911>

АМУР И ПСИХЕЯ

Пришла блондинка-девушка в военный лазарет,
Спросила у привратника: «Где здесь Петров, корнет?»

Взбежал солдат по лестнице, оправивши шинель:
«Их благородье требует какая-то мамзель».

Корнет уводит девушку в пустынный коридор,
Не видя глаз, на грудь ее уставился в упор.

Краснея, гладит девушка смешной его халат.
Зловонье, гам и шарканье несется из палат.

«Прошел ли скверный кашель твой? Гуляешь или нет?
Я, видишь, принесла тебе малиновый шербет...»

«Merci. Пустяк, покашляю недельки три еще». —
И больно щиплет девушку за нежное плечо.

Невольно отодвинулась и, словно в первый раз,
Глядит до боли ласково в зрачки красивых глаз.

Корнет свистит и сердится. И скучно и смешно!
По коридору шляются — и не совсем темно...

Сказал блондинке-девушке, что ужинать пора,
И проводил смущенную в молчанье до двора...

В палате венерической бушует зычный смех,
Корнет с шербетом носится и оделяет всех.

Друзья по койкам хлопают корнета по плечу,
Смеясь, грозят, что завтра же расскажут все врачу.

Растут предположения, растет басистый вой,
И гордо в подтверждение кивнул он головой...

Идет блондинка-девушка вдоль лазаретных ив,
Из глаз лучится преданность, и вера, и порыв.

Несет блондинка-девушка в свой дом свой первый сон:
В груди зарю желания, в ушах победный звон.

⟨1910⟩

СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ

I

Окруженный кучей бланков,
Пожилой конторщик Банков
Мрачно курит и косится
На соседний страшный стол.

На занятиях вечерних
Он вчера к девице Керних,
Как всегда, пошел за справкой
О варшавских накладных —

И, склонясь к ее затылку,
Неожиданно и пылко
Под лихие завитушки
Вдруг ее поцеловал.

Комбинируя события,
Дева Керних с вялой прытью
Кое-как облобызала
Галстук, баки и усы.

Не нашелся бедный Банков,
Отошел к охапкам бланков
И, куря, сводил балансы
До ухода, как немой.

II

Ах, вчера не сладко было!
Но сегодня, как могила,
Мрачен Банков и косится
На соседний страшный стол.

Но спокойна дева Керних:
На занятиях вечерних
Под лихие завитушки
Не ее ль он целовал?

Подошла, как по наитью,
И, муссируя событие,
Села рядом и солидно
Зашептала, не спеша:

«Мой оклад полсотни в месяц,
Ваш оклад полсотни в месяц,—
На сто в месяц в Петербурге
Можно очень мило жить.

Наградные и прибавки
Я считаю на булавки,
На Народный Дом и пиво,
На прислугу и табак».

Улыбнулся мрачный Банков —
На одном из старых бланков
Быстро свел бюджет их общий
И невесту ущипнул.

Так Петр Банков с Кларой Керних
На занятиях вечерних,
Экономией прельстившись,
Обручились в добрый час.

III

Проползло четыре года.
Три у Банковых уroda
Родилось за это время
Неизвестно для чего.

Недоношенный четвертый
Стал добычей аборта,
Так как муж прибавки новой
К Рождеству не получил.

Время шло. В углу гостиной
Завелось уже пьянино
И в большом недоуменье
Мирно спало под ключом.

На стенах висел сам Банков,
Достоевский и испанка.
Две искусственные пальмы
Скучно сохли по углам.

Сотни лиц различной масти
Называли это счастьем...
Сотни с завистью открытой
Повторяли это вслух!

* * *

Это ново? Так же ново,
Как фамилия Попова,
Как холера и проказа,
Как чума и плач детей.
Для чего же повесть эту
Рассказал ты снова свету?
Оттого лишь, что на свете
Нет страшнее ничего...

<1911>

НАКОНЕЦ!

В городской суматохе
Встретились двое.
Надоели обои,
Неуклюжие споры с собою,
И бесплодные вздохи
О том, что случилось когда-то...

В час заката,
Весной, в зеленеющем сквере,
Как безгрешные звери,
Забыв осторожность, тоску и потери,
Потянулись друг к другу легко, безотчетно и чисто.
Не речисты
Были их встречи и кротки.
Целомудренно-чутко молчали,
Не веря и веря находке,
Смотрели друг другу в глаза,
Друг на друга надели растоптанный старый венец
И, не веря и веря, шептали:
«Наконец!»

Две недели тянулся роман.
Конечно, они целовались.
Конечно, он, как болван,
Носил ей какие-то книги —
Пудами.
Конечно, прекрасные миги
Казались годами,
А старые скверные годы куда-то ушли.
Потом
Она укатила в деревню, в родительский дом,
А он в переулке своем
На лето остался.

Странички первого письма
Прочел он тридцать раз.
В них были целые тома
Нестройных жарких фраз...
Что сладость лучшего вина,
Когда оно не здесь?
Но он глотал, пьянел до дна
И отдавался весь.
Низал в письме из разных мест
Алмазы нежных слов
И набросал в один присест
Четырнадцать листков.

Ее второе письмо было гораздо короче,
И были в нем повторения, стиль и вода,
Но он читал, с трудом вспоминал ее очи,
И, себя утешая, шептал: «Не беда, не беда!»
Послал «ответ», в котором невольно и вольно
Причесал свои настроенья и тонко подвил,
Писал два часа и вздохнул легко и довольно,
Когда он в ящик письмо опустил.

На двух страничках третьего письма
Чужая женщина описывала вяло:
Жару, купанье, дождь, болезнь мамá,
И все это «на ты», как и сначала...
В ее уме с досадой усомнясь,
Но в смутной жажде их осенней встречи,
Он отвечал ей глухо и томясь,
Скрывая злость и истину калеча.
Четвертое письмо не приходило долго.
И наконец пришла «с приветом» *carte postale* *,
Написанная лишь из чувства долга...
Он не ответил. Конечно? Едва ль...

Не любя, он осенью, волнуясь,
В адресном столе томился много раз.
Прибегал, невольно повинуюсь
Зову позабытых темно-серых глаз...
Прибегал, чтоб снова суррогатом рая
Напоить тупую скуку, стыд и боль,
Горечь лета кое-как прощая
И опять входя в былую роль.
День, когда ему на бланке написали,
Где она живет, был трудный, нудный день —
Чистил зубы, ногти, а в душе кричали
Любопытство, радость и глухой подъем...
В семь он, задыхаясь, постучался в двери
И вошел, шатаясь, не любя и злясь,
А она стояла, прислонясь к портьеру,
И ждала, не веря, и звала, смеясь.
Через пять минут безумно целовались,
Снова засиял растоптанный венец,
И глаза невольно закрывались,
Прочитав в других немое: «Наконец!..»

<1911>

* Почтовая открытка (*фр.*).

ХЛЕБ

(Роман)

Мечтают двое...
Мерцает свечка.
Трещат обои.
Потухла печка.

Молчат и ходят...
Снег бьет в окошко,
Часы выводят
Свою дорожку.

«Как жизнь прекрасна
С тобой в союзе!»
Рычит он страстно,
Копаясь в блузе.

«Прекрасней рая...»
Она взглянула
На стол без чая,
На дырки стула.

Ложатся двое...
Танцуют зубы.
Трещат обои
И воют трубы.

Вдруг в двери третий
Ворвался с плясом —
Принес в пакете
Вино и мясо.

«Вставайте, черти!
У подворотни
Нашел в конверте
Четыре сотни!!»

Ликуют трое.
Жуют, смеются.
Трещат обои,
И тени вьются...

Прощаясь, третий
Так осторожно
Шепнул ей: «Кэти!
Теперь ведь можно?»

Ушел. В смущенье
Она метнулась,
Скользнула в сени
И не вернулась...

Улегся сытый.
Зевнул блаженно
И, как убитый,
Заснул мгновенно.

⟨1910⟩

ОШИБКА

Это было в провинции, в страшной глуши.
Я имел для души
Дантистку с телом белее известки и мела,
А для тела —
Модистку с удивительно нежной душой.

Десять лет пролетело.
Теперь я большой...
Так мне горько и стыдно
И жестоко обидно:
Ах, зачем прозевал я в дантистке
Прекрасное тело,
А в модистке
Удивительно нежную душу!

Так всегда:
Десять лет надо скучно прожить,
Чтоб понять иногда,
Что водой можно жажду свою утолить,
А прекрасные розы для носа.

О, я продал бы книги свои и жилет
(Весною они не нужны)
И под свежим дыханьем весны
Купил бы билет
И поехал в провинцию, в страшную глушь...
Но, увы!

Ехидный рассудок уверенно каркает: «Чушь!
Не спеши —
У дантистки твоей,
У модистки твоей
Нет ни тела уже, ни души».

⟨1910⟩

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

(Для мужского голоса)

Мать уехала в Париж...
И не надо! Спи, мой чиж.
А-а-а! Молчи, мой сын,
Нет последствий без причин.

Черный гладкий таракан
Важно лезет под диван.
От него жена в Париж
Не сбежит, о нет, шалишь!

С нами скучно. Мать права.
Н о в ы й гладок, как Бова,
Н о в ы й гладок и богат.
С ним не скучно... Так-то, брат!

А-а-а! Огонь горит.
Добрый снег окно пушит.
Спи, мой кролик, а-а-а!
Все на свете трын-трава...

Жили-были два крота...
Вынь-ка ножку изо рта!
Спи, мой зайчик, спи, мой чиж,—
Мать уехала в Париж.

Чей ты? Мой или его?
Спи, мой мальчик, ничего!
Не смотри в мои глаза...
Жили козлик и коза...

Кот козу увез в Париж...
Спи, мой котик, спи, мой чиж!
Через... год... вернется... мать...
Сына нового рожать...

⟨1910⟩

«ДУРАК»

Под липой пение ос.
Юная мать, пышная мать
В короне из желтых волос,

С глазами святой,
Пришла в тени почитать —
Но книжка в крапиве густой...

Трехлетняя дочь
Упрямо
Тянет чужого верзилу: «Прочь!
Не смей целовать мою маму!»
Семиклассник не слышит,
Прилип, как полип,
Тонет, трясется и пышет.
В смущенье и гнев
Мать наклонилась за книжкой:
«Мальчишка!
При Еве!»
Встала, поправила складку
И дочке дала шоколадку.

Сладостен первый капкан!
Три блаженных недели,
Скрывая от всех, как артист,
Носил гимназист в проснувшемся теле
Эдем и вулкан.
Не веря губам и зубам,
До боли счастливый,
Впивался при лунном разливе
В полные губы...
Гигантские трубы,
Ликуя, звенели в висках,
Сердце, в горячих тисках,
Толкаясь о складки тужурки,
Играло с хозяином в жмурки,—
Но ясно и чисто
Горели глаза гимназиста.

Вот и развязка:
Юная мать, пышная мать
Садится с дочкой в коляску —
Уезжает к какому-то мужу.
Склонилась мучительно близко,
В глазах улыбка и стужа,
Из ладони белеет наружу —
Записка!

Под крышей, пластом,
Семиклассник лежит на диване
Вниз животом.
В тумане,

Пунцовый, как мак,
Читает в шестнадцатый раз
Одинокое слово: «Дурак!»
И искры сверкают из глаз
Решительно, гордо и грозно.
Но поздно...

⟨1911⟩

ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА

(Повесть)

Арон Фарфурник застукал наследницу дочку
С голодранцем студентом Эпштейном:
Они целовались! Под сливой у старых качелей.
Арон, выгоняя Эпштейна, измял ему страшно сорочку,
Дочку запер в кладовку и долго сопел над бассейном,
Где плавали красные рыбки: «Несчастный капкан!»

Что было! Эпштейна чуть-чуть не съели собаки,
Madame иссморкала от горя четыре платка,
А бурный Фарфурник разбил фамильный поднос.
На утро очнулся. Разгладил бобровые баки,
Сел с женой на диван, втиснул руки в бока
И позвал от слез опухшую дочку.

Пилили, пилили, пилили, но дочка стояла, как идол,
Смотрела в окно и скрипела, как злой попугай:
«Хочу за Эпштейна». — «Молчать!!!» — «Хо-чу за Эпштейна».
Фарфурник подумал... вздохнул. Ни словом решенья не выдал,
Послал куда-то прислугу, а сам, как бугай,
Уставился тяжело в ковер. Дочку заперли в спальне.

Эпштейн-голодранец откликнулся быстро на зов:
Пришел, негодяй, закурил и расселся, как дома.
Madame огорченно сморкается в пятый платок.
Ой, сколько она наплела удручающих слов:
«Сибирщик! Босяк! Лапацон! Свиная трахома!
Провокатор невиннейшей девушки, чистой, как мак!..»

«Ша... — начал Фарфурник. — Скажите, могли бы ли вы
Купить моей дочке хоть зонтик на ваши несчастные средства?
Галошу одну могли бы ли вы ей купить?!»
Зажглись в глазах у Эпштейна зловещие львы:
«Купить бы купил, да никто не оставил наследства...»
Со стенки папаша Фарфурника строго косится.

«Ага, молодой человек! Но я не нуждаюсь! Пусть так.
Кончайте ваш курс, положите диплом на столе и венчайтесь —
Я тоже имею в груди не лягушку, а сердце...
Пускай хоть за утку выходит — лишь был бы счастливый
ваш брак,
Но раньше диплома, пусть гром вас убьет, не встречайтесь,
Иначе я вам сломаю все руки и ноги!»

«Да, да...— сказала madame.— В дворянской бане во вторник
Уже намекали довольно прозрачно про вас и про Розу —
Их счастье, что я из-за пара не видела кто!»
Эпштейн поклялся, что будет жить, как затворник,
Учел про себя Фарфурника злую угрозу
И вышел, взволнованным ухом ловя рыданья из спальни.

Вечером, вечером сторож бил
В колотушку, что есть силы!
Как шакал, Эпштейн бродил
Под окошком Розы милой.
Лампа погасла, всхлипнуло окошко,
В раме — белое, нежное пятно.
Полез Эпштейн — любовь не картошка:
Гоните в дверь, ворвется в окно.
Заперли, заперли крепко двери,
Задвинули шкафом, чтоб было верней.
Эпштейн наклонился к Фарфурника дщери
И мучит губы больней и больней...
Ждать ли, ждать ли три года диплома?
Роза цветет — Эпштейн не дурак:
Соперник Поплавский имеет три дома
И тоже питает надежду на брак...

За дверью Фарфурник, уткнувшись в подушку,
Храпит баритоном, жена — дискантом.
Раскатисто сторож бубнит в колотушку,
И ночь неслышно обходит дом.

⟨1910⟩

В БАШКИРСКОЙ ДЕРЕВНЕ

За тяжелым гусем старшим
Вперевалку тихим маршем
Гуси шли, как полк солдат.

Овцы густо напылили,
И сквозь клубы серой пыли
Пламенел густой закат.

А за овцами коровы,
Тучногруды и суровы,
Шли, мыча, плечо с плечом.

На веселой лошаденке
Башкиренок щелкал звонко
Здоровеннейшим бичом.

Козы мекали трусливо
И щипали торопливо
Свежий ивовый плетень.

У плетня на старой балке
Восемь штук сидят, как галки,—
Исхудалые, как тень.

Восемь штук туберкулезных,
Совершенно не серьезных,
Ржут, друг друга тормоша.

И башкир, хозяин старый,
На раздольный звон гитары
Шепчет: «Больно караша!»

Вкруг сгрудились башкирята.
Любопытно, как телята,
В городских гостей впились.

В стороне худая дева
С волосами королевы
Удивленно смотрит ввысь.

Перед ней туберкулезный
Жадно тянет дух навозный
И, ликуя, говорит —

О закатно-алой тризне,
О значительности жизни,
Об огне ее ланит.

«Господа, пора ложиться,—
Над рекой туман клубится». —
«До свиданья!» «До утра!»

Потонули в переулке
Шум шагов и хохот гулкий...
Вечер канул в вечера.

А в избе у самовара
Та же пламенная пара
Замечталась у окна.

Пахнет йодом, мятой, спиртом,
И, смеясь над бедным флиртом,
В стекла тянется луна.

⟨1910⟩

ПРЕКРАСНЫЙ ИОСИФ

Томясь, я сидел в уголке,
Опрыскан душистым горошком.
Под белую ночь в тоске
Стыл черный канал за окошком.

Диван, и рояль, и бюро
Мне стали так близки в мгновенье,
Как сердце мое и бедро,
Как руки мои и колени.

Особенно стала близка
Владелица комнаты Алла...
Какие глаза, и бока,
И голос... как нежное жало!

Она целовала меня,
И я ее тоже — обратно,
Следя за собой, как змея,
Насколько мне было приятно.

Приятно ли также и ей?
Как долго возможно лобзаться?
И в комнате стало белей,
Пока я успел разобраться.

За стенкою сдержанный бас
Ворчал, что его разбудили.
Фитиль нагадил и погас.
Минуты безумно спешили...

На узком диване крутом
(Как тело горело и ныло!)
Шептался я с Аллой о том,
Что будет, что есть и что было.

Имеем ли право любить?
Имеем ли общие цели?
Быть может, случайная прыть
Связала нас на две недели.

Потом я чертил в тишине
По милому бюсту орнамент,
А Алла нагнулась ко мне:
«Большой ли у вас темперамент?»

Я вспыхнул и спрятал глаза
В шуршащие мягкие складки,
Согнулся, как в бурю лоза,
И долго дрожал в лихорадке.

«Страсть — темная яма... За мной
Второй вас захватит и третий...
При том же от страсти шальной
Нередко рождаются дети.

Сумеем ли их воспитать?
Ведь лишних и так миллионы...
Не знаю, какая вы мать,
Быть может, вы вовсе не склонны?..»

Я долго еще тархтел,
Но Алла молчала устало.
Потом я бессмысленно ел
Пирог и полтавское сало.

Ел шпроты, редиску и кекс
И думал бессильно и злобно,
Пока не шепнул мне рефлекс,
Что дольше сидеть неудобно.

Прощался... В тоске целовал,
И было все мало и мало.
Но Алла смотрела в канал
Брезгливо, и гордо, и вяло.

Извозчик попался плохой.
Замучил меня разговором.

Слепой, и немой, и глухой,
Блуждал я растерянным взором

По мертвой и новой Неве,
По мертвым и новым строениям,—
И было темно в голове,—
И в сердце росло сожаленье...

«Извозчик, скорее назад!» —
Сказал, но в испуге жестоком
Я слез и пошел наугад
Под белым молчаньем глубоким.

Горели уже облака...
И солнце уже вылезало.
Как тупо влезало в бока
Смертельно щемящее жало!

<1910>

ГОРОДСКОЙ РОМАНС

Над крышей гудят провода телефона...
Довольно бессмысленный шум!
Сегодня опять не пришла моя донна,
Другой не завел я — ворона, ворона!
Сижу одинок и угрюм.

А так соблазнительно в теплые лапки
Уткнуться губами, дрожа,
И слушать, как шелково-мягкие тряпки
Шуршат, словно листьев осенних охапки
Под мягкой рысью ежа.

Одна ли, другая — не все ли равно ли?
В ладонях утонут зрачки —
Нет Гали, ни Нелли, ни Мили, ни Оли,
Лишь теплые лапки и ласковость боли
И сердца глухие толчки...

<1910>

В АЛЕКСАНДРОВСКОМ САДУ

На скамейке в Александровском саду
Котелок склонился к шляпке с какаду:
«Значит, в десять? Меблированные «Русь»...
Шляпка вздрогнула и пискнула: «Боюсь».

«Ничего, моя хорошая, не трусь,
Я ведь в случае чего-нибудь женюсь!»
Засерели злые сумерки в саду —
Шляпка вздрогнула и пискнула: «Приду».

Мимо шлялись пары пресных обезьян
И почти у каждой пары был роман...
Падал дождь. Мелькали сотни грязных ног.
Выл мальчишка со шнурками для сапог.

⟨1911⟩

НА НЕВСКОМ НОЧЬЮ

Темно под арками Казанского собора.
Привычной грязью скрыты небеса.
На тротуаре в вялой вспышке спора
Хрипят ночных красавиц голоса.

Спят магазины, стены и ворота.
Чума любви в накрашенных бровях
Напомнила прохожему кого-то,
Давно истлевшего в покинутых краях...

Недолгий торг окончен торопливо —
Вон на извозчике любовная чета:
Он жадно курит, а она гнусит.

Проплыл городской, зевающий тоскливо,
Проплыл фонарь пустынного моста,
И дева пьяная вдогонку им свистит.

⟨1911⟩

KINDERBALSAM

Высоко над Гейдельбергом,
В тихом горном пансионе,
Я живу, как институтка,
Благородно и легко.

С «Голубым Крестом» в союзе
Здесь воюют с алкоголем,—
Я же, ради дешевизны,
Им сочувствую вполне.

Ранним утром три служанки
И хозяйин и хозяйка
Мучат Господа псалмами
С фисгармонией не в тон.

После пения хозяйин
Кормит кроликов умильно,
А по пятницам их режет
Под навесом у стены.

Перед кофе не гнусят,
Но зато перед обедом
Снова Бога обижают
Сквернопением в стихах.

На листах вдоль стен столовой
Пламенеют почки пьяниц,
И сердца их и печенки...
Даже портят аппетит!

Но, привыкнув постепенно,
Я смотрю на них с любовью,
С глубочайшим уваженьем
И с сочувственной тоской...

Суп с крыжовником ужасен,
Вермишель с сиропом — тоже,
Но чернила с рыбьим жиром
Всех напитков их вкусней!

Здесь поят сырой водою,
Молочком, цикорным кофе,
И кощунственным отваром
Из овса и ячменя.

О, когда на райских клумбах
Подают такую гадость,—
Лучше жидкое железо
Пить с блудницами в аду!

Иногда спускаюсь в город.
Надуваюсь бодрым пивом
И ехидно подымаюсь
Слушать пресные псалмы.

Горячо и запинаясь,
Восхищаюсь их Вильгельмом,—
А печенки грешных пьяниц
Мне моргают со стены...

Так, над тихим Гейдельбергом
В тихом горном пансионе,
Я живу, как римский папа,
Свято, праздно и легко.

Вот сейчас я влез в перину
И смотрю в карниз, как ангел:
В чреве томно стонет солод
И бульбулькает вода.

Чу, внизу опять гнусавят.
Всем друзьям и незнакомым,
Мошкам, птичкам и собачкам
Отпускаю все грехи...

⟨1910⟩

НЕМЕЦКИЙ ЛЕС

Улитки гуляют с улитками
По прилизанной ровной дорожке,
Автомат с шоколадными плитками
Прислонился к швейцарской сторожке.

Солидно стоит под осиною
Корзинка для рваной бумаги,

Но, смеясь над немецкой рутинною,
В беспорядке сбегают овраги.

Воробьи сидят на орешнике,
Соловьи на толстых каштанах,
Только вороны, старые грешники,
На березах, дубах и платанах.

Сладок запах от лип расцветающих!
Но под липами желтые столики —
Запах шницеля тянет гуляющих
В ресторацию «Синего Кролика».

Возле башни палатка с открытками:
Бюст со спицами спит над салфеткой.
И опять с шоколадными плитками
Автомат под дубовую веткой.

Через метр скамейки со спинками,
С краткой надписью: «Только для взрослых».
Хорошо б «для блондинов с блондинками»,
«Для высоких» — «худых» — «низкорослых»...

Миловидного стиля уборная
«Для мужчин» и «для дам». А для галок?
На орешнике надпись узорная:
«Не ломать утесов и палок».

Не заблудишься! Стрелки торчащие
Тянут кверху, и книзу, и в стороны.
О, свободно над лесом парящие
Бездорожные старые вороны!..

Озираясь, блудливой походкою,
Влез я в чащу с азартом мальчишки.
Потихоньку пошаркал подметкою
И сорвал две еловые шишки.

⟨1910⟩

КАК ФРАНЦЫ ГУЛЯЮТ

Набив закусками вощеную бумагу,
Повесивши на палки пиджаки,
Гигиеническим, упорно мерным шагом
Идут гулять немецкие быки.

Идут за полной порцией природы:
До горной башни «с видом» и назад,
А рядом их почтенные комоды
Подоткнутыми юбками шумят.

Увидят виллу с вычурной верандой,
Скалу, фонтан иль шпица в кружевах —
Откроют рты и, словно по команде,
Остановясь, протянут сладко: «Ах!»

Влюбленные, напыживши ланиты,
Волочат раскрахмаленных лангуст
И выражают чувство деловито
Давлением локтей под потный бюст.

Мальчишки в галстучках, сверкая гляncем ваксы,
Ведут сестер с платочками в руках.
Все тут: сознательно гуляющие таксы
И сосуны с рожками на шнурках.

Идет ферейн «Любителей прогулок»,
Под жидкий марш откалывая шаг.
Десятков семь орущих, красных булок,
Значки, мешки и посредине флаг.

Деревья ропщут. Мягко и лениво
Смеется в небе белый хоровод,
А на горе ждет двадцать бочек пива
И с колбасой и хлебом — пять подвод!

<1910>

В НЕМЕЦКОЙ МЕККЕ

I. ДОМ ШИЛЛЕРА

Немцы надышали в крошечном покое.
Плотные блондины смотрят сквозь очки.
Под стеклом в витринах тлеют на покое
Бедные бессмертные клочки.

Грозный бюст из гипса белыми очами
Гордо и мертво косится на толпу,
Стены пропитались вздорными речами —
Улица прошла сквозь львиную тропу...

Смотрят с каталогом на его перчатки...
На стенах портретов мертвое клише,
У окна желтеет жесткою загадкой
Гениальный череп из папье-маше.

В угловом покое тихо и пустынно
(Немцам интересней шиллеровский хлам):
Здесь шагал титан по клетке трехаршинной
И скользил глазами по углам.

Нищенское ложе с рваным одеялом.
Ветхих, серых книжек бесполезный ряд.
Дряхлые портьеры прахом обветшалым
Ключьями над окнами висят.

У стены грустят немые клавикорды.
Спит рабочий стол с чернильницей пустой.
Больше никогда поющие аккорды
Не родят мечты свободной и простой...

Дочь привратницы с ужасною экземой
Ходит следом, улыбаясь, как Пьеро.
Над какую новую поэмой
Брошено его гусиное перо?

Здесь писал и умер Фридрих Шиллер...
Я купил открытку и спустился вниз.
У входных дверей какой-то толстый Миллер
В книгу заносил свой титул и девиз...

II. ДОМ ГЕТЕ

Кто здесь жил — камергер, Дон Жуан иль патриций,
Антикварий, художник, сухой лаборант?
В каждой мелочи чванство вельможных традиций
И огромный, пытливый и зоркий талант.

Ордена, письма герцогов, перстни, фигуры,
Табакерки, дипломы, печати, часы,
Акварели и гипсы, полотна, гравюры,
Минералы и колбы, таблицы, весы...

Маска Данте, Тарквиний и древние боги,
Бюстов герцогов с женами — целый лабаз.
Со звездой, и в халате, и в лаврах, и в тоге —
Снова Гете и Гете — с мешками у глаз.

Силуэты изысканно-томных любовниц,
Сувениры и письма, сухие цветы —
Все открыто для праздных входящих коровниц
До последней интимно-пугливой черты.

Вот за стеклами шкафа опять панорама:
Шарф, жилеты и туфли, халат и штаны.
Где же локон Самсона и череп Адама,
Глаз Медузы и пух из крыла Сатаны?

В кабинете уютно, просторно и просто,
Мудрый Гете сюда убежал от вещей,
От приемов, улыбок, приветствий и тостов,
От случайных назойливо-цепких клещей.

В тесной спальне кресло, лекарство и чашка.
«Б о л ь ш е с в е т а!» В ответ, наклонившись к нему,
Смерть, смеясь, на глаза положила костяшки
И шепнула: «Довольно! Пожалуйте в тьму...»

В коридоре я замер в смертельной тревоге —
Бледный Пушкин, как тень, у окна пролетел
И вздохнул: «Замечательный домик, ей-богу!
В Петербурге такого бы ты не имел...»

III. НА МОГИЛАХ

Гете и Шиллер на мыле и пряжках,
На бутылочных пробках,
На сигарных коробках
И на подтяжках...
Кроме того — на каждом предмете:
Их покровители,
Тетки, родители,
Внуки и дети.

Мещане торгуют титанами...
От тошных витрин, по гранитным горбам,
Пошел переулками странными
К великим гробам.

Мимо групп фабрично-грустных
С сладко-лживыми стишками,
Мимо ангелов безвкусных,
С толсто-ровными руками,
Шел я быстрыми шагами —
И за грядками нарциссов,
Между темных кипарисов,

Распростерших пыльный креп,
Вырос старый темный склеп.

Тишина. Полумрак.

В герцогском склепе немец в дворцовой фуражке

Сунул мне в руку бумажку

И спросил за нее четвертак.

«За что?» — «Билет на могилу».

Из кармана насилу, насилу

Проклятые деньги достала рука!

Лакей небрежно махнул на два сундука:

«Здесь покоится Гете, великий писатель —

Венок из чистого золота от франкфуртских женщин.

Здесь покоится Шиллер, великий писатель —

Серебряный новый венок от гамбургских женщин.

Здесь лежит его светлость Карл-Август с Софией-

Луизой,

Здесь лежит его светлость Франц-Готтлиб-Фридрих-

Вильгельм»...

Быть может, было нелепо

Бежать из склепа,

Но я, не дослушав лакея, сбежал.

Там в склепе открылись дверцы

Немецкого сердца:

Там был народной славы торговый подвал!

〈1910〉

В ОЖИДАНИИ НОЧНОГО ПОЕЗДА

Светлый немец

Пьет светлое пиво.

Пей, чтоб тебя разорвало!

А я, иноземец,

Сижу тоскливо,

Бледнее мизинца,

И смотрю на лампочки вяло.

Просмотрел журналы:

Портрет кронпринца,

Тупые остроги,

Выставка мопсов в Берлине...

В припадке зевоты

Дрожу в пелерине

И страстно смотрю на часы.

Сорок минут до отхода!

Кусаю усы

И кошусь на соседа-урода —
Проклятый! Пьет пятую кружку.
Шея, как пушка,
Живот, как комод...
О, о, о!
Потерпи, ничего, ничего,
Кельнер, пива!
Где мой карандаш?
Лениво
Пишу эти кислые строки,
Глажу сонные щеки
И жалею, что я не багаж...
Тридцать минут до отхода!
Тридцать минут...

⟨1910⟩

Веймар. Вокзал

С ПРИЯТЕЛЕМ

Фриц, смешная мартышка!
Ты маленький немец,
Шепелявый и толстый мальчишка.
А я иноземец —
Слов твоих мне не понять.
Будем молча гулять,
Фриц, мой маленький Фриц!

Фриц, давай помолчим.
Ты будешь большим,
Солидным и толстым купцом,
Счастливым отцом
(Не бей меня по щеке)
Нового Фрица
И на том языке,
Который в моей голове сейчас рассуждает
сурово,
Никогда не скажешь ни слова...
Фриц, мой маленький Фриц.
Фриц, без слов мы скорей
Пойдем друг друга.
Вон елка, мак и порей.
Вон пчелка полезла под кисть винограда...
Чего еще надо?
А мы — мы пара ленивых зверей.
Слышишь, какой в орешнике гул?

Это ветер запутался в листьях.
Уснул.
Ну, ладно — пойду отнесу к мамаше
(Вон вяжет под грушей гамашу),
А я погуляю один.
Фриц, мой маленький Фриц!..

〈1910〉

РЫНОК

Бледно-жирные общипанные утки
Шеи свесили с лотков.
Говор, смех, приветствия и шутки
И жужжанье полевых жуков.

Свежесть утра. Розовые ласки
Первых, робких солнечных лучей.
Пухлых немок ситцевые глазки
И спокойствие размеренных речей.

Груды лилий, васильков и маков
Вянут медленно в корзинах без воды,
Вперемежку рыба, горы раков,
Зелень, овощи и сочные плоды.

В центре площади какой-то вождь чугунный
Мирно дремлет на раскормленном коне.
Вырастает говор многострунный
И дрожит в нагретой вышине.

Маргариты, Марты, Фриды, Минны —
Все с цветами и корзинками в руках.
Скромный взгляд, кокетливые мины —
О, мужчины вечно в дураках!

Я купил гусиную печенку
И пучок росистых васильков.
А по небу мчались вперегонку
Золотые перья облаков...

〈1910〉

ФИЛОСОФЫ

Профессор Виндельбанд
Введение в философию читал...
Какой талант!
Набив огромный зал,
Студенты слушали не упуская слова,
Полны такого понимания живого,
Что Кант на небесах сердечно умилялся.
И сладко улыбался.
Вдруг, оборвав рассказ
(Должно быть, опасаясь, что забудет),—
Профессор заявил, что в следующий раз
Он им читать не будет,
Затем, что приглашен в ученое собрание
На заседание.
Вмиг крики поднялись
И топот ног и ржанье —
Философы как с цепи сорвались:
«Hoch! Hoch! * Благодарим! Отлично! Bravo!»

Профессор посмотрел налево и направо,
Недоуменно поднял плечи
И, улыбаясь, перешел к дальнейшей речи.

⟨1911⟩
Гейдельберг

КОРПОРАНТЫ

Бульдоговидные дворяне,
Склонив изрубленные лбы,
Мычат над пивом в ресторане,
Набив свиною зобы.

Кто сцапал кельнершу под жабры
И жмет под общий смех стола,
Другой бросает в канделябры
Окурки, с важностью посла.

Подпивший дылда, залихватски
На темя сдвинув свой колпак,
Фиксирует глазами штатских
И багровеет, как бурак.

* «Ура! Ура!» (нем.).

В углу игрушечное знамя,
Эмблема пьянства, ссор и драк,
Над ним кронпринц с семейством в раме,
Кабанья морда и чепрак.

Мордатый бурш, в видах рекламы,
Двум желторотым червякам,
Сопя, показывает шрамы —
Те робко жмутся по бокам.

Качаясь, председатель с кружкой
Встает и бьет себя в жилет:
«Собравшись... грозно... за пирушкой,
Мы шлем... отечеству... привет...»

Блестит на рожах черный пластырь.
Клубится дым, ревут ослы,
И ресторатор, добрый пастырь,
Обходит, кланяясь, столы.

<1911>

ДАМОКЛОВ МЕЧ

Рудой гранит каменоломни
Раскрыл изломы и зубцы.
Под пышной липой так тепло мне
Смотреть, пьянясь, во все концы.

Неумолкая свищут птицы.
Присело небо на обрыв.
Как гул далекой колесницы,
Загрохотал протяжный взрыв...

Томится сладкий ладан липы,
Кишит жужжаньем желтый цвет.
Лесного матового скрипа
Напьюсь, как зверь, на много лет!

Сквозь зелень сосен в пасти дола
Краснеют пятна черепиц:
Костел... театр... больница... школа...
Я там живу? У фрейлейн Тиц?

Но глупый вензель на скамейке
(В пузатом сердце со стрелой),

Запел из-под улитки клейкой:
«Долой иллюзии, долой!»

Я там живу? «А ты не знаешь?
Спеши, брат, вниз; Через час обед.
На две минуты опоздаешь —
Ни габерсупа, ни котлет!»

⟨1911⟩

ФАКТ

У фрау Шмидт отравилась дочь,
Восемнадцатилетняя Минна.
Конечно, мертвым уже не помочь,
Но весьма интересна причина.

В местечке редко кончали с собой —
Отчего же она отравилась?
И сплетня гремит иерихонской трубой:
«Оттого, что чести лишилась!»

«Сын аптекаря Курца, боннский студент,
Жрец Амура, вина и бесчинства,
Уехал, оставивши Минне в презент
Позорный залог материнства».

«Кто их не видал в окрестных горах,
Гуляющих нежно под ручку?
Да, с фрейлейн Шмидт студент-вертопрах
Сыграл нехорошую штучку!..»

В полчаса облетел этот скверный слух
Все местечко от банка до рынка,
И через каких-то почтенных старух
К фрау Шмидт долетела новинка...

Но труп еще не был предан земле —
Фрау Шмидт, надевши все кольца,
С густым благородством на вдовьем челе,
Пошла к герр-доктору Штольцу.

Герр-доктор Штольц приехал к ней в дом,
Осмотрел холодную Минну
И дал фрау Шмидт свидетельство в том,
Что Минна была невинна.

⟨1911⟩

ЕЩЕ ФАКТ

В зале «Зеленой Свиньи» гимнастический клуб
«На здоровье»
Под оглушительный марш праздновал свой юбилей.
Немцы в матрацном трико, выгибая женские бюсты,
То наклонялись вперед, то отклонялись назад.

После классических поз была лотерея и танцы —
Максы кружили Матильд, как шестерни жернова,
С красных досок у стены сверкали великим соблазном
Лампы, щипцы для волос, кружки и желтый Вильгельм.

Вдруг разразился вокруг сочувственный радостный рев,
Смолкнул медлительный вальс, пары друг друга
теснят:
Ах, это плотный блондин, интимную выиграв вазу,
Пива в нее нацедив, пьет среди залы, как Вахх!..

⟨1911⟩

В БЕРЛИНЕ

I

Над крышами мчатся вагоны, скрежещут машины,
Под крышами мчатся вагоны, автобусы гнусно пыхтят.
О, скоро будут людей наливать по горло бензином,
И люди, шипя, по серым камням заскользят!

Летал по подземной дороге, летал по надземной,
Ругал берлинцев и пиво тянул без конца,
Смотрел на толстый шаблон убого системный
И втайне гордился своим выраженьем лица...

Потоки парикмахеров с телячьими улыбками
Щеголяли жилетами орангутанских тонов,
Ватные военные, украшенные штрипками,
Вдев в ноздри усы, охраняли дух основ.

Нелепые монументы из чванного железа —
Квадратные Вильгельмы на наглых лошадях,—
Умиля берлинских торгующих Крезов,
Давили землю на серых площадях.

Гармония уборных, приветствий, извинений,
Живые манекены для шляп и плащей.

Фабричная вежливость всех телодвижений,
Огромный амбар готовых вещей...

Продажа, продажа! Галстуки и подтяжки
Завалили окна до пятых этажей.
Портреты кайзера, пепельницы и чашки,
Нижнее белье и гирлянды бандажей...

Буквы вдоль стен, колыхаясь, плели небылицы:
«Братья Гешвиндер»... Наверно, ужасно толсты,
Старший, должно быть, в пенсне, блондин и тупица,
Младший играет на цитре и любит цветы.

Военный оркестр! Я метнулся испуганно к стенке,
Толкнул какую-то тушу и зло засвистал.
От гула и грохота нудно дрожали коленки,
А едкий сплин и бензин сердце мое провонял...

II

Спешат старые дети в очках,
Трясутся ранцы на пиджачках.
Солидно смеются. Скучно!

Спешат девушки,— все, как одна:
Сироп в глазах, прическа из льна.
Солидно смеются. Скучно!

Спешат юноши,— все, как один:
Один потемнее, другой блондин.
Солидно смеются. Скучно!

Спешат старухи. Лица, как гриб...
Жесткая святость... Кто против — погиб!
Солидно смеются. Скучно!

Спешат дельцы. Лица в мешках.
Сопящая сила в жирных глазах.
Солидно смеются. Скучно!

Спешат трамваи, повозки, щенки.
Кричат рожки, гудки и звонки.
Дымится небо. Скучно!

⟨1911⟩

«БАВАРИЯ»

Мюнхен, Мюнхен, как не стыдно!
Что за грубое безвкусье —
Эта баба из металла
Ростом с дюжину слонов!

Между немками немало
Волооких монументов
(Смесь Валькирии с коровой),—
Но зачем же с них лепить?

А потом, что за идея —
На баварские финансы
Вылить в честь баварцев бабу
И «Баварией» назвать?!..

После этих честных мыслей
Я у ног почтенной дамы
Приобрел билет для входа
И полез в ее живот.

В животе был адский климат!
Как разваренная муха,
Вверх по лестнице спиральной
Полз я в гулкой темноте.

Наконец, с трудом, сквозь горло
Влез я в голову пустую,
Где напев сквозного ветра
Спорил с дамской болтовней.

На дешевом стертом плюше
Тараторили две немки.
Потный бурш, расставив ноги,
Впился в дырку на челе.

Чтобы выполнить программу,
Поглядел и я сквозь дырку:
Небо, тучки — и у глаза
Голубиные следы.

Я, вздохнув, склонился к горлу,
Но оттуда вдруг сверкнула,
Загораживая выход,
Темно-розовая плешь.

Это был толстяк-баварец.
Содрогаясь, как при родах,
Он мучительно старался
Влезть «Баварии» в мозги.

Гром железа... Град советов...
Хохот сверху. Хохот снизу...
Залп проклятий — и баварец,
Пятясь задом, отступил.

В тщетном гневе он у входа
Деньги требовал обратно:
Величавый сфинкс-привратник
Был, как рок, неумолим!

И, скрывая смех безумный,
Смех, сверлящий нос и губы,
Смех, царапающий горло,
Я по-русски прошептал:

«О наивный мой баварец!
О тщеславный рыцарь жира!
Не узнать тебе вовеки,
Что в «Баварской» голове!»

<1911>

НА РЕЙНЕ

Размокшие от восклицаний самки,
Облизываясь, плятятся на Рейн:
«Ах, волны! Ах, туман! Ах, берега! Ах, замки!»
И тянут, как сапожники, рейнвейн.

Мужья в патриотическом азарте
На иностранцев пыжаты окрест
И карандашиками чиркают по карте
Названия особо пышных мест.

Гремит посуда. Носятся лакеи.
Сюсюкают глухие старички.
Перегрузившись лососями, Лорелеи
Расстегивают медленно крючки...

Плавучая конюшня раздражает!
Отвротясь, смотрю на берега.

Зелено-желтая вода поет и тает,
И в пене волн танцуют жемчуга.

Ползет туман задумчиво-невинный,
И вдруг в разрыве — кручи буйных скал,
Темнеющих лесов безумные лавины,
Далеких облаков янтарно-светлый вал...

Волна поет... За новым поворотом
Сбежались виноградники к реке,
На голову скалы взлетевший мощным взлетом
Сереет замок-коршун вдалеке.

Кто там живет? Пунцовые перины
Отчетливо видны в морской бинокль.
Проветривают... В кресле — немец длинный.
На Рейн, должно быть, смотрит сквозь монокль...

Волна поет... А за спиной крикливо
Шумит упитанный восторженный шаблон.
Ваш Рейн? Немецкий Рейн? Но разве он из пива,
Но разве из колбас прибрежный смелый склон?

Ваш Рейн? Но отчего он так светло-прекрасен,
Изменчив и певуч, свободен и тосклив,
Неясен и кипуч, мечтательно-опасен,
И весь туманный крик, и весь глухой порыв!

Нет, Рейн не ваш! И вы лишь тли на розе —
Сосут и говорят: «Ах, это наш цветок!»
От ваших плоских слов, от вашей гадкой прозы
Исчез мой дикий лес, поблек цветной поток...

Стаканы. Смех. Кружась, бегут опушки,
Растут и уплывают города.
Артиллерийский луг. Дымок и грохот пушки...
Рокочет за кормой вспененная вода.

Гримасы и мечты, сплетаясь, бились в Рейне,
Таинственный туман свил влажную дугу.
Я думал о весне, о женщине, о Гейне
И замок выбирал на берегу.

<1911>

КЕЛЬНЕРША

Я б назвал ее мадонной,
Но в пивных мадонн ведь нет...
Косы желтые — короной,
А в глазах — прозрачный свет.
 В грубых пальцах кружки с пивом.
 Деловито и лениво
 Чуть скрипит тугой корсет.

Улыбнулась корпорантам,
Псу под столиком — и мне.
Прикоснуться б только к бантам,
К черным бантам на спине!
 Ты — шиповник благовонный...
 Мы — прохожие персоны,—
 Смутный сон в твоей весне...

К сатане бы эти кружки,
И прилавок, и счета!
За стеклом дрожат опушки,
Май синее... Даль чиста...
 Кто и что она, не знаю,
 Вечной ложью боль венчаю:
 Все мадонны, ведь, мечта.

Оглянулась удивленно —
Непонятно и смешно?
В небе тихо и бездонно,
В сердце тихо и темно.
 Подошла, склонилась: — Пива?
 Я кивнул в ответ учтиво
 И, зевнув, взглянул в окно.

〈1922〉

В ПУТИ

Словно звон бессонной цитры,
В глубине поет поток.
Горы — пепельные митры...
За спиной скрипит мешок.
Даль — цветистее палитры.
Сбоку вьется ветер хитрый.
Взмок...

Сел под елкой. Вынул ножик.
Сыра что ли открыть?
Вниз сбегает сто дорожек.
Впереди шоссе, как нить...
Под сосной хлопочет ежик.
С лип слетает дождь сережек.
Пить!

Солнце пляшет в водопаде.
Дилижанс ползет, как клоп:
Сонный кучер, горы клади
И туристов пыльный сноп.
Удивительные дяди!
Прицепиться что ли сзади?
Стоп.

Плащ — и в путь! Пешком честнее:
Как библейский Илия...
Жук, подлец, ползет по шее.
Снег в горах, как клок белья.
Две козы с глазами феи...
Кто сегодня всех добрее?
Я!

Диск заката тлеет плоской.
Дом над лугом. Звонкий лай...
Стол под липой с жирной кошкой,
Пиво с пеной через край,
Шницель с жареной картошкой,—
И постель с цветной дорожкой,
Рай!

1920

В полдень тенью и миром полны переулки.
 Я часами здесь сонно слоняться готов,
 В аккуратных витринах рассматривать булки,
 Трубки, книги и гипсовых сладких Христов.

Жалюзи словно веки на спящих окошках,
 Из ворот тянет солодом, влагой и сном.
 Корпорант дирижирует тростью на дрожках
 И бормочет в беспомощной схватке с вином.

Вот Валькирия с кружкой... Скользнешь по фигуре,
 Облизнешься — и дальше. Вдоль окон — герань.
 В высоте, оттеняя беспечность лазури,
 Узких кровель причудливо-темная грань.

Бродишь, бродишь. Вдруг вынырнешь томный
к Неккару.

Свет и радость. Зеленые горы — кольцом,
 Заслонив на скамье краснощекую пару,
 К говорливой воде повернешься лицом.

За спиной беглый шепот и милые шашни.
 Старый мост перекинулся мощной дугой.
 Мирно дремлют пузатые' низкие башни
 И в реке словно отзвуки арфы тугой.

Вы бывали ль, принцесса, хоть раз в Гейдельберге?
 Приезжайте! В горах у обрыва теперь
 Расцветают на липах душистые серьги
 И пролет голубеет, как райская дверь.

<1922>

ПРИЗРАКИ

Неспокойно сердце бьется, в доме все живое спит,
Равномерно, безучастно медный маятник стучит...
За окном темно и страшно, ветер в бешенстве слепом
Налетит с разбега в стекла — звякнут стекла, вздрогнет
дом,

И опять мертво и тихо... но в холодной тишине
Кто-то, крадучись, незримый приближается ко мне.
Я лежу похолоделый, руки судорожно сжав,
Дикий страх сжимает сердце, давит душу, как удав...
Кто неслышными шагами в эту комнату вошел?
Чьи белеющие тени вдруг легли на темный пол?
Тише, тише... Это тени мертвых, нищих, злых недель
Сели скорбными рядами на горячую постель.
Я лежу похолоделый, сердце бешено стучит,
В доме страшно, в доме тихо, в доме все живое спит.
И под вой ночного ветра и под бой стенных часов
Из слепого мрака слышу тихий шепот вещей слов:
«Быть беде непоправимой, оборвешься, упадешь
И к вершине заповедной ты вовеки не дойдешь».
Ночь и ветер сговорились: «Быть несчастьем, быть беде!»
Этот шепот нестерпимый слышен в воздухе везде,
Он из щелей выползает, он выходит из часов —
И под это предсказанье горько плакать я готов!..
Но блестят глаза сухие и упорно в тьму глядят,
За окном неугомонно ставни жалобно скрипят,
И причудливые тени пробегают по окну.
Я сегодня до рассвета глаз усталых не сомкну.

1906

* * *

Замираю у окна.
Ночь черна.
Ливень с плеском лижет стекла.
Ночь продрогла и измокла.
Время сна,
Время тихих сновидений,

Но тоска прильнула к лени,
И глаза ночных видений
Жадно в комнату впились.
Закачались, унеслись.
Тихо новые зажглись...
Из-за мокрого стекла
Смотрят холодно и строго,
Как глаза чужого бога,—
А за ними дождь и мгла.
Лоб горит.
Ночь молчит.
Летний ливень льнет и льется.
Если тело обернется,—
Будет свет,
Лампа, стол, пустые стены,
Размышляющий поэт,
И глухой прибой вселенной.

⟨1910⟩

УТРОМ

Бодрый туман, мутный туман
Так густо замазал окно —
А я умываюсь!
Бесится кран, фыркает кран...
Прижимаю к щекам полотенно
И улыбаюсь.

Здравствуй, мой день, серенький день!
Много ль осталось вас мерзких?
Все проживу!
Скуку и лень, гнев мой и лень
Бросил за форточку дерзко.
Вечером вновь позову...

⟨1910⟩

ЛУНАТИК

Не могу закрытого взора
Оторвать от бледной луны,—
На луне застывшие озера
И поля холодной тишины.

Трепещут лунные крылья,
Исчезает тело, звеня,
Но не в силах бледные усилья
Оторвать от крыши меня.

Шумят душистые липы,
Рубашка бьет по плечам...
Лунные лучи, как липкие полипы,
Присосались к плачущим очам.

Скользят застывшие ноги,
Листы гремят и гудят —
Полшага́ направо от дороги
И слетел бы вниз в далекий сад.

Сиж у трубы — бессонный,
О спину трется кот...
Соловьи свистят неугомонно,
Теплый ветер жалобно поет.

Внизу постель моя смята
И дышит моим теплом,
Но туда мне больше нет возврата...
Как сойду со сломанным крылом?

Не могу закрытого взора
Оторвать от бледной луны,—
На луне застывшие озера
И поля холодной тишины...

<1910>

НА КЛАДБИЩЕ

Весна или серая осень?
Березы и липы дрожат.
Над мокрыми шапками сосен
Тоскливо вороны кружат.

Продрогли кресты и ограды,
Могилы, кусты и пески,
И тускло желтеют лампы,
Как вечной тоски маяки.

Кочующий ветер сметает
С кустарников влажную пыль.

Отчаянье в сердце вонзает
Холодный железный костыль...

Упасть на могильные плиты,
Не видеть, не знать и не ждать,
Под небом навеки закрытым
Глубоко уснуть и не встать...

〈1910〉

ТУЧКОВ МОСТ

Заклубилась темень над рекой.
Крепнет ветер. Даль полна тоской.

Лед засыпан снегом. Как беда,
В полыньях чернеется вода.

Крышки свай, безжизненно наги,
Друг на друга смотрят, как враги.

На мосту пролетка дребезжит.
Кучер свесил голову и спит...

Фонари пустынно встали в ряд
И в отчаянье, и в ужасе горят.

Одичалый дом на острове
Бродит стеклами слепыми по реке.

Снег валит. Навеки занесло
Лето, розы, солнце и тепло.

〈1909〉

У КАНАЛА НОЧЬЮ

Тихо. Глухо. Пусто, пусто...
Месяц хлынул в переулок.
Стены стали густо-густо.
Мертв покой домов-шкатулок.
Черепных безглазых впадин
Черных окон — не понять.
Холод неба беспощаден
И дневного не узнать.

Это дьявольская треба:
Стынут волны, хмурясь ввысь,—
Стенам мало плена неба,
Стены вниз к воде сползлись.
 Месяц хлынул в переулок...
 Смерть берет к губам свирель.
 За углом, угрюмо-гулок,
 Чей-то шаг гранит панель.

〈1910〉

* * *

У моей зеленой елки
Сочно-свежие иголки,
Но, подрубленный под корень, в грубых ранах нежный ствол.

Освещу ее свечами,
Красно-желтыми очами,—
И поставлю осторожно на покрытый белым стол.

Ни цветных бумажных пташек,
Ни сусальных деревяшек
Не развешу я на елке, бедной елочке моей.

Пестрой тяжестью ненужной
Не смущу расцвет недужный
Обреченных, но зеленых, пышно никнущих ветвей.

Буду долго и безмолвно
На нее смотреть любовно,
На нее, которой больше не видать в лесу весны,

Не видать густой лазури
И под грохот свежей бури
Никогда не прижиматься к телу мачтовой сосны!

Не расти, не подыматься,
С вольным ветром не венчаться
И смолы не лить янтарной в тихо льющемся ручей...

О, как тускло светят свечи —
Панихидные предтечи
Долгих дней и долгих вздохов и заплаканных ночей...

Тает воск. Трещат светильни.
Тени зыблются бессильно,
Умирают, оживают, пропадают и растут.

Юной силой иглы пахнут.
О, быть может, не зачахнут?
О, быть может, новый корень прорастет... сейчас... вот тут...

⟨1909⟩

ДОЖДЬ

Сквозь распластанные ветки
Мокрых, никнущих берез
Густо затканые сетки
Нижут нити чистых слез.

На трепещущие листья
Капли крупные летят,
И печальных сосен кисти
Чуть кивают ветру в лад.

А в просветах, где вершины
Одиноко смотрят ввысь,
Однотонной паутиной
Тучи тусклые сплелись.

Острый ветер бродит в чаще,
Хлещет каплями в окно.
Дождь ровней, скучней и чаще
Раскрутил веретено.

Закрываешь тихо веки —
Но далекий плач не стих:
Небу скорбному вовеки
Слез не выплакать своих.

⟨1910⟩

У БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

I

Ольховая роща дрожит у морского обрыва,
Свежеющий ветер порывисто треплет листву,
Со дна долетают размерные всплески и взрывы,

И серый туман безнадежно закрыл синеву.
Пары, как виденья, роятся, клубятся и тают,
Сквозь влажную дымку маячит безбрежная даль,
Далекие волны с невидимым небом сливают
Раздолье и холод в жемчужно-поющую сталь.
Осыпала старые камни, поблекшие травы и мхи —
Поднялся лиловый репейник, и эта улыбка цветная
Нежнее тумана и дробного шума ольхи...

II

Гнется тростник и какая-то серая травка,
Треплются ивы по ветру — туда и сюда,
Путник далекий мелькает в песках, как булавка,
Полузарытые бревна лижет морская вода.
Небо огромно, и тучи волнисты и сложны,
Море шумит, и не счесть белопенных валов.
Ветер метет шелестящий песок бездорожный,
Мерно за дюнами пенье сосновых стволов.
Я, как песчинка, пред этим безбрежным простором,
Небо и море огромны, дики и мертвы —
К тесным стволам прижимаюсь растерянным взором
И наклоняюсь к неясному шуму травы.

III

Ветер борется с плащом
И дыханье обрывает.
Ветер режущим бичом
Черный воздух рассекает.
В небе жутко и темно.
Звезды ежатся и стынют.
Пляска волн раскрыла дно,
Но сейчас другие хлынут.
Трепыхаются кусты —
Захлебнулись в вихре диком.
Из бездонной пустоты
Веет вечным и великим.
Разметались космы туч
И бегут клочками к югу.
На закате робкий луч
Холодеет от испуга.
Волны рвутся и гремят,
Закипают тусклой пеной,
И опять за рядом ряд
Налетает свежей сменой.
Только лампа маяка

Разгорается далеко,
Как усталая тоска,
Как задумчивое око.

IV

Еле льющаяся зыбь вяло плещется у пляжа.
Из огромных облаков тихо лепятся миражи.
Словно жемчуг в молоке — море мягко, море чисто,
Только полосы сквозят теплотою аметиста.
Солнце низко у воды за завесой сизой тучи
Шлет вишневый страстный цвет, тускло-матовый, но
жгучий.
Мокрый палевый песок зашуршит, блеснет водою,
И опять сырая нить убегает за волною.
Горизонт спокойно тих, словно сдержанная нежность,
Гаснут тени парусов, уплывающих в безбрежность —
Это тучи и вода с каждым мигом все чудесней
Чуть баюкают закат колыбельно сонной песней...

V

Видно, север стосковался
По горячим южным краскам —
Не узнать сегодня моря, не узнать сегодня волн...

Зной над морем разметался,
И под солнечною лаской
Весь залив до горизонта синевой прозрачной полн.

На песке краснеют ивы,
Греют листья, греют прутья,
И песок такой горячий, золотистый, молодой!

В небе облачные нивы
На безбрежном перепутье
Собрались и янтарятся над широкою водою.

⟨1910⟩

СНЕГИРИ

На синем фоне зимнего стекла
В пустой гостиной тоненькая шведка
Склонилась над работой у стола,
Как тихая, наказанная детка.

Суровый холст от алых снегирей
И палевых снопов — так странно-мягко-нежен.
Морозый ветер дует из дверей,
Простор за окнами однообразно-снежен.

Зловеще-холодно растет седая мгла.
Немые сосны даль околдовали.
О снегири, где милая весна?..

Из длинных пальцев падает игла,
Глаза за скалы робко убежали.
Кружатся хлопья. Ветер. Тишина.

⟨1911⟩
Кавантсари

НА ЛЫЖАХ

Желтых лыж шипящий бег,
Оснеженных елей лапы,
Белый-белый-белый снег,
Камни — старые растяпы,
Воздух пьяный,
Ширь поляны...
Тишина!
Бодрый лес мой, добрый лес
Разбросался, запушился
До опаловых небес.
Ни бугров, ни мху, ни пней —
Только сизый сон теней,
Только дров ряды немые,
Только ворон на сосне...

Успокоенную боль
Занесло глухим раздумьем.
Все обычное — как роль
Резонерства и безумья...
Снег кружится,
Лес дымится.
В оба, в оба! —
Чуть не въехал в мерзлый ельник!
Вон лохматый можжевельник
Дерзко вылез из сугроба,
След саней свернул на мызу...
Ели встряхивают ризу.
Руки ниже,

Лыжи ближе,
Бей бамбуковою палкой
О хрустящий юный снег!

Ах, быть может, Петербурга
На земле не существует?
Может быть, есть только лыжи,
Лес, запудренные дали,
Десять градусов, беспечность
И сосульки на усах?
Может быть, там, за чертою
Дымно-праздничных деревьев,
Нет гогочущих кретинов,
Громких слов и наглых жестов,
Изменяющих красавиц,
Плоско-стертых серых Лишних,
Патриотов и шпионов,
Терпеливо робких стонов,
Бледных дней и мелочей?..

На ольхе, вблизи дорожки,
Чуть качаются сережки,
Истомленные зимой.
Желтовато-розоватый
Побежал залив заката —
Снег синей,
Тень темней...
Отчего глазам больней?
Лес и небо ль загрузили,
Уходя в ночную даль,—
Я ли в них неосторожно
Перелил свою печаль?
Тише, тише, снег хрустящий,
Темный, жуткий, старый снег...

Ах, зовет гудящий гонг:
«Диги-донг!» —
К пансионскому обеду...
Снова буду молча кушать,
Отчужденный, как удод,
И привычно-тупо слушать,
Как сосед кричит соседу,
Что Исакий каждый год
Опускается все ниже...
Тише, снег мой, тише, лыжи!

<1911>

НИРВАНА

На сосне хлопочет дятел,
У сорок дрожат хвосты...
Толстый снег законопатил
Все овражки, все кусты.

Чертов ветер с хриплым писком,
Взбив до неба дымный прах,
Мутно-белым василиском
Бьется в бешеных снегах.

Смерть и холод! Хорошо бы
С диким визгом взвиться ввысь
И упасть стремглав в сугробы,
Как подстреленная рысь...

И выглядывать оттуда,
Превращаясь в снежный ком,
С безразличием верблюда,
Занесенного песком.

А потом — весной лиловой —
Вдруг растаять... закружить...
И случайную корову
Беззаботно напоить.

<1911>

ИЗ ФЛОРЕНЦИИ

В старинном городе чужом и странно близком
Успокоение мечтой пленило ум.
Не думая о временном и низком,
По узким улицам плетешься наобум...

В картинных галереях — в вялом теле
Проснулись все мелодии чудес
И у мадонн чужого Боттичелли,
Не веря, служишь столько тихих месс...

Перед Давидом Микеланджело так жутко
Следить, забыв века, в тревожной вере
За выраженьем сильного лица!

О, как привыкнуть вновь к туманным суткам,
К растлениям, самоубийствам и холере,
К болотному терпенью без конца?..

⟨1910⟩

* * *

В чужой толпе,
Надевши шляпу набекрень,
Весь день
Прогуливаю лень
По радостной тропе.

Один! И очень хорошо.
Ловлю зрачки случайных глаз,
Клочки каких-то странных фраз,
Чужую скуку и экстаз
И многое еще.

Лежат в свободном чердаке
Семьсот ребячеств без табу,
Насмешка, вызов на борьбу
И любопытство марабу,
Как бутерброды на доске.

Одно сменяется другим.
Заряд ложится на заряд.
Они в бездействии лежат,
А я ужасно рад —
Я вольный пилигрим!

Хочу — курю, хочу — плюю,
Надевши шляпу набекрень,
Весь день прогуливаю лень
И зверски всех люблю!

⟨1911⟩

УГОЛОК

В гонуэзском заливе,
Как сардинка, счастливый,
Я купаюсь, держась за веревку.

Плещет море рябое,
И в соленом прибое
 Заплетаются ноги неловко.

Синьорины с кругами
Подымают ногами
 Водопады клокочущей пены.
И купальные ткани,
Обвисая на стане,
 Облепляют худые колена.

Выхожу из купальни.
Взор на парусе дальнем
 Задержался любовно и жадно...
Хорошо на лоханке
У рыбацкой стоянки
 Мирно думать под аркой прохладной.

Страшно важные люди
Загорелые груди
 Наклоняют над дымной смолою.
Чинят сети и барки
И медянкою яркой
 Молча красят борта над водою.

Как значительны лица!
В стороне кружевницы
 Быстро нитки сплетают в узоры.
В жгучем солнечном свете
Голоногие дети,
 А вдали пыльно-сизые горы.

Вспыхнул голод-обжора...
Накупил помидоров —
 Жадно в мякоть вонзаются зубы.
Пальмы перья раскрыли.
Запах соли и пыли.
 Спят домов светло-пестрые кубы.

<1910>
Santa Margherita

ЖАРА

Куций, курносый и жирный
Виктор-и-Эммануил,
В позе воинственно-мирной,
Глазки в залив устремил.

Пальмы вокруг постамента
И фонари по углам.
В ближней харчевне поленту
С мухами ем пополам.

Терпнет язык от киянти —
Третья уж фляжка пуста.
Мухи, отстаньте, отстаньте!
Лезьте соседу в уста...

Вон он на скатерти липкой,
Губы развесив, уснул.
Треплется ветер негибкий,
С моря — то шорох, то гул.

Рдеют ликеры на полках.
Хмурится угол-жерло.
Вдруг огневые иголки
Солнце к нему провело.

Занавес сальный и грязный
Вздулся,— и сбоку видны
Дремлющий мул безобразный
И полисмена штаны.

Эй! Синьорина Беллина!
Новую фляжку и фиг.
Пусть угасает невинно
Миг, спотыкаясь о миг...

<1911>
Santa Margherita

* * *

Солнце жарит. Мол безлюден.
Пряно пахнет пестрый груз.
Под водой дрожат, как студень,
Пять таинственных медуз.
Волны пухнут...

Стая рыб косым пятном
Затемнила зелень моря.
В исступлении шальном,
Воздух крыльями узоря,
Вьются чайки.

Молча, в позе Бонапарта,
Даль пытаю на молу.
Где недавний холод марта?
Снежный вихрь, мутящий мглу?
Зной и море!

Отчего нельзя и мне
Жить, меняясь, как природа,
Чтоб усталость по весне
Унеслась, как время года?..
Сколько чаек!

Солнце жжет. Где холод буден?
Темный сон случайных уз?
В глубине дрожат, как студень,
Семь божественных медуз.
Волны пухнут...

〈1911〉

В МОРЕ

Если низко склониться к воде
И смотреть по волнам на закат —
Нет ни неба, ни гор, ни людей,
Только красных валов пережат...

Мертвый отблеск... Холодная жуть,
Тускло смотрит со дна глубина...
Где же лодка моя и гребец?
Где же руки, и ноги, и грудь?

О, как любо, отпрянув назад,
Милый берег глазами схватить,
Фонарей ярко-желтую нить
И пустынного мола черту!

〈1911〉

Если летом по бору кружить,
Слышать свист неведомых птиц,
Наклоняться к зеленой стоячей воде,
Вдыхать остро-свежую сырость и терпкие смолы
И бездумно смотреть на вершины,
Где ветер дремотно шумит,—
Так все ясно и просто...

Если наглухо шторы спустить
И сидеть у стола, освещенного мирною лампой,
Отдаваясь глубоким страницам любимых поэтов,
И потом, оторвавшись от букв,
Удивленному сердцу дать полную волю,—
Так все ясно и близко...

Если слушать, закрывши глаза,
Как в притихшем наполненном зале
Томительно-сдержанно скрипки вздыхают,
И расплавить, далекому зову вверяясь,
Железную горечь в туманную боль,—
Так все ясно и свято...

<1911>

ИДИЛЛИЯ

Гигантские спички,
Стволы без коры,
Легли к переключке
На склоне горы.

Визжат лесопилки
И ночью, и днем,
И брызжут опилки
Янтарным дождем.

Колеса кружатся.
Под запах смолы
Покорно ложатся
Сухие стволы.

Пахучи и плоски
Не мало уж лет
Веселые доски
Родятся на свет...

Изжарились крыши,
Сверкает ручей,
А солнце все выше
И все горячей.

У старого моста
В одежде простой
Огромного роста
Кирпичный святой.

Сжимает распятые
В сладчайшей тоске.
Вон пестрые платья
Мелькнули в леске:

Три пасторских дочки
Ушли от жары
И вяжут веночки
Под склоном горы.

По пыльной дороге,
Согнувшись, как хлыст,
И скорчивши ноги,
Несется циклист.

Полощатся утки,
Теленок мычит,
Сквозят незабудки
И солнце горит.

⟨1909⟩
Шварцвальд

ОСЕНЬ В ГОРАХ

Как в беклиновских картинах
Краски странны...
Мрачны ели на стремнинах
И платаны.

В фантастичном беспорядке
Перспективы —
То пологие площадки,
То обрывы.

Лес растет стеной, взбираясь
Вверх по кручам,
Беспокойно порываясь
К дальним тучам.

Желтый фон из листьев павших —
Ярче сказки,
На деревьях задремавших
Все окраски.

Зелень, золото, багрянец
Словно пятна...
Их игра, как дикий танец,
Непонятна.

В вакханалии нестройной
И без линий,
Только неба цвет спокойный
Густо-синий.

Однотонный, и прозрачный,
И глубокий,
И ликующий, и брачный,
И далекий.

Облаков плывут к вершине
Караваны...
Как в беклиновской картине
Краски страны.

<1909>
Оденвальд

В ПУТИ

Яркий цвет лесной гвоздики.
Пряный запах горьких трав.
Пали солнечные блики,
Иглы сосен пронизав.

Душно. Скалы накалились,
Смольный воздух недвижим,
Облака остановились
И расходятся, как дым...

Вся в пыли торчит щетина
Придорожного хвоща,

Над листвою гудит пустынно
Пень майского хруща.

Сброшен с плеч мешок тяжелый,
Взор уходит далеко...
И плечо о камень голый
Опирается легко.

В глубине сырого леса
Так прохладно и темно.
Тень зеленого навеса
Тайну бросила на дно.

В тишине непереходной
Чуть шуршат жуки травой.
Хорошо на мох холодный
Лечь усталой головой!

И, закрыв глаза, блаженно
Уходить в лесную тишь
И понять, что все забвенно,
Все, что в памяти таишь.

〈1909〉

ОСТРОВ

В харчевне лесной,
Окруженной ночной тишиной,
Было тепло и уютно.

Низкий и старенький зал
Гостей насилу вмещал,
И хлопала дверь поминутно.

Вдоль стен висели рога.
За стойкой хозяйка-карга
Расплавалась субботней улыбкой.

К столам мимо печки-старушки
Проплывали вспененные кружки
И служанки с походкою гибкой.

Я пил янтарное пиво.
В окошко стучалась слезливо
Дождливая ночь и испуг.

Под лампою-молнией — дым.
На лицах малиновый грим.
Как много людей вокруг!

Чугунная печь покраснела...
Толпа гудела и пела,
И зал превращался в деревню.

Как мало нужно для счастья —
Уйти от ночного ненастья
И попасть в лесную харчевню!

<1911>
Siebenmühlenthal

ПРЕДМЕСТЬЕ

Стали хмурые домишки
Сжатым строем в тесный ряд.
В узких улочках мальчишки
Расшалились и кричат.

Заостренные фронтоны,
Стекол выпуклых игра.
С колокольни льются звоны,
Как когда-то, как вчера...

Силуэт летучей мыши
Прочертил над головой.
Словно выше стали крыши
В черной тени неживой.

Тонет в сумраке долина.
Где-то плещется река.
Давит серая чужбина,
Снятся средние века...

К склону цепко присосавшись
Замер сонный городок.
Ходят девушки, обнявшись,
Светит лунный ободок.

«Добрый вечер!» Это слово,
Словно светлый серафим...

И у странника чужого
Сердце тянется к чужим.

⟨1910⟩
Гейдельберг

ДЕКОРАЦИЯ

На старой башне скоро три.
Теряясь в жуткой дали,
Блестящей лентой фонари
Вдоль набережной встали.

В реке мерцает зыбь чернил
И огненных зигзагов.
Скамейки мокнут у перил,
Мертвее саркофагов.

У бальной залы длинный ряд
Фиакров, сном объятых.
Понурясь, лошади дрожат
В попонах полосатых.

Возницы сбились под навес
И шепчутся сердито.
С меланхолических небес
Дождь брызжет, как из сита.

Блестит намокнувший асфальт,
Вода стучит и моет.
Бездомный вихрь поет, как альт,
И хриплым басом воет.

Дома мертвы. Аллеи туй
Полны тревогой смутной...
А мне в прохладной дымке струй
Так дьявольски уютно!

⟨1911⟩
Гейдельберг

* * *

Грохочет вода о пороги,
И мысли в ленивом мозгу
За гулкой волной убегают.

На том берегу
Сигналы железной дороги
Спокойно и кротко мигают.
Высоты оделись туманом.
На темной скамье под каштаном
Сегодня особенно любо сидеть и молчать.

Стучат по шоссе экипажи,
И фыркают кони.
Дрожат силуэты из сажи,
И тени, как духи погони,
За ними запрыгали в тьму.
Да. Так хорошо одному
Молчать и следить, как колеса вдали затихают.

Разнеженно-теплые струи.
Река монотонно поет.
А рядом слышны поцелуи,
И кто-то минуты крадет
У жизни, у счастья, у ночи...
Тоска заглянула мне в очи:
Да? Так хорошо одному? Сидеть и молчать?

<1909>
Гейдельберг

НА ЗАМКОВОЙ ТЕРРАСЕ

Наивная луна, кружок из белой жести,
Над башней замка стынет.
Деревья в парке свили тени вместе —
Сейчас печаль нахлынет...

На замковой террасе ночь и тьма.
Гуляют бургеры, студенты и бульдоги,
Внизу мигают тихие дома,
Искрятся улицы и теплятся дороги.

Из ресторана ветер вдруг примчал
Прозрачно-мягкую мелодию кларнета,
И кто-то в сердце больно постучал,
Но в темном сердце не было ответа.

Невидимых цветов тяжелый пряный яд,
И взрывы хохота и беспокойность лета,

И фонари средь буковых аркад —
Но в темном сердце не было ответа...

⟨1911⟩
Гейдельберг

* * *

Месяц выбелил пол,
Месяц молча вошел
Через окна и настезь открытые двери.
Ускользящий взгляд заблудился в портьере.
Тишина беспокойно кричит,
И сильней напряженное сердце стучит.
О, как льстиво и приторно пахнет душистый горошек
На решетке балкона!
С теплым ветром втекают в пролеты окошек
Бой полночного звона,
Отдаленные вскрики флиртующих кошек,
Дробь шагов за углом.

Старый месяц! Твой диск искривленный
Мне сегодня противен и гадок.
Почти примиренный,
Бегу от навязанных кем-то загадок,
Не хочу понимать
И не стану чела осквернять
Полосами мучительных складок...

Сторожко дома выступают из темени.
Гаснут окна, как будто глаза закрывают,
Чьи-то нежные руки, забывши о времени,
В темноте безумолчно играют.
Все вкрадчивей запах горошка,
Все шире лунный разлив.

В оранжевом пятне последнего окошка
Так выпукло ясны
Бумага, счеты. Кто-то щелкал, щелкал,
Вздыхал, смотрел в окно и снова щелкал...

Старый месяц! Бездушный фанатик!
Мне сегодня сознаться не стыдно —
К незнакомым рукам,
Что волнуют рояль по ночам,
Я тянусь, как лунатик!

⟨1911⟩

Цветы от солнца пьяны...
О, сколько их! Взгляни:
Герани и тюльпаны,
Как пестрые огни
На зелени поляны.

На крылечке припекло,
Виноград ползет на крышу,
Где-то близко-близко, слышу,
Бьется муха о стекло.

Вишневый цвет опал,
Миндальный распустился,
Как розовый коралл
На голых ветках вскрылся
И сердце взволновал.

Но хозяйка так комично
Вдоль стволов белье развесила...
Это было б неприлично,
Если б не было так весело...

Пусть Бог простит ее,
Как я ее прощаю.
Смотрю — не понимаю
И белое белье
Цветами называю.

〈1909〉

ХМЕЛЬ

Вся ограда
В темных листьях винограда.
Облупилась колоннада. Старый дом уныл и пуст.
Плеск фонтана.
Бог Нептун в ужасных ранах...
Злая жалоба внезапно вырывается из уст:
«Свиньи! Где-нибудь в Берлине,
В серо-каменной твердыне,
На тюках из ассигнаций
Вы сидите каплунами безотлучные года —
Что бы этот дом прекрасный подарить мне
навсегда!»

Шум акаций.
Пред оградой Божья Матерь,
Опоясанная хмелем...
На реке зеленый катер
Уморительно пытит.
Растревоженный апрелем,
Безработным менестрелем,
Я слоняюсь, я шатаюсь, я бесцельно улыбаюсь,
И кружится под ногами прибережное шоссе.

⟨1911⟩

* * *

Узкий палисадник,
Белые дорожки,
Крошечный рассадник,
Низкие окошки.
Перед красным домиком на стуле
Спит старик в лиловом колпаке.
Разморило, сдался — зноен день в июле...
Спит чубук в опущенной руке.
Храп, как свист свирели...
Над макушкой — лозы.
Распевают шмели,
Пламенеют розы.
Как нарядно и пестро на клумбах!
Дождь цветов — а садик метра в два.
Карлики стоят на выкрашенных тумбах...
Спит старик... Все ниже голова.
Сквозь ворота: дворик,
Плуг, навоз, повозка,
Выгнутый заборик,
Тонкая березка...
Сток разрытого и пахнущего сена,
Одуревший от жары петух.
Сказка или правда? «Сказка Андерсена!» —
Кто-то вдруг над ухом рассмеялся вслух.

⟨1911⟩

* * *

Почти перед домом
Тропинка в зеленые горы
Кружится изломом,
Смущает и радует взоры.

Айда, без помехи,
К покато́й и тихой вершине,
Где ясны, как вежи,
Деревья в укрытой низине!..
Дорогой — крапива,
Фиалки и белые кашки,
А в небе лениво
Плывут золотые барашки.
Добрался с одышкой,
Уселся на высшую точку.
Газета под мышкой —
Не знаю, — прочту ли хоть строчку.
Дома́, как игрушки,
Румяное солнце играет,
Сажу на макушке,
И ветер меня продувает...

⟨1909⟩

РАЗГУЛ

Буйно-огненный шиповник,
Переброшенная арка
От балкона до ворот,
Как несдержанный любовник
Разгорелся слишком ярко
И в глаза, как пламя, бьет!

Но лиловый цвет глициний,
Мягкий, нежный и желанный,
Переплел лепной карниз,
Бросил тени в блекло-синий
И, изящный и жеманный,
Томно свесил кисти вниз.

Виноград, бобы, горошек
Лезут в окна своевольно...
Хоровод влюбленных мух.
Мириады пьяных мошек
И на шпиле колокольном
Зачарованный петух.

⟨1910⟩

НА САНКАХ С ГОР

Пятки резво бьют о снег,
Встречный ветер режет щеки,
Все порывистее бег,
Ели мчатся, как намеки.
Дальше, дальше, мимо, мимо...
Белой пылью бьет в глаза,
Хохочу неудержимо
И, как горная коза,
В сизый сумрак окунаюсь.
Острый воздух жгуч, как лед.
Озираюсь, содрогаюсь —
И бесшумно мчусь вперед...
Слева лес и крутизна
Сторожат гостеприимно.
Голубая белизна
Полускрыта мглою дымной —
Оплошал и вмиг слетишь
К мерзлым соснам величавым,
Гулко череп раскroiшь,
И конец твоей забаве...
Кто-то сзади нагоняет.
Писк полозьев, резкий свист.
Мимо, мимо... Вон мелькает
За бугром, как белый лист.
Колокольчик выбивает
Тонко-звонкий плеск стекла.
В фонаре огонь мигает,
На дорогу тьма стекла.
Дальше, дальше... Все смешалось
В снегом скованных глазах.
Мутно море взволновалось
В убежавших берегах...
Скрип и тьма. Колочий холод,
Сумасшедший плавный бег.
Я беспечен, чист и молод,
Как сейчас упавший снег...

<1910>

НА ПАРОМЕ

Сизый воздух в белых точках.
Мутно бесится река.
Перевозчик пьян, как бочка,—
Заменяю-ка старика!

Снег садится на ресницы,
Мягко тает на усах.
Вынимаю рукавицы
И лениво тру в глазах.

«Перевозчик!» Острой сталью
Льется голос над водой,
Словно там, за мутной далью,
Крикнул дьявол молодой...

Я канат перебираю
В разгулявшихся руках
И молчу, не отвечаю,
И лютею на толчках.

Странен бок кирпичной дачи
В темной зелени плюща...
И река шумит иначе,
Торжествуя и плеща.

Хлопья падают за ворот.
Впереди в молочной мгле
Чуть дрожит вечерний город
С фонарями на челе.

〈1911〉

В ЧАЩЕ

По бурому скату,
Где мертвые листья гниют,
Медлительно важно туманы плывут
К закату.
Пятнистые, мшистые буки
Раскинули ярко-зеленые руки.
Глаза сквозь ажурную зелень
Бегут до гранитных расщелин,
Язычески-жадно горят,
Проснувшись от долгого сна,
Целуют зеленый наряд,
Томятся и тайно смеются
И кротко ласкают закат.
Тишина, тишина, тишина.

Кто выйдет из зелени темной:
Олень с золотыми рогами?
Сатир? Колесница с богами?
Русалка с улыбкою томной?..
Прохожий, поднявшийся снизу,
Задумчиво ежится в старом пальто,
Пронзает зеленую ризу
И шепчет: Никто!
Прошел... С далекого дна
Туманы плывут и прозрачно белеют,
Зеленые буки темнеют.
Тишина, тишина, тишина.

〈1910〉

* * *

Неподвижно-ленивые кости
Раскаленные стрелы жгут.
Хорошо лежать на помосте,
Наклонивши прическу в пруд.

Какие-то пестрые мухи
Танцуют в искристой слюде.
Муравей путешествует в ухе,
Пауки бегут по воде.

Изумительно мелкая рыбка
Удирает от тени своей.
На дне жестянка и штрипка,
И семья разноцветных камней.

Облака проплывают под носом.
Намокает спустившийся чуб.
Где-то сзади шумит над откосом
Бесконечно далекий дуб.

В голове человечки из стали
Друг на дружке несутся верхом.
Отрываюсь от зыбкой вуали —
И внезапно кричу петухом.

〈1910〉

Качаются томные листики.
Душа покидает причал.
В волнах немигающей мистики
Смотрю в светло-синий провал.

Так сонно звенят насекомые,
Так мягко спине и бокам...
Прощайте, друзья и знакомые,—
Плыву к золотым облакам!

Сквозной холодок бестелесности
Наполнил меня до бровей.
О, где вы, земные окрестности
И пыльные гроздья ветвей?

Разразится облачко ватное.
Пищит ветерок в волосах.
И все холодней необъятное
Смеется в пустых небесах.

Забыл я свой адрес и звание.
Все выше, все глубже мой путь...
В глазах голубое дрожание
И в сердце блаженная жуть.

<1910>

РАДОСТЬ

По балке ходит стадо
Медлительных коров.
Вверху дрожит прохлада
И синенький покров.

На пне — куда как любо!
Далекий, мягкий скат...
Внизу кружит у дуба
Компания ребят.

Их красные рубашки
На зелени холмов,
Как огненные чашки
Танцующих цветов...

Девчонки вышивают,
А овцы там и сям
Сбегают и взбегают
По лакомым бокам.

Прибитая дорожка
Уходит вдаль, как нить...
Мышиного горошка
И палки б не забыть!

Шумит раakitник тощий,
Дыбятся облака.
Пойти в луга за рощей,
Где кротко спит Ока?

Встаю. В коленях дрема,
В глазах зеленый цвет.
Знакомый клоп Ерема
Кричит: «Заснул аль нет?»

Прощай, лесная балка!
Иду. Как ясен день...
В руке танцует палка,
В душе играет лень.

А крошечней мизинца
Малыш кричит мне вслед:
«Товарищ, дай гостинца!»
Увы, гостинца нет.

<1911>
Кривцово

НА ПЧЕЛЬНИКЕ

На лик напялив решето,
Под черным капюшоном,
Брожу по пчельнику в манто
Изысканным бароном.

Воздух свеж, как пепермент,
В небе гучек звенья...
О, лирический момент
Высшего давленья!

Вишни буйно вскрыли цвет —
Будет много меда.
Мне сейчас не тридцать лет,
А четыре года.

Пчелки в щеку — шелк и шелк
И гудят, как трубы.
Прокуси-ка драп и шелк,
Обломаешь зубы!

Всуньте лучше в пряный цвет
Маленькие ножки.
Я лирический поэт,
Безобидней мошки...

Не стучите в решето —
Живо за работу!
Я же осенью за то
Опростаю соты.

Улетели... Буль, буль, буль!
Солнце лупит в щели.
Не бывает ли июль
Иногда в апреле?

Пропадаю ни за что...
Где моя невеста?
Под изысканным манто
Слишком много места.

Я б ей многое сказал
(Не в стихах, конечно!),
Я б глаза ее лобзал
Долго и беспечно.

Но на нет суда ведь нет.
Будем без невесты...
Пусть лирический поэт
Служит в храме Весты.

Весной, когда растаял лед
Скептического зелья,
Собрал я этот сладкий мед
С густых цветов безделья.

⟨1910⟩ Апрель
Заозерье

КОСТЕР

Эй, ребяташки,
Валите в кучу
Хворост колючий,
Щепки и шишки!
А на верхушку
Листья и стружку...
Спички, живей!
Огонь, как змей,
С ветки на ветку
Кружит по клетке,
Бежит и играет,
Трещит и пылает —
Шип! Крякс!

Давайте руки —
И будем прыгать вокруг огня.
Нет лучше штуки —
Зажечь огонь средь бела дня.
Огонь горит,
И дым глаза ужасно ест.
Костер трещит,
Пока ему не надоест...

Осторожней, детвора,
Дальше, дальше от костра —
Можно загореться.
Превосходная игра...
Эй, пожарные, пора,
Будет вам вертеться!

Лейте воду на огонь.
Сыпьте землю и песок —
Но ногой углей не тронь,
Загорится башмачок.
Зашипели щепки, шишки,
Лейте, лейте, ребяташки!
Раз, раз, еще раз —
Вот костер наш и погас.

⟨1911⟩

«ПУЩА-ВОДИЦА»

Наш трамвай летел, как кот,
Напоенный жидкой лавой.
Голова рвалась вперед,
Грудь назад, а ноги вправо.
Мимо мчались без ума
Косогоры,
Двухаршинные дома
И заборы...
Парники, поля, лошадки —
Синий Днепр...
Я качался на площадке,
Словно сонный, праздный вебрь.
Солнце било, как из бочки!
Теплый, вольный смех весны
Выгнал хрупкие цветочки —
Фиолетовые «сны».

Зачастил густой орешник,
Бор и рыженький дубняк,
И в груди сатир насмешник
Окончательно размяк...
Сосны, птички, лавки, дачки,
Миловидные солдаты,
Незнакомые собачки
И весенний вихрь крылатый!
Ток гнусавил, как волчок.
Мысли — божие коровки —
Уползли куда-то вбок...
У последней остановки
Разбудил крутой толчок.

Молча в теплый лес вошел по теплой хвое
И по свежим изумрудам мхов.
На ветвях, впивая солнце огневое,
Зеленели тысячи стихов:
Это были лопнувшие почки,
Гениальные неписанные строчки...
Пела пеночка. Бродил в стволах прохладных
Свежий сок и гнал к ветвям весну.
Захотелось трепетно и жадно
Полететь, взмахнув руками, на сосну
И, дрожа, закрыв глаза, запеть, как птица.
Я взмахнул... Напрасно: не летится!

.

<1911>
Киев

АПЕЛЬСИН

Вы сидели в манти на скале,
Обхвативши руками колена.
А я — на земле,
Там, где таяла пена,—
Сидел совершенно один
И чистил для вас апельсин.

Оранжевый плод!
Терпко-пахучий и плотный...
Ты наливался дремотно
Под солнцем где-то на юге,
И должен сейчас отправиться в рот
К моей серьезной подруге.
Судьба!

Пепельно-сизые финские волны!
О чем она думает,
Обхвативши руками колена
И зарывшись глазами в шумящую даль?
Принцесса! Подите сюда,
Вы не поэт, к чему вам смотреть,
Как ветер колотит воду по чреву?
Вот ваш апельсин!

И вот вы встали.
Раскинув малиновый шарф,
Отодвинули ветку сосны
И безмолвно пошли под смолистым навесом.
Я за вами — умильно и кротко.
Ваш веер изящно бил комаров —
На белой шее, щеках и ладонях.
Один, как тигр, укусил вас в пробор,
Вы вскрикнули, топнули гневно ногой
И спросили: «Где мой апельсин?»
Увы, я молчал.
Задумчивость, мать томно-сонной мечты,
Подбила меня на ужасный поступок...
Увы, я молчал!

〈1911〉

КВАРТИРАНТКА

Возвратясь усталая с примерки,
Облечется в клетчатый капот,
Подойдет вразвалку к этажерке,
Оборвет гвоздику и жует.
Так, уставясь в сумерки угла,
Простоит в мечтах в течение часа:
Отчего на свете столько зла
И какого вкуса жабье мясо?

Долго смотрит с фанным любопытством
На саму себя в зеркальный шкаф.
Вдруг, смутясь, с беспомощным бесстыдством
Отстегнет мерцающий аграф...
Обернется трепетно на скрип —
У дверей хозяйские детишки,
Колченогий Мишка и Антип.
«В кошки-мышки? Ладно, в кошки-мышки!»

Звуки смеха мечутся, как взрывы...
Вспыхнет дикий топот и возня,
И кружит насытые порывы
В легком вихре буйного огня.
Наигравшись, сядет на диван
И, брезгливо выставив мальчишек,
Долго смотрит, как растет туман,
Растворяя боль вечерних вспышек.

Тьма. Склонивши голову и плечи,
Подойдет к роялю. Дрогнет звук.
Заалеют трепетные свечи,
Золотя ладони мягких рук.
Тишина задумчивого мига.
Легкий стук откинутой доски —
И плывет бессмертный «Лебедь» Грига
По ночному озеру тоски.

〈1911〉

ЗИРЭ

Чья походка, как шелест дремотной травы на заре?
Зирэ.

Кто скрывает смущенье и смех в пестротканой чадре?
Зирэ.

Кто сверкает глазами, как хитрая змейка в норе?
Зирэ.

Кто тихонько поет, проносясь вдоль перил во дворе?
Зирэ.

Кто нежнее вечернего шума в вишневом шатре?
Зирэ.

Кто свежее снегов на далекой лиловой горе?
Зирэ.

Кто стройнее фелуки в дрожащем ночном серебре?
Зирэ.

Чье я имя вчера вырезал на гранатной коре?
Зирэ.

И к кому, уезжая, смутясь, обернусь на заре?
К Зирэ!

1911
Мисхор

* * *

Я конь, а колено — седельце.
Мой всадник всех всадников слаще...
Двухлетнее теплое тельце
Играет, как белочка в чаще.

Склоняюсь с застенчивой лаской
К остриженной круглой головке:
Ликуют серьезные глазки
И сдвинуты пухлые бровки.

Несется... С доверчивым смехом,
Взмахнет вдруг ручонкой, как плеткой,—
Ответишь сочувственным эхом
Такою же детскою ноткой...

Отходит, стыдясь, безнадежность,
Надежда растет и смелееет,
Вскипает безбрежная нежность
И бережно радость лелеет...

⟨1911⟩

Мы женили медвежонка
 На сияющей Матрешке,
 Ты пропела тонко-тонко:
 «Поздравляем вас, медведь!»
 Подарили им ребенка —
 Темно-бронзовую таксу,
 Завернули всех в пеленку,
 Накормили киселем.

«Ну а дальше?» — «Хочешь, встану,
 Как коза, на четвереньки?
 Или буду по дивану
 Прыгать кверху животом?..»
 — «Не желаю». — «Эла, птичка,
 Не сердись,— чего ты хочешь?»
 Резко вздернулась косичка:
 «Я желаю, чтоб ты пел».
 «Чижик, чижик...» — «Нет, не надо!
 Каждый день все чижик-чижик,
 Или глупое «дид-Ладо»...
 Сам придумай, сам, сам, сам!»

Огорошенный приказом,
 Долго я чесал в затылке,
 Тер под глазом и над глазом —
 Не придумал ничего.
 Эла дерзко ухмылялась
 И развешивала тряпки.
 Что мне больше оставалось?..
 Я простился и ушел.

О позор! О злое горе!
 Сколько песен скучным взрослым
 Я, копаясь в темном соре,
 Полным голосом пропел...
 Лишь для крошечного друга
 Не нашел я слов внезапных
 И, краснея,— как белуга,
 Как белуга, промолчал!

⟨1911⟩

ИЗ ГЕЙНЕ

I

Печаль и боль в моем сердце,
Но май в пышноцветном пылу.
Стою, прислонившись к каштану,
Высоко на старом валу.

Внизу городская канава
Сквозь сон, голубея, блестит.
Мальчишка с удочкой в лодке
Плывет и громко свистит.

За рвом разбросался уютно
Игрушечный пестрый мирок:
Сады, человечки и дачи,
Быки, и луга, и лесок.

Служанки белье расстилают
И носятся, как паруса.
На мельнице пыль бриллиантов,
И дальний напев колеса.

Под серую башнею будка
Пестреет у старых ворот,
Молодчик в красном мундире
Шагает взад и вперед.

Он ловко играет мушкетом.
Блеск стали так солнечно-ал...
То честь отдает он, то целит.
Ах, если б он в грудь мне попал!

<1911>

II

За чаем болтали в салоне
Они о любви по душе:
Мужья в эстетическом тоне.
А дамы с нежным туше.

«Да будет любовь платонична!» —
Изрек скелет в орденах.
Супруга его иронично
Вздохнула с усмешкою: «Ах!»

Рек пастор протяжно и властно:
«Любовная страсть, господа,

Вредна для здоровья ужасно!»
Девушка шепнула: «Да?»

Графиня роняет уныло:
«Любовь — кипящий вулкан...»
Затем предлагает мило
Барону бисквит и стакан.

Голубка, там было местечко —
Я был бы твоим vis-à-vis * —
Какое б ты всем им словечко
Сказала о нашей любви!

<1910>

III

В облаках висит луна
Колоссальным померанцем.
В сером море длинный путь
Залит лунным, медным гляncем.

Я один... Брожу у волн.
Где, белея, пена бьется.
Сколько нежных, сладких слов
Из воды ко мне несется...

О, как долго длится ночь!
В сердце тьма, тоска и крики.
Нимфы, встаньте из воды,
Пойте, вейте танец дикий!

Головой приникну к вам,
Пусть замрет душа и тело.
Зацелуйте в вихре ласк,
Так, чтоб сердце онемело!

<1911>

IV

Этот юноша любезный
Сердце радует и взоры:
То он устриц мне подносит,
То мадеру, то ликеры.

В сюртуке и в модных брючках,
В модном бантике кисейном,
Каждый день приходит утром,
Чтоб узнать, здоров ли Гейне?

* Визави (фр.).

Льстит моей широкой славе,
Грациозности и шуткам,
По моим делам с восторгом
Всюду носится по суткам.

Вечерами же в салонах,
С вдохновенным выраженьем,
Декламирует девицам
Гейне дивные творенья.

О, как радостно и ценно
Обрести юнца такого!
В наши дни, ведь, джентльмены
Стали редки до смешного.

<1911>

V

ШТИЛЬ

Море дремлет... Солнце стрелы
С высоты свергает в воду,
И корабль в дрожащих искрах
Гонит хвост зеленых борозд.

У руля на брюхе боцман
Спит и всхрапывает тихо.
Весь в смоле, у мачты юнга,
Скорчась, чинит старый парус.

Сквозь запачканные щеки
Краска вспыхнула, гримаса
Рот свела, и полон скорби
Взгляд очей — больших и нежных.

Капитан над ним склонился,
Рвет и мечет и бушует:
«Вор и жулик! Из бочонка
Ты стянул, злодей, селедку!»

Море дремлет... Из пучины
Рыбка-умница всплывает.
Греет голову на солнце
И хвостом игриво плещет.

Но из воздуха, как камень,
Чайка падает на рыбку —
И с добычей легкой в клюве
Вновь в лазурь взмывает чайка.

<1911>

В КРЫМУ

Турки носят канифоль.
Ноздри пьют морскую соль,
Поплавок в арбузных корках...

Ноги свесились за мол...
Кто-то сбоку подошел:
Две худых ступни в опорках.

«Пятачишку бы...» — «Сейчас».
Чайки сели на баркас.
Пароход завыл сурово.

Раз! Как любо снять с крючка
Толстолобого бычка
И крючок закинуть снова!

〈1912〉

У НАРВСКОГО ЗАЛИВА

Я и девочки-эстонки
Притащили тростника.
Средь прибрежного песка
Вдруг дымок завился тонкий.

Вал гудел, как сто фаготов,
Ветер пел на все лады.
Мы в жестянку из-под шпротов
Молча налили воды.

Ожидали, не мигая,
Замирая от тоски.
Вдруг в воде, шипя у края,
Заплясали пузырьки!

Почему событие это
Так обрадовало нас?
Фея северного лета,
Это, друг мой, суп для вас!

Трясогузка по соседству
По песку гуляла всласть...
Разве можно здесь не впасть
Под напевы моря в детство?

1914

Гунгербург

ОГОРОД

За сизо-матовой капустой
Сквозные зонтики укропа.
А там вдали,— где небо пусто,—
Маячит яблоня-растрепя.
Гигантский лук напруг все силы
И поднял семена в коронке.
Кругом забор, седой и хилый.
Малина вяло спит в сторонке.
Кусты крыжовника завяли,
На листьях — ржа и паутина.
Как предосенний дух печали,
Дрожит над банею осина.
Но огород еще бодрее
И гуще, и щедрей, чем летом.
Смотри! Петрушки и пореи
Как будто созданы поэтом...
Хмель вполз по кольям пышной сеткой
И свесил гроздья светлых шишек.
И там, и там — под каждой веткой
Широкий радостный излишек.
Земля влажна и отдыхает.
Поникли мокрые травинки,
И воздух кротко подымает
К немому небу паутинки.
А здесь, у ног, лопух дырявый
Раскинул плащ в зеленой дреме...
Срываю огурец шершавый
И подношу к ноздрям в истоме.

<1914>

СИЛУЭТЫ

Вечер. Ивы потемнели.
За стволами сталь речонки.
Словно пьяные газели,
Из воды бегут девчонки.
Хохот звонкий.
Лунный свет на белом теле.
Треск коряг...

Опустив глаза к дороге, ускорю тихий шаг.

Наклонясь к земле стыдливо,
Мчатся к вороху одежды
И, смеясь, кричат визгливо...
Что им сумрачный прохожий?
Тени строже.
Жабы щелкают ревниво.
Спит село.

Темный путь всползает в гору, поворот — и все ушло.

⟨1914⟩

Ромны

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Белеют хаты в молочно-бледном рассвете.
Дорога мягко качает наш экипаж.
Мы едем в город, вспоминая безмолвно о лете...
Скрипят рессоры и сонно бормочет багаж.

Зеленый лес и тихие доли — не мифы:
Мы бегали в рощах, лежали на влажной траве,
На даль, залитую солнцем, с кургана, как скифы,
Смотрели, вверяясь далекой немой синеве...

Мы едем в город. Опять углы и гардины,
Снег за окном, книги и мутные дни —
А здесь по бокам дрожат вдоль плетней георгины,
И синие сливы тонут в зеленой тени...

Мой друг, не вздыхайте — здесь тоже не лучше зимою:
Снега, почерневшие ивы, водка и сон.
Никто не придет... Разве нищая баба с клюкою
Спугнет у крыльца хоровод продрогших ворон.

Скрипят рессоры... Качаются потные кони.
Дорога и холм спускаются к сонной реке.
Как сладко жить! Выходит солнце в короне,
И тени листьев бегут по вашей руке.

⟨1914⟩
Ромны

* * *

Еле тлеет погасший костер.
Пепел в пальцах так мягко пушится.
Много странного в сердце таится
И, волнуясь, спешит на простор.
Вдоль опушки сереют осины.
За сквозистою рябью стволов
Чуть белеют курчавые спины
И метелки овечьих голов.
Деревенская детская банда
Чинно села вокруг пастуха
И горит, как цветная гирлянда,
На желтеющей зелени мха.
Сам старик — сед и важен. Так надо...
И пастух, и деревья, и я,
И притихшие дети, и стадо...
Где же мудрый пророк Илия?..
Из-за туч, словно веер из меди,
Брызнул огненный сноп и погас.
Вы ошиблись, прекрасная леди,—
Можно жить на земле и без вас!

⟨1922⟩

БЕЛАЯ КОЛЫБЕЛЬ

Ветер с визгом крадется за полость.
Закрутился снежный океан.
Желтым глазом замигала волость
И нырнула в глубину полян.

Я согрелся в складках волчьей шубы,
Как детеныш в сумке кенгуру,
Только вихрь, взвевая к небу клубы,
Обжигает щеки на юру...

О зима, холодный лебедь белый,
Тихий праздник девственных пространств!
Промелькнул лесок заиндевелый,
Весь в дыму таинственных убранств.

Черный конь встречает ветер грудью,
Молчаливый кучер весь осел...
Отдаюсь просторам и безлюдью
И ударам острых снежных стрел.

<<1913>>?
<1916>
Кривцово

СУМЕРКИ

Хлопья, хлопья летят за окном.
За спиной теплый сумрак усадьбы.
Лыжи взять, да к деревне удрать бы,
Взбороздив пелену за гумном...

Хлопья, хлопья!.. Все глуше покой,
Снег ровняет бугры и ухабы.
Острроверхие ели, как бабы,
Занесенные белой мукой.

За спиною стреляют дрова.
Пляшут тени... Мгновенья все дольше.
Белых пчелок все больше и больше.
На сугробы легла синева.

Никуда, никуда не пойду...
Буду долго стоять у окошка
И смотреть, как за алой сторожкой
Растворяется небо в саду.

<<1913>>?
<1916>
Кривцово

НА ПРУДУ

Не ангелы ль небо с утра
Раскрасили райскою синькой?
Даль мирно скользит до бугра
Невинною белой пустынькой...
Березки толпятся кольцом

И никнут в торжественной пудре,
А солнце румяным лицом
Сияет сквозь снежные кудри.
На гладком безмолвном пруду
Сверкают и гаснут крупицы.
Подтаяв мутнеют во льду
Следы одинокой лисицы...
Пожалуй, лежит за кустом —
Глядит и, готовая к бегу,
Поводит тревожно хвостом
По свежему рыхлому снегу...
Не бойся! Я кроток, как мышь,
И первый, сняв дружески шляпу,
Пожму, раздвигая камыш,
Твою оснеженную лапу.

<<1913>>?
<1916>

ПЬЯНАЯ ПЕСНЯ

В бутылке вина
Сидит сатана
И лукаво мигает: налей!
Багряный мой сок
Сбивает всех с ног,
Держись же покрепче и пей.

По жилам козлом
Промчусь напролом,
За сердце тебя ущипну...
Гори и ликуй,—
Всех женщин целуй,—
Быть может, забудешь одну...

Что в ней ты любил?
Веселье и пыл
И ямку у губ на щеке?
Пришла и ушла,
Как тень от весла
На синей, весенней реке.

Не пьешь ты,— а пьян.
Что плачешь в стакан?

Багранный мой сок замутишь...
Ах, глупый чудака,
Ах, странный дурак,—
Попался, попался, как мышья!..
(1922)

ОПИСАНИЕ ОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

(Шутка)

Два раба на веслах повисли.
На скамье апельсины желтели.
Мы с сотрудинок «Киевской мысли»
Совершали прогулку без цели.
Копошилась вода у бортов.
Между двух долговязых мостов,
Распирая крутые бока,
Проносилась река.

Бородатый, как Сарданапал,
Мой попутчик, с прилежностью светской,
Снисходительно руль направлял
На мужской монастырь Выдубецкий.
«Правый берег — направо». — «Мегсі». —
«Левый берег — налево». — «Спасибо!»
Обьяснил и опять замолчал,
Как солидная рыба.

Монастырь. Пили в садике чай.
(Самовар, два стакана и блюдца.)
Служка крикнул: «На лодочке, чай?»
«Да, на лодке». — «Счастливо вернуться!»
Поглазели на сонм куполов,
Закурили и двинулись кротко
К тишине прибережных стволов
Безразличной походкой.

Возвращались. Днепр глухо урчал.
Мост сносило теченьем на лодку.
Весла гнулись — я робко мечтал
Довезти свои рифмы в Слободку...
«Правый берег — налево». — «Мегсі!»
— «Левый берег — направо». — «Спасибо!»
Через час нос ударил в мостки:
Мы приехали ибо.

1911 Апрель
Киев

ТИФЛИССКАЯ ПЕСНЯ

Как лезгинская шашка твой стан,
Рот — рубин раскаленный!
Если б я был турецкий султан,
Я бы взял тебя в жены...

Под чинарой на пестром ковре
Мы играли бы в прятки.
Я б, склонившись к лиловой чадре,
Целовал тебе пятки.

Жемчуг вплетл бы тебе я средь кос!
Пусть завидуют люди...
Свое сердце тебе б я поднес
На эмалевом блюде...

Ты потупила взор, ты молчишь?
Ты скребешь штукатурку?
А зачем ты тихонько, как мышь,
Ночью бегаешь к турку?..

Он проклятый мединский шакал,
Он шайтан! Он невежа!..
Третий день я точу свой кинжал,
На четвертый — заррежу!..

Искрошу его в мелкий шашлык...
Кабардинцу дам шпоры —
И на брови надвину башлык,
И умчу тебя в горы.

⟨1921⟩

ЛЕНИВАЯ ЛЮБОВЬ

Пчелы льнут к зеленому своду.
На воде зеленые тени.
Я смотрю, не мигая, на воду
Из-за пазухи матери-лени.

Почтальон прошел за решеткой,—
Вялый взрыв дежурного лая.
Сонный дворник, продушенный водкой,
Ваш конверт принес мне, икая!

Ничего не пойму в этом деле...
Жить в одной и той же столице
И писать раза два на неделе
По четыре огромных страницы.

Лень вскрывать ваш конверт непорочный:
Да, я раб, тупой и лукавый,—
Соглашаюсь на все заочно.
К сожаленью, вы вечно правы.

То — нелепо, то — дико, то — узко...
Вам направо? Мне, видно, налево...
Между прочим, зеленая блузка
Вам ужасно к лицу, королева.

Но не стану читать, дорогая!..
Вон плывут по воде ваши строки.
Пусть утопленник встречный, зевая,
Разбирает ваши упреки.

Если ж вам надоест сердиться
(Грех сердиться в такую погоду) —
Приходите вместе лениться
И смотреть, не мигая, на воду.

⟨1922⟩

Крестовский остров

В ТИРОЛЕ

Над кладбищенской оградой вьются осы...
Далеко внизу бурлит река.
По бокам — зеленые откосы.
В высоте застыли облака.

Крепко спят под мшистыми камнями
Кости местных честных мясников.
Я, как друг, сижу укрыт ветвями,
Наклонясь к охапке васильков.

Не смеюсь над вздором эпитафий,
Этой чванной выдумкой живых —
И старух с поблекших фотографий
Принимаю в сердце, как своих.

Но одна плита мне всех здесь краше —
В изголовье старый темный куст,

А в ногах, где птицы пьют из чаши,
Замер в рамке смех лукавых уст...

Вас при жизни звали, друг мой, Кларой?
Вы смеялись только двадцать лет?
Здесь в горах мы были б славной парой —
Вы и я — кочующий поэт...

Я укрыл бы вас плащом, как тогой,
Мы, смеясь, сбежали бы к реке,
В вашу честь сложил бы я дорогой
Мадригал на русском языке.

Вы не слышите? Вы спите? — Очень жалко...
Я букет свой в чашу опустил
И пошел, гремя о плиты палкой,
Вдоль рядов алеющих могил.

⟨1914⟩

ПРИБОЙ

Как мокрый парус, ударила в спину волна,
Скосила с ног, зажала ноздри и уши.
Покорно по пестрым камням прокатилась спина,
И ноги, в беспомощной лени, поникли на суше.
Кто плещет, кто хлещет, кто злится в зеленой волне?

Лежу и дышу... Сквозь ресницы струится вода.
Как темный Самсон, упираюсь о гравий руками
И жду... А вдали закипает, белеет живая гряда,
И новые волны веселыми мчатся быками...
Идите, спешите,— скорее, скорее, скорее!

Мотаюсь в прибое. Поэт ли я, рыба иль краб?
Сквозь влагу сквозит-расплывается бок полосатый,
Мне сверху кивают утесы и виллы, но, ах, я ослаб,
И чуть в ответ шевелю лишь ногой розоватой.
Веселые, милые, белые-белые виллы...

Но взмыла вода. Лижущий берег исчез.
Зрочки изумленно впиваются в зыбкие скаты.
О, если б на пухнувший вал, отдуваясь и ухаю, взлез
Подводный играющий дьявол, пузатый-пузатый!..
Верхом бы на нем бы — и в море... далеко... далеко...

Соленым холодным вином захлебнулись уста.
Сбегает вода и шипит светло-пепельный гравий.
Душа обнажилась до дна, и чиста, и пуста —
Ни дней, ни людей, ни идей, ни имен, ни заглавий...
Сейчас разобьюсь-растворюсь и о берег лениво ударю.

<<1912>>
<1914>
Капри

* * *

На веранде кромешная тьма.
По брезенту лопочут потоки...
Спят сады и дома.
Ветер дышит упруго в глаза и кусает горячие щеки...
Олеандр шелестит у стены —
Под верандой какие-то тигры бушуют в таверне,
А вокруг теплый сон тишины
В колыбели вечерней...
За спиною квадрат освещенных дверей.
На столе розовеют приборы,
Белобрюхая камбала — нежное чудо морей,
Сыр, вино, помидоры...
В переулке сквозь дождь зазвенели по плитам шаги —
— Кто идет? — «Боттичелли!»
Русский нос, борода, сапоги,
Черный плащ до панели.
Улыбаясь, в столовую мирно идем,
На бокале огонь, словно солнечный луч в бриллианте.
Хорошо под бурчащим дождем
В светлой комнате пить молодое кьянти!..
Пить кьянти, шутить и молчать,
Над раскрытою папкой склоняться к офортам,
Сигарету крепчайшую зверски сосать
И смеяться раскатистым чертом...

<<1912>>
<1922>
Капри

* * *

Там внизу синее море.
Даль, как сон.
Сколько нас сегодня в сборе?
Три-четыре-семь персон.

У художницы Маревны
Роза в желтых волосах,
А глаза воды синей...
Я бедней:
У меня дрожит плачевно
Только крошка на усах...
Эй, синьор, графин ваш пуст!
После жирных макарон
Надо пить!
Тихих волн дремотный хруст.
Даль, как сон...

Парусина над нами надулась — едва-едва...
В сонном море сквозит все синей синева.
Скалы меркнут на солнце и тихо кружатся в глазах.
Волны ровно и глухо гудят и гудят на низах,—
И хозяйская дочка, склонившись, стройна и легка,
Подает золотой виноград, улыбаясь слегка...

<<1912>>
<1922>
Капри

НАД МОРЕМ

Над плоской кровлей древнего храма
Запели флейты морского ветра.
Забилась шляпа, и складки фетра
В ленивых пальцах дыбятся упрямо.

Направо море — зеленое чудо.
Налево — узкая лента пролива.
Внизу безумная пляска прилива
И острых скал ярко-желтая гряда.

Крутая барка взрезает гребни.
Нырять, рвется и все смелеет.
Раздулся парус — с холста алеет
Петух гигантский с поднятым гребнем.

Глазам так странно, душе так ясно:
Как будто здесь стоял я веками,
Стоял над морем на древнем храме
И слушал ветер в дремоте бесстрастной.

<1913>
Porto Venere. Spezia

ЛУКАВАЯ СЕРЕНАДА

О Розина!

Какая причина,
Что сегодня весь день на окошке твоём жалюзи?
Дело было совсем на мази —
Ты конфеты мои принимала,
Ты в ресницы меня целовала,—
 А теперь, под стеною, в грязи,
 Безнадежно влюбленный,
Я стою, словно мул истомленный.
С мандолиной в руках,
 Ах!

О Розина!

Ты чище жасмина...
Это знает весь дом, как вполне установленный факт.
Но забывши и клятвы и такт,
Почему ты с художником русским
В ресторане кутила французском?!
 Пусть пошлет ему Бог катаракт!
 Задушу в переулке повесу...
Закажу похоронную мессу
И залью шерри-бренди свой грех...
 Эх!

О Розина!

Умираю от сплина...
Я сегодня по почте, мой друг, получил гонорар...
Нарядись в свое платье веселого цвета «омар»,—
Поплывем мы к лазурному гроту,
Дам гребцам тридцать лир за работу,
 В сердце алый зардеет пожар —
 В складках нежного платья
Буду пальцы твои целовать я,
Заглушая мучительный вздох...
 Ох!

О Розина!

Дрожит парусина...
Быстрый глаз твой с балкона лукаво стрельнул и пропал,
В небе — вечера нежный опал.
Ах, на лестнице тихо запели ступени,
Подгибаются сладко колени,—
 О, единственный в мире овал!
 Если б мог, свое сердце к порогу,

Как ковер, под прекрасную ногу
Я б швырнул впопыхах...

Ах!

<<1912>>
<1922>
Капри

ЧЕЛОВЕК

Жаден дух мой! Я рад, что родился
И цвету на всемирном стволе.
Может быть, на Марсе и лучше,
Но ведь мы живем на земле.

Каждый ясный — брат мой и друг мой,
Мысль и воля — мой щит против «всех»,
Лес и небо, как нежная правда,
А от боли лекарство — смех.

Ведь могло быть гораздо хуже:
Я бы мог родиться слепым,
Или платным предателем лучших,
Или просто камнем тупым...

Все случайно. Приятно ль быть волком?
О, какая глухая тоска
Выть от вечного голода ночью
Под дождем у опушки леска...

Или быть безобразной жабой,
Глупо хлопать глазами без век
И любить только смрад трясины...
Я доволен, что я человек.

Лишь в одном я завидую жабе,—
Умирать ей, должно быть, легко:
Бессознательно вытянет лапки,
Побурчит и уснет глубоко.

<1912>

**СТИХОТВОРЕНИЯ 1908—1914 ГОДОВ,
НЕ ВОШЕДШИЕ В КНИГИ**

О TEMPORA... *

Наше племя измельчало,
Неврастения у всех.
Извращенность небывало
Слабых духом вводит в грех.

Даже крошечные дети
Попадают в эти сети
И емакуют с аппетитом,
Как печатают петитом:

«Старый дьякон канарейку
Обесчестил там и там.
Обхватил ее за шейку...»
Дальше точки... Стыд и срам!

«Генеральша Игрек с моськой
(Их застукал сам супруг)
И с служанкою Афроськой
Разделяет свой досуг».

А на днях, силен лукавый,
Был чудовищный сеанс —
Октябрист и крайний правый
Заключили мезальянс.

И, смущен распутством мерзким,
Уж давно твердит народ,
Что с портфелем министерским
Александр Гучков живет.

Это дико и ужасно!
Видно, мир идет к концу.
Если будет сын,— неясно —
Кем он будет по отцу?!

〈1908〉

* О времена... (лат.).

ГИМН ВЕСНЕ

(В современном стиле)

Долой сосновую фуфайку!
Прошел мороз.
Целуй квартирную хозяйку,
Целуй взасос!

Она, как божия коровка,
А ты, как жук...
Трещит гигантская шнуровка...
О, этот звук!

«Будь, как солнце!»
И купи бутылку водки,
Хлопни в донце,
Закуси хвостом селедки.

Будь, как пудель!
Действуй сразу на два пола.
Рай не в блюде ль?
Обнажим же — что не голо.

В ручейках на щепку лезет щепка.
Какой пассаж!
Напьюсь и радостно и крепко,
Как метранпаж.

Катим на Иматру, хозяйка!
И не красней...
Прощай, сосновая фуфайка,
На много дней.

<1908>

ИНОГДА

Муть разлилась по Неве...
Можно мечтать и любить.
Бесы шумят в голове,—
Нечем тоску напоить.

Баржи серы, солнца — нет — пляшет газа бледный свет,
Ветер, острый и сырой, скучно бродит над водой,
Воды жмутся и ворчат и от холода дрожат.

Выйди на площадь, кричи:
— Эй, помогите, тону!
Глупо и стыдно. Молчи
И опускайся ко дну.

Дождь частит. Темно, темно. Что в грядущем — все
равно,
Тот же холод, тот же мрак — все не то и все не так,
Яркий случай опоздал — дух не верит и упал.

Дома четыре стены —
Можешь в любую смотреть.
Минули лучшие сны,
Стоит ли тлеть?

<1908>

ИЗ ДНЕВНИКА ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩЕГО

После каждой привычно-бессмысленной схватки,
Где и я и противник упрямы, как бык,
Так пронзительно ноют и стынут лопатки
И щемит словоблудный, опухший язык.

Мой противник и я квартируем в России,
И обоим нам скучно, нелепо, темно.
Те же самые вьюги и черные Вии
По ночам к нам назойливо бьются в окно.

Отчего же противник мой (каждый день новый)
Никогда не согласен со мной — и кричит?
Про себя я решаю, что он безголовый,
Но ведь он обо мне то же самое мнит?

О, как жалко погибших навеки мгновений,
И оторванных пуговиц в споре крутом!
Нынче ж вечером, только застынут ступени,
Я запру свои двери железным болтом.

Я хочу, чтобы мысль моя тихо созрела,
Я люблю одиночество боли без слов.
Колотись в мои двери рукой озверелой
И разбей свои руки ленивые в кровь!

Не открою. Спорь с тумбой в пустом переулке.
Тот, кто нужен, я знаю, ко мне не придет.

И не надо. Я с чаем сам съем свои булки...
Тот, кто нужен, пожалуй, в Нью-Йорке живет.

Беспокойный противник мой (каждый день новый),
Наконец-то я понял несложный секрет —
Может быть, ты и я не совсем безголовы,
Но иного пути, кроме этого, нет:

Надо нам повторить все ошибки друг друга,
Обменяться печенкой, родней и умом,
Чтобы выйти из крепко-закрытого круга
И поймать хоть одно отраженье в другом.

И тогда... Но тогда ведь я буду тобою,
Ты же мной — и опять два нелепых борца...
О, видали ли вы, чтоб когда-нибудь двое
Понимали друг друга на миг до конца?!

После каждой привычно-бессмысленной схватки,
Исказив со Случайным десяток идей,
Я провижу... устройство пробирной палатки
Для отбора единственно-близких людей.

⟨1910⟩

ОПЯТЬ И ОПЯТЬ

(Элегия)

Нет впечатлений! Желтые обои
Изучены до прошлогодних клякс.
Смириться ль пред навязанной судьбою,
Иль ржать и рваться в битву, как Аякс?

Но мельниц ветряных ведь в городе не сыщешь
(И мы умны, чтоб с ними воевать),
С утра до вечера — зеваешь, ходишь, свищешь,
Потом, устав, садишься на кровать...

Читатель мой! Несчастный мой читатель,
Скажи мне, чем ты жил сегодня и вчера?
Я не хитрец, не лжец, и не предатель —
И скорбь моя, как Библия, стара.

Но ты молчишь, молчишь, как институтка:
И груб и нетактичен мой вопрос.

Я зол, как леопард, ты кроток, словно утка,
Но результат один: на квинту меч и нос!

Привыкли к Думе мы, как к застарелой грыже,
В слепую ночь слепые индюки
Пусть нас ведут... Мы головы все ниже
Сумеет опускать в сетях родной тоски.

И, сидя на мели, в негодование чистом,
Все будем повторять, что наша жизнь дика,
Ругая Меньшикова наглым шантажистом
И носом в след его все тыча, как щенка.

Но, к сожаленью, он следит ведь ежедневно,
И господу его не менее бодрый...
Что лучше: нюхать гниль и задыхаться гневно,
Иль спать без просыпа на дне своей норы?

Позорна скорбь! Мне стыдно до безумья,
Что солнце спряталось, что тучам нет конца,—
Но перед истиной последнего раздумья
Мне не поднять печального лица.

<1910>

* * *

Крутя рембрандтовской фигурой,
Она по берегу идет.
Слежу, расстроенный и хмурый,
А безобразники-амуры
Хохочут в уши: «Идиот!»

Ее лицо блее репы,
У ней трагичные глаза...
Зачем меня каприз нелепый
Завлек в любовные вертепы —
Увы, не смыслю ни аза!

Она жена,— и муж в отлучке.
При ней четыре рамоли,
По одному подходят к ручке —
Я не причастный к этой кучке,
Томлюсь, как барка на мели.

О лоботряс! Еще недавно
Я дерзко женщин презирал,
Не раз вставал в борьбе неравной,
Но здесь, на даче, слишком явно —
Я пал, я пал, я низко пал!

Она зовет меня глазами...
Презреть ли глупый ритуал?
А вдруг она, как в модной драме,
Всплеснет атласными руками
И крикнет: Хлыщ! Щенок! Нахал!!

Но пусть... Хочу узнать воочью:
«Люблю тебя и так и сяк,
Люблю тебя и днем и ночью...»
Потом прибегну к многоточью,
Чтоб мой источник не иссяк.

Крутя рембрандтовской фигурой,
Она прошла, как злая рысь...

И, молчаливый и понурый,
Стою на месте, а амур
Хохочут в уши: обернись!

〈1908〉
Гунгербург

МЕЧТЫ

(Буржуазный сон)

В коротких панталошках
Стоял я в темной спальне.
Был вечер. На окошке
Синел узор хрустальный.
Я ждал, как на иголках,
Я снова был младенцем.
Злодеи даже шелку
Закрыли полотенцем!
Но вот открыли двери,
Сноп света за портьерой —
И я увидел елку...

.

В огромной светлой зале было пусто.
На веточках, развешанные густо
Средь темной зелени, безумно хороши,
Качались лучшие мечты моей души:
Собрание сочинений Метерлинка,
Немецкий серый вязаный жилет,
В конвертике роскошная блондинка,
На недоступного Шаляпина билет,
Полдюжины сорочек чесучовых,
Варенье из айвы и теплые носки,
Два черных галстука и два светло-лиловых,
Для правки бритв английские бруски,
Квитанция на «Ниву», паспорт заграничный,
Кашне и пара розовых очков,
Желудочный экстракт, кровавый куст гвоздичный,
Тюленевый портфель и шесть воротничков,
Халва, «Ave Maria» Сегантини,
Бутылка Fine Champagne и купчая на дом,
Портрет Гюго и зонтик темно-синий...
А наверху повис, болтая языком,
(Как щедр был сон в фантазии своей!)
Инспектор старенький гимназии моей.

〈1908〉

ПИСЬМО

Лидка с мамой красят в столовой яйца
В лиловый, пунцовый и желтый цвет.
Я купил в табачной открытку с зайцем
И пишу милому дяде письмо и привет:

«Дорогой, любезный дядя:
Поздравляю крепко Вас.
Я здоров, а Ваша Надя
Ходит с юнкером в танцкласс.

На дворе раскрылись почки.
Брат сказал, что Вы скупой.
Дядя Петр! Как Ваши почки?
И прошел ли Ваш запой?

Бонна хочет за манеры
Отослать меня в Сибирь.
Не имеет прав. Холера!
Ваш племянник Боб Пузырь».

Две кляксы, здоровые кляксы! И четыре помарки.
Хотел стереть и вышла большая дыра.
Сойдет! Вместо русской наклеим гвинейскую марку —
Это будет большой подарок для дяди Петра.

〈1910〉

ПОДШОФЕ

«Чело-век! Какого черта
Притащил ты мне опять?»
— «А-ла́- аглицкого торта
Приказали вы подать».

— «Торта? Гм... К свиным собачьим.
Ярославец?.. Са-та-на...
Сядь-ка лучше. Посудачим...
Хочешь белого вина?»

— «Не могу-с. Угодно торта?
Я лакей-с, а вы барон...»
— «Человек, какого черта?
Брось дурацкий этот тон!

Удивил! У нас на службе
Все лакеи, как один.
Сядь, ну, сядь — прошу по дружбе». .
— «Не удобно-с, господин».

⟨1910⟩

ВОСКРЕСЕНЬЕ НА КРЕСТОВКЕ

Мимо нашего плота
Целый день плывут флотилии —
Городская мелкота
Высыпает в изобилии.
Томно крикают гитары,
Тилиликают гармоники.
Сватал черт, да подоконники —
Что ни лодочка, то пары...
Ловко девушки гребут!
Весла в весла так и хлопают.
По сажени в пять минут,—
А рулями только шлепают.
«Эй, кокарда! Нос правей!»
Но у той своя фантазия:
Все левее, да левей.
Трах — сшиблись: «Безобразие!»
«Волгу-матушку» поют,
Голоса такие зычные...
Молча в стороны различные
Два конторщика гребут.
Да... Столичный анархизм
В детство впал от малокровия.
В вышине звенит лиризм
Хорового сквернословия...
А под мостом водку пьют:
Там полным-полно народами,—
Под раскидистыми сводами
И прохлада и уют...
Вечер вспыхнул на воде.
Пусть кричат... Мгла, будни, здания,
Вся неделя в злом труде,
Вся неделя в злом молчании...

⟨1913⟩

ЧЕПУХА

Лают раки на мели,
Сидя задом к свету.
Финны с горя поднесли
Адрес кабинету.

Рукавишников, Иван,
Славен бородою.
На Парнас залез баран
И блюет водою.

«Дум-дум»-бадзе занял пост
Либерала Шварца.
В «Мелком бесе» спрятан хвост
Сологуба старца.

Лев Толстой сидит в тюрьме
После просьбы жалкой.
Руль закона на корме
Обернулся палкой.

Михаил Кузмин растлил
Сына в колыбели
И потом изобразил
Все сие в новелле.

Брюсов Пушкина, шутя,
Хлопает по чреву.
Критик Н., в носу крутя,
Предается гневу.

Маркса сбросили в обрыв
Санин с Пинкертоном.
Спят скоты, глаза открыв,
В «Домике картонном».

В Петербурге бьют отбой,
На местах бьют в рыло —
У мышей, само собой,
Все нутро изныло.

Гражданин надет на кол
Небесам в угоду.
Шалый, полый, голый пол
Сел верхом на моду.

Раз один калиф на час
Промычал угрюмо:
«Слава Богу, есть у нас
Третья Полу-Дума...»

Наварили требухи,
Набросали корок.
Ешьте, свиньи! Чепухи
Хватит лет на сорок.

⟨1908⟩

САТИРИКОНЦЫ

(Рождественский подарок)

М. Г. К о р н ф е л ь д

Это милый наш издатель,
Да хранит его Создатель!
Он приятен и красив,
Как французский чернослив.
Речь его нежней ромansa —
Заикнешься ль об авансе,
Он за талию возьмет:
«С наслажденьем! Хоть пятьсот!»
На журнальном заседанье
Беспристрастней нет созданья:
«Кто за тему, ноги вверх!
А рисуночки — в четверг».

А. Т. А в е р ч е н к о

В колчане сажень крепких стрел,
И полон рот острот,
Он в быте полсобаки съел,
А в юморе — шестьсот.
По темпераменту сей гой
Единый на земле:
Живет с Медузой, и с Фомой,
И с Волком, и с Ave.
Нельзя простить лишь одного —

Кровосмеситель он:
«Сатирикон» родил его,
А он «Сатирикон».

А. А. Радаков

Добродушен и коварен,
Невоздержан на язык —
Иногда рубаха-парень,
Иногда упрям, как бык.
 В четырех рисунках сжатых
 Снимет скальп со ста врагов,
 Но подметки сапогов
 Все же будут, как квадраты.
В хмеле смеха он, частенько,
Врет, над темами скользя.
Не любить его нельзя,
Полюбить его трудненько.

Н. В. Ремизов

У него шестнадцать глаз —
Все работают зараз:
На шестнадцать верст окрест
Ловят каждый гнусный жест.
 С этим даром всякий homme *
 Угодил бы в желтый дом.
 Он же бодр, игрив и мил,
 Как двухлетний крокодил.
С грациозной простотой
Брызжет серной кислотой
На колючий карандаш
И хохочет, как апаш.

А. А. Юнгер

Изящен, как Божья коровка,
Корректен и вежлив, как паж,
Расчесана мило головка
И, словно яичко, visage **.
 Он пишет, как истый германец,
 Могилки, ограды, кресты,
 Шкелетов мистический танец
 И томной сирени кусты.
Когда же жантильность наскучит,
Он кисть подымает, как плеть,

* Человек (фр.).

** Лицо (фр.).

И рожу Гучковскую вспучит
Так злобно, что страшно смотреть!

А. Е. Яковлев

Коралловый ротик,
Вишневые глазки —
О скрытый эротик,
О рыцарь подвязки!
 Учась «джиу-джитсу»,
 Он чахнет в неврозах,
 Рисуя девицу
 В пикантнейших позах.
Недавно у сквера-с
Он сфинкса заметил —
И в нем даже эрос
Нашел этот петел.

С а ш а Ч е р н ы й

Как свинцовою доской,
Негодую и любя,
Бьет рифмованной тоской
Дальних, ближних и себя.
 Солнце светит — оптимист,
 Солнце скрылось — пессимист,
 И на дне помойных ям
 Пьет лирический бальзам.
Безбилетный пассажир
На всемирном корабле —
Пил бы лучше рыбий жир,
Был бы счастлив на земле!

<1909>

КНИГИ

Есть бездонный ящик мира —
От Гомера вплоть до нас.
Чтоб узнать хотя б Шекспира,
Надо год для умных глаз.
Как осилить этот ящик? Лишних книг он не хранит.
Но ведь мы сейчас читаем всех, кто будет позабыт.
 Каждый день выходят книги:
 Драмы, повести, стихи —
 Напомаженные миги

Из житейской чепухи.
Урываем на одежде, расстаемся с табаком
И любимся на полке каждым новым корешком.
Пыль грязнит пуды бумаги.
Книги жмутся и растут.
Вот они, антропофаги
Человеческих минут!
Заполняют коридоры, спальни, сени, чердаки,
Подоконники, и стулья, и столы, и сундуки.
Из двухсот нужна одна лишь —
Перероешь, не найдешь
И на полки грузно свалишь
Драгоценное и ложь.
Мирно тлеющая каша фраз, заглавий и имен:
Резонерство, смех и глупость, нудный случай, яркий
стон...

Ах, от чтенья сих консервов
Горе нашим головам!
Не хватает бедных нервов,
И чутье трещит по швам.
Переполненная память топит мысли в вихре слов...
Даже критики устали рубить пуды узлов.
Всю читательскую лигу
Опросите: кто сейчас
Перечитывает книгу,
Как когда-то... много раз?
Перечтите, если сотни быстрой очереди ждут!
Написали — значит, надо. Уважайте всякий труд!
Можно ль в тысячном гареме
Всех красавиц полюбить?
Нет, нельзя. Зато со всеми
Можно мило пошалить.
Кто «Онегина» сегодня прочитает наизусть?
Рукавишников торопит. «Том двадцатый». Смех
и грусть!

Кто меня за эти строки
Митрофаном назовет,
Понял соль их так глубоко,
Как хотя бы... кашалот.
Нам легко... Что будет дальше? Будут вместо городов
Неразрезанною массой мокнуть штабели томов.

⟨1910⟩

БУРЕНИНУ

(Эпитафия)

Зарезавший Буренина-поэта
И взятый на хлеба в известный дом,
Он много лет кривлялся там за это,
Питаюсь «фаршированным жидом».

Теперь он умер. Плачь, о плачь, прохожий!
Поэт-Буренин так давно убит,
А старый «критик»-шут в змеиной коже
И после смерти все еще хрипит.

⟨1910⟩

БЕЗДАРНОСТЬ

Где скользну по Мопассану,
Где по Пушкину пройдусь.
Закажите! От романа
До стихов за все берусь.

Не заметите, ей-богу.
Нынче я совсем не та:
Спрячу ноль в любую тогу,
Слог, как бисер... Красота!

Научилась: что угодно?
Со смешком иль со слезой,
По старинке или модно,
С гимном свету иль с козой?

От меня всех больше проку:
На Шекспирах не уйти, —
Если надо выжму к сроку
Строк пудов до десяти.

Я несложный путь избрала,
Цех мой прост, как огурец:
«Оглавление — начало,
Продолжение — конец».

У меня одних известных
В преискуранте сто страниц:

Есть отдел мастито-пресных,
Есть марк-твены из тупиц.

Бойко-ровно-безмятежно...
Потрафляют и живут.
Сотни тысяч их прилежно
Вместо семечек грызут.

Храма нет-с, и музы — глупость,
Пот и ловкость — весь багаж:
С ним успех, забывши скупость,
Дал мне «имя» и тираж.

Научилась. Без обмана:
Пол-народ-смерть-юмор-Русь...
Закажите! От романа
До стихов за все берусь.

<1912>

ХУДОЖНИКУ

Если ты еще наивен,
Если ты еще живой,
Уходи от тех, кто в цехе,
Чтобы был ты только свой.
Там, где шьют за книгой книгу,
Оскопят твой дерзкий дух,—
Скормишь сердце псу успеха
И охрипнешь, как петух...
Убегай от мутных споров.
Что тебе в чужих речах
О теченьях, направленьях
И артельных мелочах?
Реализм ли? Мистицизм ли?
Много «измов». Ты — есть ты.
Пусть кто хочет ставит штемпель
На чело своей мечты.
Да и нынче, что за споры?
Ось одна, уклон один:
Что берет за лист Андреев?
Ест ли ящериц Куприн?
Если ж станет слишком трудно
И захочется живых,

Заведи себе знакомых
Средь пожарных и портных.
Там по крайней мере можно
Не томиться, не мельчать,
Добродушно улыбаться
И сочувственно молчать.

⟨1913⟩

ПЕРЕД КНИЖНОЙ ВИТРИНОЙ

Обложки, обложки...
Те — словно маркизы, другие, как прачки,
Толпятся в окошке
И просят безмолвно подачки...
Кто лучше, кто хуже?
Граненые стекла горят, как алмазы...
Надменные фразы,
Пот сердца и брызги из лужи.
Мечта нам утеха —
Все больше мы просим взаймы у искусства.
Но музами цеха
Насытить ли нищее чувство?
Одна за другую
Мелькнут, как манерные девки и пэри,
И серой ордою
Другие врываются в двери.

А те, кто писали?
Таперы при модных парнасских салонах,
Скрыв тряпками дали,
Стоят — на ходулях в коронах...
Стоят, словно боги,
Исполнены мании гордых претензий
И в тайной тревоге
Ждут дружеских теплых рецензий.
Иные забыли
И сон, и покой и, надевши вериги,
Суконные были
Сшивают в суконные книги.
Иные с азартом
Сбивают чужое с беспечностью эха,
И вьется над стартом
Раскрашенный флюгер успеха...

Вдоль гладкой дорожки,
Качаясь, шумят трехнедельные лавры,
Чуть теплятся плоски,
И лупит Реклама в литавры.

<1914>

ЭГО-ЧЕРВИ

(На могилу русского футуризма)

Так был ясен смысл скандалов
Молодых микрокефалов
Из парнасских писарей:
Наполнять икотой строчки
Или красить охрой щечки
Может каждый брадобрей.

На безрачье — червь находка.
Рыжий цех всегда шел ходко,
А подавно в черный год.
Для толпы всегда умора
Поглазеть, как Митрадора
Тициана шваброй бьет.

Странно то лишь в этой банде,
Что они, как по команде,
Презирали все «толпу».
У господ они слышали,
Что Шекспиры презирали —
Надо, значит, и клопу...

Не смешно ли, сворой стадной
Так назойливо, так жадно
За штаны толпу хватать —
Чтоб схватить, как подаянье,
От толпы пятак вниманья,
На толпу же и плевать!

<<1913>>
<1914>

БЕЗВРЕМЕНЬЕ

(Элегия)

Туманы Северной Пальмиры
Недвижно стынут над Невой.
Ах, дайте тему для сатиры
Цензурной, новой и живой!

Буренин? Нет, что мертвых трогать,
Пусть в «Новом времени» гниет;
Положишь, бедного, на ноготь
И щелкнешь — вонь кругом пойдет.

Писатель Меньшиков? Обновка!..
Он, как трамвай, навяз в зубах;
Пусть выдыхается — неловко
Писать сатиры о гробах.

Иль взять Столыпина за жабры?
Опять не ново и претит —
Ведь он безвредней старой швабры...
Пусть пишет — Бог его простит.

Но кто? Быть может, Пуришкевич?
Я — чистоплотный господин!
Пускай уж лучше Дорошевич
Его поместит в «Сахалин».

Нет крупных гадин! — Измельчали...
Ломаю в горести перо.
Разумно ль трогать их? Едва ли —
И неприлично, и старо.

Вы улыбнулись? Вы готовы
Назвать, быть может, тех и тех...
Но будем немые, как коровы,
Чтоб не вводить друг друга в грех.

Щиплю в раздумье струны лиры
И никну скорбно головой...
Ах, дайте тему для сатиры
Цензурной, новой и живой!..

〈1908〉

«ПЬЯНЫЙ» ВОПРОС

Мужичок, оставьте водку,
Пейте чай и шоколад.
Дума сделала находку:
Водка — гибель, водка — яд.

Мужичок, оставьте водку.
Водка портит божий лик,
И уродует походку,
И коверкает язык.

Мужичок, оставьте водку,
Хлеба Боженька подаст
После дождичка в субботу...
Или «ближний» вам продаст.

Мужичок, оставьте водку,
Может быть (хотя навряд),
Дума сделает находку,
Что и голод тоже яд.

А пройдут еще два года —
Дума вспомнит: так и быть,
Для спасения народа
Надо тьму искоренить...

Засияет мир унылый —
Будет хлеб и свет для всех!
Мужичок, не смейся, милый,
Скептицизм — великий грех.

Сам префект винокурений
В Думе высказал: «Друзья,
Без культурных насаждений
С пьянством справиться нельзя...»

Значит... Что ж, однако, значит?
Что-то сбились мы слегка,—
Кто культуру в погреб прячет?
Не народ же... А пока —

Мужичок, глушите водку,
Как и все ее глушат,
В Думе просто драло глотку
Стадо правых жеребят.

Ах, я сделал сам находку:
Вы культурней их во всем —
Пусть вы пьете только водку,
А они коньяк и ром.

⟨1908⟩

* * *

Не думайте, что Босния
Пришита Франц-Иосифом
Для пользы хитрой Австрии...
Я тоже думал так.

Но Франц-Иосиф грамотно,
Умно и убедительно
В рескрипте доказал,

Что Босния захвачена
Невиннейшею Австрией
Для пользы... той же Боснии.
Знакомые слова!

А чтоб она не плакала
От этой эволюции,
Сошьют ей конституцию
Из стареньких штанов,

Штанов, кругом заплатанных,
Запятнанных, захватанных,
Штанов, совсем изношенных
И лишь недавно сброшенных
В австрийской стороне.

⟨1908⟩

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДУМСКИХ ИГР

(Беспартийная элегия)

Теперь, когда прошла предвыборная свалка,
Осмелюсь беспартийный голос мой поднять:
Избранников кадет до крупных слез мне жалко...
Позвольте мне над ними порыдять!

Они, как девушки среди бродяг вертепа,
Краснея и стыдясь, потупят глазки вниз,
Молчать нельзя, а говорить нелепо,
В сердцах подмок предвыборный девиз.

Они — три лебедя (а октябристы — раки,
Союзники же — щуки без зубов)...
Впрягаться ль в воз? Измажешь только фраки,
Натрешь плечо и перепортишь кровь.

Три девушки исправят ли ватагу
Хозяйских псов, косясь на кабинет?
О нет! О нет! Сочувственную влагу
Я лью в унынии и повторяю: «Нет».

А вы, бесстыдники, бездушные кадеты,
Зачем послали в Думу «малых сих»?
Они чрез месяц исхудают, как скелеты,
И будут ручки кресел грызть своих.

О, лучше б дома пить им чай с лимоном,
Мечтать о Лондоне, читать родную «Речь»,
Чем, оглушаясь хомяковским звоном,
Следить за ритмом министерских плеч!

Что *им* сказать, когда такая пушка,
Как Родичев, и тот умолк давно?
Лишь Маклаков порою, как кукушка,
Снесет яйцо. Кому — не все ль равно?

На днях опять начнется перепалка,
И воз вперед не двинется опять...
Избранников кадет до крупных слез мне жалко:
Их — раки с щуками потащут с возом вспять.

<1909>

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС

Не один, но четыре еврейских вопроса!
Для господ шулеров и кокоток пера,
Для зверей, у которых на сердце кора,
Для голодных шпионов с душою барбоса
Вопрос разрешен лезвием топора:

«Избивайте евреев! Они — кровопийцы.
Кто Россию к разгрому привел? Не жида ль?
Мы сотрем это племя в вонючую пыль.
Паразиты! Собаки! Иуды! Убийцы!
Вот вам первая темная быль.

Для других вопрос еврейский —
Пятки чешущий вопрос:
Чужд им пафос полицейский,
Люб с горбинкой жирный нос,
Гершка, Сруль, «свиное ухо» —
Столь желанные для слуха!
Пейсы, фалдочки капотов,
Пара сочных анекдотов:
Как в вагоне, у дверей
В лапсердаке стал еврей,
Как комично он молился,
Как на голову свалился
С полки грязный чемодан —
Из свиной, конечно, кожи...

Для всех, кто носит имя человека,
Вопрос решен от века и на век —
Нет иудея, финна, негра, грека,
Есть только человек.

У все, кто носит имя человека,
И был, и будет жгучий стыд за тех,
Кто в темной чаще заливал просеки
Кровавой грязью, под безумный смех...

Но что — вопрос еврейский для еврея?
Такой позор, проклятье и разгром,
Что я его коснуться не посмею
Своим отравленным пером...

⟨1909⟩

ЮДОФОБЫ

Они совершают веселые рейсы
По старым клоакам оплаченной лжи;
«Жида и жидовки... Цыбуля и пейсы...
Спасайте Россию! Точите ножи!»

Надевши перчатки и нос зажимая,
(Блевотины их не выносит мой нос),
Прошу вас ответить без брани и лая
На мой бесполезный, но ясный вопрос:

Не так ли: вы чище январских сугробов,
И мудрость сочится из ваших голов,—
Тогда отчего же из ста юдофобов
Полсотни мерзавцев, полсотни ослов?

〈1909〉

УСТАРЕЛЫЙ

Китти, кис,ними же шляпку,
Распусти свою косу.
Я возьму тебя в охапку,
На кушетку понесу...

Лжет Кузмин, и лжет Каменский,
Арцыбашев и Бальмонт —
Чист и нежен взор твой женский,
Как апрельский горизонт.

Демон страсти спрятал рожки,
Я гляжу в твои уста,
Глажу маленькие ножки,
Но любовь моя чиста.

Если ж что-нибудь случится
(В этом деле — кто пророк?) —
Пусть мой котик не стыдится
И не смотрит в потолок.

Об одном прошу немало
Со слезами на глазах:
Не описывай финала
Ни в рассказах, ни в стихах!

〈1908〉

* * *

Мы сжились с богами и сказками,
Мы верим в красивые сны,
Мы мир разукрасили сказками
И душу нашли у волны,

И ветру мы дали страдание,
И звездам немой разговор,
Все лучшее — наше создание
Еще с незапамятных пор.

Аскеты, слепцы ли, безбожники —
Мы ищем иных берегов,
Мы все фантазеры-художники
И верим в гармонию слов.

В них нежность тоски обаятельна,
В них первого творчества дрожь...
Но если отвлечься сознательно
И вспомнить, что все это ложь,

Что наша действительность хилая —
Сырая, безглазая мгла,
Где мечется тупость бескрылая
В хаосе сторукого зла,

Что боги и яркие сказки
И миф воскресенья Христа —
Тончайшие, светлые краски,
Где прячется наша мечта,—

Тогда б мы увидели ясно,
Что дальше немислимо жить...
Так будем же смело и страстно
Прекрасные сказки творить!

<1908>

ВЕСЕННИЕ СЛОВА

У поэта только два веленья:
Ненависть — любовь,
Но у ненависти больше впечатлений,
Но у ненависти больше диких слов!

Минус к минусу цепляется ревниво,
Злой итог бессмысленно растет.
Что с ним делать? Прятаться трусливо?
Или к тучам предъявлять безумный счет?

Тучи, хаос, госпожа Первопричина!
Черт бы вас побрал.
Я, лишенный радости и чина,
Ненавидеть бешено устал.

Есть в груди так называемое сердце,
И оно вопит, а пищи нет.

Пища ль сердцу желчь и уксус с перцем?
Кто украл мой нектар и шербет?!

Эй, душа, в трамвайной потной туше,
Ты, что строчки эти медленно жуешь!
Помнишь, как мы в детстве крали груши
И сияли, словно новый грош?

Папа с мамой нам дарили деньги,
Девушки — «догробную любовь»,
Мы смотрели в небо (к черту рифму)
И для нас горели облака!..

О, закройся серою газетой,
Брось Гучкова, тихо унесись,
Отзовись на острый зов поэта
И в перчатку крепко прослезись...

Пусть меня зовут сентиментальным
(Не имею ложного стыда),
Я хочу любви жестоко и печально,
Я боюсь тупого «никогда».

Я хочу хоть самой куцей веры...
Но для нас уж дважды два — не пять,
Правда ткет бесстрастно невод серый
И спускается на голову опять.

Лезет в рот и в нос, в глаза и в уши
(У поэта — сто ушей и глаз) —
В утешенье можешь бить баклуши
И возить везы бескрылых фраз:

«Отчужденность», «переходная эпоха» —
Отчего, к чему, бухгалтеры тоски?!
Ах, еще во времена Еноха
Эту мудрость знали до доски.

Знали. Что ж — иль меньше стало глупых?
Иль не мучат лучших и детей?!
О, не прячьте истину в скорлупы,
Не высиживайте тусклых штемпелей!

Вот сейчас весна румянит стены.
Стоит жить. Не ради ваших фраз —
Ради лета, леса и вербены,
Ради Пушкина и пары женских глаз,

Ради пестрых перемен и настроений,
Дальних встреч и бледных звезд ночей.
Ради пройденных с проклятием ступеней,
Ради воска тающих свечей —

Вот рецепт мой старый и хваленый,
Годный для людей и лошадей...
В чем виновен тот, кто любит клены
И не мучит лучших и детей?

⟨1910⟩

ГЛАЗА!

У моей любимой Любы
Удивительные зубы,
Поразительные губы
И точеный, гордый нос.

Я борюсь с точеным носом,
Зубы ставлю под вопросом,
Губы мучу частым спросом
И целую их взасос.

Защищаюсь зло и грубо,
О, за губы и за зубы
Не отдам уютной шубы
Одиночества и сна!

Не хочу, хочу и трушу...
Вновь искать «родную душу» —
И найти чужую тушу,
Словно бочку без вина?

Но взгляну в глаза — и атеп! *
Вот он темный старый пламень...
Бедный, бедный мой экзамен!
Провалился и сдаюсь.

Вновь, как мальчик, верю маю
И над пропастью по краю
Продвигаюсь и сгораю,
И ругаюсь, и молюсь.

⟨1910⟩

* Конец (лат.).

ЗАСТОЛЬНАЯ

(Отнюдь не для алкоголиков)

В эту ночь оставим книги,
Сдвинем стулья в крепкий круг,
Пусть, звеня, проходят миги,
Пусть беспечность вспыхнет вдруг!
Пусть хоть в шутку,
На минутку,
Каждый будет лучший друг.

Кто играет — вот гитара!
Кто поет — очнись и пой!
От безмолвного угара —
Огорчительный запой.
Пой мажорно,
Как валторна,
Подвывайте все толпой.

Мы, ей-богу, не желали,
Чтобы в этот волчий век
Нас в России нарожали
Для прокладки лбом просек...
Выбьем пробки!
Кто не робкий —
Пей, как голый древний грек!

Век и год забудем сразу,
Будем пьяны вне времен,
Гнев и горечь, как заразу,
Отметим далеко вон.
Пойте, пейте,
Пламенейте,
Хмурый — падаль для ворон!

Притупилась боль и жало,
Спит в тумане млечный путь...
Сердцу нашему, пожалуй,
Тоже надо отдохнуть —
Гимн веселью!
Пусть с похмелья
Завтра жабы лезут в грудь...

Други, в пьяной карусели
Исчезают верх и низ...
Кто сейчас, сорвавшись с мели,
Связно крикнет свой девиз?

В воду трезвых,
Бесполезных,
Подрывающих акциз!

В Шуе, в мае, возле свай
Трезвый сыч с тоски подох,
А другой пьет ром в Валдае —
И беспечно ловит блох.

Смысл сей притчи:
Пейте притче,
Все, кто до смерти засох!

За окном под небосводом
Мертвый холод, свист и мгла...
Вейтесь быстрым хороводом
Вкруг философа-стола!

Будем пьяны!
Вверх стаканы.
С пьяных взятки, как с козла...

⟨1911⟩

НАДО

Надо быть свободным и холодным,
Надо стиснуть зубы и смотреть,
Как, топчась в труде неблагородном,
Хамы ткут бессмысленную сеть.

Надо зло и гордо подыматься,
Чтоб любовь и жалость сохранить,
На звериный рев не откликаться
И упорно вить свою живую нить...

Надо гневно помнить, встав с постели,
Что кроты не птицы, а кроты,
Что на стоптанных, заплеванных панелях
Никогда не вырастут цветы.

Надо знать, что жизнь не вся убита,
Что она пока еще моя,
Что под щепками разбитого корыта
Спит тоскливая, ленивая змея...

Надо помнить в дни тоски и лая,
Что веки — то, что станет мной,
Из земли не вылезет, вздыхая,
Опьяняться солнцем и весной.

Разве видел мир наш от Адама
Хоть один свободный, полный час?
Декорации меняются, но драма
Той же плетью бьет теперь по нас.

Слишком много подло-терпеливых,
Слишком много глупых, злых, чужих,
Слишком мало чутко-справедливых,
Слишком мало умных и живых!

Только нам еще больней, чем предкам:
Мы сложнее, — и жажда все растет,
Города разбили нас по клеткам,
Стон постыл и нарастает счет.

Кто покажет мне над этой свалкой волчьей
Мир и свет, сверкающий вдали?
Перед ним почтительно и молча
Преклонюсь, ликуя, до земли.

Но пророки спрятались в программы...
Закрываю уши и глаза
И, смеясь, карабкаюсь из ямы,
А в душе холодная гроза.

Надо быть свободным и победным,
Надо жадно вить живую нить...
Чтоб замученным, испуганным и бледным
Хоть цветную сказку подарить.

⟨1910⟩

ГЕРОЙ

(Дурак без примеси)

На ватном бюсте пуговицы горят.
Обтянут зад цветной диагональю,
Усы, как два хвоста у жеребят,
И ляжки движутся развалистой спиралью.

Рукой небрежной упираясь в талью,
Вперяет вдаль надменно-плоский взгляд,
И всех иных считает мелкой швалью,
Несложно пыжится от головы до пят.

Галантный дух помады и ремней...
Под козырьком всего четыре слова:
«Pardon!», «Merci!», «Канашка» и «Мерзавец!»

Грядет, грядет! По выступам камней
Свирепо хляпает тяжелая подкова...
Пар из ноздрей... Ура, ура! Красавец.

⟨1910⟩

Когда в душе все скомкано и смыто
 Бездарной толчеей российских дел
 И мусором бескрасочного быта —
 Окрошкой глупых жестов, слов и тел,
 Стремись к тем, чьи взоры так беспечно
 Со всей земли цветные соки пьют
 И любят все, что временно и вечно...
 Художниками — люди их зовут.

И вот придешь. Заткнувши уши жаждой
 Томительной и чуткой красоты,
 Не слушаешь, что мелет каждый,
 Рассматривая свежие холсты.
 Глаза, в предчувствии, доверчиво раскрыты:
 Где пафос яркий вольных, нежных душ?
 Приму! Упьюсь! Все «злобы дня» забыты,
 И в сердце под сукном играет туш.

Галантные виньетки и заставки.
 Обложки модных сборников стихов.
 Лиловые и желтые пиявки
 И четки из манерных червяков.
 Редиска и омары на тарелке,
 Шесть штук гостинных с вазой у окна!
 Сусальное село. Туманные безделки...
 Собачка с бантиком. Лошадка из сукна...

А вот и вдохновенные заказы:
 Портрет полковника Бубнова в орденах,
 Портрет салонной дамы в шляпе с газом,
 Портрет фон-Курца в клетчатых штанах...
 Ах, Боже мой. Заказ святое дело,—
 Но для чего фон-Курцев выставлять?
 Ведь в жизни нам до смерти надоело
 Их чинную бесцветность созерцать!

Идешь домой обиженный и хмурый:
 Долой фантазию и мысли зоркий луч!..
 Редиска и полковник серо-бурый
 Пускай журчат, как вешний вольный ключ...
 Но я там не нашел такой картины,
 К которой бы тянуло вновь и вновь —
 Стоять... смотреть... и уходить в глубины
 Поющих красок, сильных, как любовь...

Профан? О да, заткните рот скорее!
Но во Флоренции и Дрездене профан,
Качаясь, уходил из галереи,
Симфонией мечты заморожен и пьян.
И мир природы близок каждой веткой —
Земля и небо, штиль и ураган...
А ваши банты, Курцы и виньетки
Так недоступны? Что же — я профан.

〈1911〉

У ПОСТЕЛИ

Не тоска, о нет, не тоска —
Ведь, давно притупилась тоска
И посеяла в грудях песка
Безнадёжно-бесплодный ноль.
Не тоска, о нет, не тоска!

И не гнев, не безумный гнев —
Гнев, как пламя, взволнован и жгуч,
Гнев дерется, как раненый лев,
И вздымает свой голос до туч...
Нет, не гнев, не безумный гнев!

Иль усталость? Сон тех, кто сражен?
Малокровие нищей души,
Что полезла в огне на рожон
И добыла в добычу шиши?
Но ведь ты и не лезь на рожон.

Это лень! Это мутная лень,
Словно плесень прилипнув к мозгам,
Вяло душит сегодняшний день,
Повернувшись спиною к врагам.
Это лень, это грязная лень!

«Все равно!» — не ответ, берегись!
«Жизнь без жизни» — опасный девиз.
Кто не рвется в свободную высь,
Неизбежно свергается вниз...
Берегись, берегись, берегись!

Быть живым драгоценней всего...
Пусть хоть гордость разбудит тебя.
Если спросишь меня: для кого?
Я скажу: для своих и себя.
Быть живым драгоценней всего!

⟨1911⟩

ЧУДО

Помню — в годы той эпохи
Он не раз мне признавался,
Что приятны даже блохи,—
Если блохи от нее.

Полюбив четыре пуда
Нежно-девичьего мяса,
Он твердил мне: «Это чудо!»
Я терялся и молчал.

В день прекрасный, в день весенний,
В день, когда скоты, как люди,
Он принес ей пук сирени
И признание в любви.

Без малейшего кокетства
Чудо просто возразило:
«Петр Ильич! На ваши средства
Мы вдвоем не проживем...»

И, воздержанный, как кролик,
С этих пор Ромео бледный
Начал пить, как алкоголик,
Утром, днем и по ночам.

Чудо в радостном волненье
Мне сказало: «Как я к стати
Отклонила предложенье!
Пьющий муж — страшной чумы».

Вот и все. Мой друг опился,
Трафаретно слег в больницу
И пред смертью все молился:
«Чудо, чудо!» Я молчал.

⟨1911⟩

ДЕЖУРНОЕ БЛЮДО

Всегда готовое голодное витийство
Нашло себе вопрос очередной:
Со всех столбов вопит «Самоубийство»,—
Масштаб мистический, научный и смешной.

Кто чаще травится — мужчины или дамы,
И что причиной — мысли иль любовь?
Десятки праздных с видом Далай-Ламы
Макают перья в тепленькую кровь.

И лихачи, искрясь дождем улыбок
И не жалея ловких рук и ног,
В предсмертных письмах ищут лишь ошибок:
Там смерть чрез ять,— а там — комичен слог.

Последний миг подчас и глуп, и жалок,
А годы скорби скрыты и темны,—
И вот с апломбом опытных гадалок
Ведут расценку трупов болтуны.

В моря печатных праздных разговоров
Вливаются потоки устных слов:
В салонах чай не вкусен без укоров
По адресу простреленных голов...

Одних причислят просто к сумасшедшим,
Иных — к незрелым, а иных — к «смешным»...
Поменьше бы внимания к ушедшим,
Побольше бы чутья к еще живым!

Бессмысленно стреляться из-за двойки,—
Но сами двойки — ваша ерунда,
И ваш рецепт тупой головоломки
Не менее бессмыслен, господа!

И если кто из гибнущих, как волки,
Выходит из больницы иль тюрьмы,—
Не все ль равно вам, выпьет он карболки
Или замерзнет в поле средь зимы?

Когда утопленника тащат из канала,
Бегут подростки, дамы, старички,
И кто-нибудь, болтая что попало,
Заглядывает мертвому в зрачки.

Считайте ж ведра укусного зелья!
Пишите! Глотка лжива и черства:
«Сто тридцать отравилось от безделья,
А двести сорок два — из озорства».

⟨1913⟩

РАЗДАВАТЕЛЮ ВЕНКОВ

«Искусство измельчало!»
Ты жаждешь облаков?
Приподыми забрало,
Читатель Кругляков:
Вербицкая и сало
И юмор пошляков.

Тебе нужны молитвы?
Пред сном, иль просто так?
Быть может, гимн для битвы?
Ах ты, тишайший рак!
Возьми-ка лучше бритву,
Побрейся — и в кабак.

Что дал ты Аполлону?
Идею, яркий быт?
Опору, оборону?
Вознес его на щит?
Вон сохнут по хитону
Следы твоих копыт...

Кто моден — рев хвалений,
Не моден — и дебош.
Вчера был Гамсун — гений,
Сегодня Гамсун — грош.
Для всех, брат, воскресений
Где гениев найдешь?

«Искусство измельчало!»
А знаешь, Кругляков,
Как много славных пало
В тисках твоих оков?
Заглохло и завяло
Иль не дало ростков...

В любой семье ты сила.
И это ты виной,

Что и детей могила
Пленяет тишиной...
А ведь среди них, мой милый,
Был гением иной.

Брось рупор стадной глотки,
Румяное робя!
Заказывай колодки
Лишь шьющим на тебя,—
Бог муз без глупой плетки
И сам найдет себя.

<1913>

ПРОЕКТ

(Привилегия не заявлена)

На каждую новую книжку по этике
Приходятся тысячи новых орудий.
Что Марсу при свете такой арифметики
Узоры людских словоблудий?
Долой сентименты!

Но Марс тоже терпит порой затруднения:
Пуль много, а хлеб с каждым днем все дороже.
Нельзя ж на войне, умирая в сражении,
Глодать барабанные кожи.
Долой сентименты!

Заботы господ интендантских чиновников?
Но эти ведь заняты больше собою.
Нет хлеба, нет мяса,— ищите виновников,
Сползаясь к котлам после боя...
Долой сентименты!

Пусть сгинут тупые подрядчики-гадины!
О Марс! Покошись лишь железною бровью:
В полях твоих груды отборной говядины
Дымятся горячею кровью...
Долой сентименты!

<1913>

ВЕНЧАНИЕ

(Из К. Генкеля)

Фата, букет и веер
И черный птичий фрак.
Гряди, заводчик Мейер,
С девицей Зигеллак!
Орган и пенье хора,
Алтарь в огне горит,
За парой средь собора
Фаланга пар стоит.
Весь в черном, пастырь слово
Промолвил со слезой —
И таинство готово:
Герр Мейер — ты с женой!
«Да!» вздохом прокатилось
С ее дрожащих уст.
К вину она склонилась,
Почти лишившись чувств.
Они с подушек встали,
Он руку подал ей.
Толпою ожидали
Их гости у дверей.
Платки намокли сильно,
Их спрятали давно.
Святой пастор умильно
Косился на вино.
Марш Вагнера. И вскоре
Все тронулись к купе.
Поэт кудрявый в горе
Скрывался там в толпе.
Он «ею» вдохновлялся,
Он «ей» стихи писал —
Ах, с верой он расстался
И проклял идеал!..
Душистая записка
Гласила: «Мы друзья,
Но кончим переписку —
Эфиром жить нельзя».
О белый шлейф, о веер!

О черный птичий фрак!
За-вод-чи-ца фон-Мей-ер
Из рода Зигеллак...

〈1908〉

НЕМЕЦКИЕ СТУДЕНТЫ

В Европе студенты политикой
не занимаются.

(Из реакционных прописей)

Студенты-корпоранты,
Лихие господа!
В науках обскуранты,
Но рыцари всегда.
Все Карлы, Францы, Фрицы —
Традиции рабы:
Изрублены из лица,
Изранены их лбы.
Но пылкая отвага —
Мишурная гроза:
Щадит стальная шпага
И сердце, и глаза.
Здесь колют только в рожу.
Что рожа? Ерунда!
Зашьют проворно кожу —
Ступай себе тогда.
Так «честь» защитив мило,
Дуэльный скоморох
Врага целует в рыло
Под общий дружный «Hoch!» *.
Потом, забинтовавшись,
К фотографу идут,
А после, нализавшись,
Опять друг друга бьют.

〈1908〉

В НЕМЕЦКОМ КАБАКЕ

Кружки, и люди, и красные столики.
Весело ль? Вдребезги — душу отдай!
Милые немцы смеются до колики,
Визги, и хохот, и лай.

* «Ура!» (нем.).

Мирцли, тирольская дева! В окружности
Шире ты сосен в столетнем лесу!
Я очарован тобой до недужности.
Мирцли! Боюсь не снесу...

Песни твои добродушно-лукавые
Сердце мое растопили совсем,
Мысленно плечи твои величавые
Жадно и трепетно ем.

Цитра под сильной рукой расходилась,
Левая ножка стучит,
Где ты искусству такому училась?
Мирцли глазами сверлит...

Влезли студенты на столики парами,
Взвизгнули, подняли руки. Матчиш!
Эй! Тирольцы взмахнули гитарами.
Крепче держись — улетишь!..

Мирцли! Спасибо, дитя, за веселие!
Поздно. Пойду. Головой не качай —
В пиво не ты ль приворотное зелие
Всыпала мне невзначай?

<1910>
Гейдельберг

РОДНОЙ ПЕЙЗАЖ

Умирает снег лиловый.
Видишь — сумерки пришли:
Над унылым сном земли
Сизых туч хаос суровый
Надвигается вдали.

На продрогшие осины
Ветер северный летит,
Хмуρο сучья шевелит.
Тени холодны и длинны.
Сердце стынет и болит.

О печальный трепет леса,
Переполненного тьмой!
Воздух, скованный зимой...
С четырех сторон завеса
Покоренности немой...

На поляне занесенной
Пятен темные ряды —
Чьи-то бедные следы,
Заметает ветер сонный
И свистит на все лады.

Кто искал в лесу дорогу?
И нашел ли? Лес шумит.
Снег тенями перевит.
Сердце жалуется Богу...
Бог не слышит. Ночь молчит.

⟨1910⟩

В СТЕПИ

Облаков оранжевые пряди
Взволновали небо на закате.
В ароматной, наплывающей прохладе
Зазвенел в душе напев крылатый.

Все темнее никнувшие травы,
Все багряней солнечное око.
Но, смиряя пыл небесной лавы,
Побежали сумерки с востока.

Я один. Поля необозримы.
В камышах реки кричат лягушки.
На холмах чертой неуловимой
Засыпают дальние опушки.

Набегает ветер за плечами.
Задымились голубые росы.
Под последними печальными лучами
Меркнет облако и голые откосы.

Скрип шагов моих чужой и странно звонкий.
В темноте теряется дорога.
И на небе, правильный и тонкий,
Смотрит месяц холодно и строго.

⟨1910⟩

ЗАКАТ

В стекла оранжевой бронзой ударил закат.
Ясно и медленно краски в воде потухали.
Даль затянулась лиловым туманом печали,
Черные птицы лениво на запад летят.

Скованный город весна захватила врасплох...
Теплые камни, звеня, отвечают телегам,
Черные ветки томятся по новым побегам.
Голос презренья и гнева стыдливо заглох.

В небе рассыпался матово-нежный коралл.
Люди на улицах шли и смущенно желали...
Ясно и медленно краски в воде догорали,
В стеклах малиновой бронзой закат умирал.

⟨1910⟩

ШЛЯПА

На мохнато-влажном срубе
Монастырского колодца
Я тебя в глаза и в губы
Полнозвучно целовал...

По дощатому навесу
Гулко бился дымный дождик,
В щели облачное небо
Строго хмурилось на нас.

Колоссальнейшую шляпу
Из колосьев ржи и маков
Я тихонько для удобства
Снял и рядом положил,—

Чтобы мне крутые брови,
Теплый лоб, затылок, уши
И каштановые пряди
Легче было целовать.

Вдруг толчок, протяжных шорох,
Тихий всплеск... и мы вскочили,—
Шляпа с маками в колодце!
Шляпа с маками на дне!

Сумасшедшими глазами
Мы смотрели в пропасть сруба:
Дождь... лишение наследства...
Сплетни в городе... позор...

К счастью, послушник веселый
За водой бегом примчался.
Я с ним кротко объяснился,—
Ты потупила глаза...

И всплыла, с ведра свисая,
Разложившаяся шляпа,
Истекая кровью маков,
Оседая и дрожа.

Фыркнул радостно молодчик
И ушел, сказав: «Бог в помочь!»
Знал ли он, что эту шляпу
Носит Сара Блюменберг?

Два часа сушилась шляпа.
Два часа, не отдыхая,
Хохоча, мы целовались
Все нежнее и нежней.

И когда мы вышли в сумрак
Влажно радостного сада,
Нам кивали все деревья,
Все монахи, все кусты,—

И, смущенно улыбаясь,
По душистым закоулкам
Я в молчанье до калитки
Проводил мою звезду.

.....
Как-то в зимнем, грязном сквере
Отвратительной столицы
Я припомнил эту сказку
Через много темных лет.

Потому что по дорожке
Проплыла моя богиня,
Нагло-жирная индюшка
В бриллиантах и шелках.

<1911>

МОРОЗ

На деревьях и кустах
Кисти страусовых перьев.
Банда бойких подмастерьев
Лихо мчится на коньках.

Прорубь в снежной пелене.
По бокам синеют глыбы.
Как дрожат от стужи рыбы
В мертвой, черной глубине!

Пахнет снегом и зимой.
В небе дымчатый румянец.
Пятки пляшут дробный танец
И, хрустя, бегут домой.

На усах хрустальный пух,
У ресниц сквозные стрелы.

Сквозь мираж заиндевелый
Реют стаи белых мух.

Растоплю, дрожа, камин.
Как свирель к устам венгерца,
Пусть прильнет к печали сердца
Яркий, угольный кармин...

Будут яблоки шипеть
На чугунной сковородке,
А в заслонке ветер кроткий,
Отогревшись, будет петь.

И в снях, ворвавшись в щель
Из-под мутной снежной крыши,
Засвистит октавой выше
Одуревшая метель...

Ты придешь? Приди, мой друг,—
Обратим назло природе,
Людам, року и погоде,
Зиму — в лето, север — в юг!

<1911>
Петербург

НА ЕЛАГИНОМ

Не справляясь с желаньем начальства,
Лезут почки из сморщенных палок,
Под кустами — какое нахальство! —
Незаконное сборище галок,
Ручейков нелегальные шайки
Возмутительно действуют скопом
И, бурля, заливают лужайки
Лиловатым, веселым потопом.
Бесцензурно чирикают птицы,
Мчатся стаи беспаспортных рыбок,
И Нева контрабандно струится
В лоно моря для бешеных сшибок...
А вверху, за откосом, моторы
Завели трескотню-перестрелку
И, воня бензином в просторы,
Бюрократов уносят на Стрелку.

Отлетают испуганно птицы,
Рог визжит, как зарезанный боров,
И брезгливо-обрюзгшие лица
Хмуρο смотрят в затылки шоферов.

⟨1912⟩

М⟨АРИИ⟩ Ф⟨ЕДОРОВНЕ⟩

(Почтительная акварель)

Из взбитых сливок нежный шарф...
Движенья сонно-благосклонны,
Глаза насмешливой мадонны
И голос мягче эха арф.

Когда взыскательным перстом
Она, склонясь, собачек гладит,
Невольно зависть в грудь засядет:
Зачем и я, мол, не с хвостом?

Ей-богу, даже вурдалак
Смягчился б сердцем, если б в лодке
Услышал голос кроткий-кроткий:
«Алеша, ты б надел пиджак...»

Имел бы я такую мать,
Сестру, свекровь иль даже тетку,
Я б надевал, влезая в лодку,
Под шубу пиджаков штук с пять!..

А в час обеда, как галчат,
Всех надо оделить руками
И дирижировать зрячками,
Когда наелись и молчат...

Сей хлопотливейшей из Марф
Поэт заржавленный и тонкий *,
Подносит днесь сии стишонки,
Косясь на строгий белый шарф.

⟨⟨1912⟩⟩

* В физическом смысле. (Примеч. авт.)

ОСЕННИЙ ДЕНЬ

I

Какая кротость умиранья!
На грядках иней, словно пух.
В саду цветное увяданье
И пышных листьев прелый дух.

Река клубится серым паром.
Хрустит промерзший старый плот.
Далеким радостным пожаром
Зарделись клены у болот.

Заржавел дуб среди площадки.
Скрутились листья, темен ствол.
Под ним столпились в беспорядке
Скамейки голые и стол.

Ель в небе легче кипариса.
Всем осень — ей зеленый взлет...
На алых зернах барбариса
Морозно-матовый налет.

Цветы поникли на дорожки,
На лепестках комки земли.
В узлах душистого горошка
Не все бутоны расцвели...

В аллеях свежий ветер пляшет.
То гнет березы, как рабов,
То, утомясь, веревкой машет
У гимнастических столбов.

В вершинах робкий шепот зова
И беспокойный смутный бег.
Как странно будет видеть снова
Пушистый белый-белый снег...

II

Всплески весел и скрипы уключин —
Еле слышные, жалкие скрипы.
Под кустами ряд черных излучин
Заткан желтыми листьями липы.

Сколько листьев... Под выгнутой ивой,
Как лилово-румяные пятна,
Стынут в лоне воды сиротливой.
Небо серо, и даль непонятна.

Дымный дождик вокруг лодки запрыгал,
Ветром вскинуло пыль ледяную,
И навес из серебряных игол
Вдруг забился о гладь водяную.

За дождем чуть краснели рябины —
Вырезные поникшие духи,
И безвольно качались осины,
Как худые, немые старухи.

Проплыла вся измокшая дача.
Черный мост перекинулся четко.
Гулко в доски затопала кляча,
И, дрожа, закивала пролетка.

Под мостом сразу стало уютней:
С темных бревен вниз свесилась пакля,
Дождь гудел монотонною лютней,
Даль в пролете, как фон для спектакля.

Фокс мой, к борту прижав свои лапы,
Нюхал воздух в восторженной позе.
Я сидел неподвижно без шляпы
И молился дождю и березе.

⟨1912⟩

* * *

Здесь в комнате тихо, а там, за стеклом,
По мокрому саду в веселии злом
Катается ветер упругий.
Свистит и лохматит больные кусты,
У хмурых грачей раздувает хвосты,
Гнет клены в покорные дуги...

Взлетают иззябшие листья снопом,
И в небе бездонном, и в небе слепом
Мелькают, как дикие птицы.
Метутся безумные волосы ив...
В малиннике дикий предсмертный извив,
Дождь мечет жужжащие спицы.

За тучами бурый закат без румян.
На клумбе дрожит одинокий бурьян.
Стекло дребезжит и трепещет.
Но странно... Из сада, где буря и мгла,
Вдруг тихая бодрость мне в душу вплыла
И в сердце задумчиво плещет.

Под низкий, несдержанный яростный гуд,
Как рыцари, смелые клятвы встают,
И дали все шире и шире...
Знакомые книги мерцают вдоль стен,
Вчерашние дни, как бессмысленный плен,
Как старые, ржавые гири.

<1913>

ВОРОБЬИНАЯ ЭЛЕГИЯ

У крыльца воробьи с наслаждением
Кувыркаются в листьях гнилых...
Я взираю на них с сожалением,
И невольно мне страшно за них:

Как живете вы так, без правительства,
Без участков и без податей?
Есть у вас или нет право жительство?
Как без метрик растите детей?

Как воюете без дипломатии,—
Без реляций, гранат и штыков,
Вырывая у собственной братии
Пух и перья из бойких хвостов?

Кто внедряет в вас всех просвещение
И основы моралей родных?
Кто за скверное вас поведение
Исключает из списка живых?

Где у вас здесь простые, где знатные?
Без одежд вы так пресно равны...
Где мундиры торжественно-ватные?
Где шитье под изгибом спины?

Нынче здесь вы, а завтра в Швейцарии,—
Без прописки и без паспортов
Распеваете вольные арии
Миллионом незамкнутых ртов... .

Искрошил воробьям я с полбублика,
Встал с крыльца и тревожно вздохнул:
Это даже, увы, не республика,
А анархии дикий разгул!

Улетайте... Лихими дворянами
В корне зло решено ведь пресечь —
Не сравнивали бы вас с хулиганами
И не стали б безжалостно сечь!

<1913>

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ ДЕНЬ

I

«Здравствуй, бронзовый кабан,—
Помнишь сказку Андерсена?»
Я погладил скользкий стан,
Преклонив в душе колено...
Ступеньки,— за ними веселенький ад:
Соломенный рынок в тени колоннад.

Соблазнительнейший рынок,—
Даже мутно в голове:
Вееров, панам, корзинок!
А в кармане... лиры две.
Дородные донны зовут к ларькам:
«Что, милый синьор, угодно вам?»

Мне угодно? Боже мой...
Ничего. Вот смех, ей-богу,—
Ведь в России, там, зимой
Так желаний было много!
Насупились донны. Без четверти час...
Налево или вправо пойти мне сейчас?

II

Здесь обед торжественней мистерии,
Здесь я принц за два четвертака.
У хозяйки крошечной остерии
От усердия волнуются бока.

За окном, как чудо, Ponte Vecchio.
Зеленеет мутное Арно.
Мыслю. Ем. Смотрю. «Эй, человекио,
Отчего сегодня пьяное вино?»

Хмель — смычок. Грудь стала легкой скрипкою,
Струны из моих горячих жил...
Не с кем чокнуться... Я вспомнил вдруг

с улыбкою
Всех богинь, которым я служил.

Если б их сюда, на Ponte Vecchio.
Парами построить и гулять...
Вот бы было счастье!.. «Человекио,
Помоги-ка мне, голубчик, встать».

III

Лег на прохладный подоконник.
Над маленькою площадью — луна...
Прошел, шурша сутанюю, каноник.
И скрылся. Тишина.

Напротив, под старинною колонной,
Мигают над тележкой рожки:
Белеет мальчик, резко освещенный.
Алеют сочные арбузные кружки...

Как бабочка ночная, замираю...
Смотрю голодными глазами за окно
И радость жизни медленно впиваю,
Как редкое, бесценное вино.

<1913>

В СТАРОМ КРЫМУ

Над головой белеют сакли,
Ай-Петри — глаз не отвести!
Ряд кипарисов в пыльной пакле
Торчит вдоль знойного пути.
Над сизой чащей винограда
Сверкает известью ограда.
Сижу и жарюсь... Вот и всё.

Бока — обломовское тесто...
Зной расплавляет горизонт.
Лениво, не вставая с места,
Влюбляюсь в каждый дамский зонт.
 Глотаю бусы виноградин,
 Бью комаров, свирепых гадин.
Смотрю на море... Вот и всё.

Рычит сирена... Меркнет море.
Дым томно к облаку плывет.
Пузатый шмель — и тот в Мисхоре
Испанским тенором поет...
 Съел виноград. Вздремнул немножко.
 Ем дыню роговою ложкой...
Курю и мыслю... Вот и всё.

Зире! Лукавая татарка!
Раздвинь-ка над верандой тент.
Смеется... Дьявол! Ей не жарко...
Скрипит натянутый брезент.
 Освобождаю тыл из кресла.
 В халат запахиваю чресла...
Иду купаться... Вот и всё.

<<1911>>?
<1923>

НОЙ

(поэма)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1.

Они кричали: «Эй, старик!
Смотри, как знойны наши жены!
Завидно, правда? Иль отвык?
Что ж ты молчишь, петух бессонный?»
Но Ной, полузакрыв глаза,
Шел мимо, скорбно и сурово,
И не гремело, как гроза,
В ответ бичующее слово.
Дивились люди: Ной умолк!
Давно ли, гневный, на закате
Он, обходя шатры, как волк,
Метал в них молнии проклятий...
Глупец! Лишь Иафет и Сим
Страшились старческого лая,
Да дети бегали за ним,
Его проклятья повторяя...
Помет летел ему в лицо,
А жены, тешась пляской смелой,
Сплетались вокруг него в кольцо
И с визгом обнажали тело...
Когда в смущенье перед ним
Смолкали песни и тимпаны?
Лишь Иафет и толстый Сим
Бегут веселья, как бараны...
Но Ной замолк — и в первый раз,
Хоть вслед хула летела градом,—
Печаль полузакрытых глаз
Влилась в их души темным ядом.

2.

Народ собрался у колодца,
Где Хам за камнем сладко спал.
«Хам, Хам, вставай!» Хам встал, смеется:
«Пришли? Ха-ха! Я вас не звал».
Передний пнул его ногою:
«Послушай, что со стариком?»
Лениво выгнув грудь дугою,

Хам звонко щелкнул языком:
«С отцом? Ага, теперь скучнее!
Ной перестал совать свой нос?
Сменяем жен! Твоя тучнее...
Тогда отвечу на вопрос».
Тот молча взял его за глотку.
«Что ты спешишь? — закаркал Хам,—
Сим что-то говорил про лодку,
Да он не знает толком сам...
Подите к Ною — мне не жалко!
Я сам сказал бы, если б знал...»
Передний замахнулся палкой,
Хам дико взвизгнул и удрал.
«Эй, Хам, вернись!» Но сук колючий
Попал обидчику в висок.
Пошли к шатрам. Клубились тучи.
Темнел в вечерней мгле песок...
А Хам разрыл у камня яму
И у колодца лег опять.
«Ага, ушли! Вернетесь к Хаму!
Да только Хам хитер, как тать...»

3.

Спугнув болтливый круг старух,
Под дубом в середине стана
Сим крикнул, привлекая слух:
«Кто даст секиру за барана?»
— Толстяк, ведь ты пастух. Зачем? —
Смутился Сим: «Не знаю... Надо».
— Ого, не знаешь... Спелся с тем! —
Орут. Придвинулись, как стадо.
— Смотри, бичи разбудят прыть!
Иль страх тебе заклеил губы? —
«Ной запретил мне говорить»,—
Ответил Сим, прижавшись к дубу.
— Га, запретил! Молчишь? Пстой!
Морочишь стан... Дурак, а хитрый!..—
Но миг, и хлынули толпой
На зов вдали запевшей цитры.
Забыв был Сим, и Хам, и Ной,
Смех раскатился до ущелья...
Всю ночь стонал там грех хмельной,
И, словно смерч, росло веселье.
Когда же люди и скоты
Свалились на заре устало,
Над станом в гулкие щиты
Зловеще эхо застучало.

Оставив пир, толпой к шатрам
Метнулись в диком страхе крысы:
Ной с Иафетом, Сим и Хам
В горах рубили кипарисы.

4.

И днем и ночью Ной и дети
Свозили крепкие стволы.
Ослы кричали, выли плети,
Клубился душный дым смолы.
День изо дня, как сон недобрый,
Росла громада на холме,
И ночью сквозь крутые ребра
Луна сквозила в дымной тьме...
Послали самых старых к Ною:
«Народ велел спросить, зачем?»
Ной повернулся к ним спиною
И был, как мертвый, глух и нем.
Звериный гнев зажег всех в стане:
«Огней! Огней! Молчит? Так сжечь!»
Текут, как лава... На поляне
Вдали ждал Ной, прямой, как меч.
С холма неслись протяжно стуки.
Смолк крик. Как псы, бегут к нему.
Но Ной безмолвно поднял руки —
И гаснут факелы в дыму.
Проклятья, тьма, хула и стоны
Слились в слепой ревуший ад,
И дети, псы, мужи и жены
Рванулись в ужасе назад.
А сверху Хам, склонясь над долом,
В огне костров, как вепрь в крови,
Кричал им в бешенстве веселом:
«Го-го! Дави, дави, дави...»

5.

Ли, Иафетова жена,
С Ноамою, женою Сима,
Следят с холма всю ночь без сна,
Как тучи проплывают мимо.
Обняв задумчивую Ли,
Шепнула робкая Ноама:
«Постой, ты слышишь? Там вдали
Как будто крик и хохот Хама?»
— Нет, это ветер средь камней...—
«Спросила Ноя, что брать в лодку?»

— Да: В первый раз за много дней
Он улыбнулся. Кротко-кротко...
Ноама, спишь? Ах, долго ль ждать?
Как будет весело, Ноама!
Вчера мне говорила мать,
Что мы помчимся к солнцу прямо...—
«Она сама не знает, Ли,
Никто не знает, кроме Ноя».
Шептались жены, а вдали
Светило встало огневое.
В долине, в мертвой полумгле,
Как море, волновались люди:
Вверху на каменном челе
Свет солнца возвестил о чуде...
Умолкли вскрики топоров.
Что на горе? Не стены ль храма?
«Ковчег готов, ковчег готов!» —
Шепнула робкая Ноама.

6.

Из горных чаш, вдоль водопадов
Хам гнал, как скот, со свистом в плен
Мохнатых скорпионов, гадов,
Шакалов, тигров, крыс, гиен...
Не страшно! Ной сказал не много:
Как стадо коз, всю злую тварь
От паука до носорога
Пусть Хам пригонит пред алтарь.
И он пригнал. В дверях ковчега,
Когда зверье сбивалось в вал,
Под хохот падал бич с разбега
И тяжело помост стонал.
Сим гнал привычною рукою
Домашний и убойный скот.
Волнистой, длинной чередою
Шли пары мирные вперед.
И с песней из лесных ущелий
Пригнал к ковчегу Иафет
Оленей, ланей и газелей,
И всех, кто красит божий свет...
Как три реки, вливались звери
В ковчег покорною волной.
Дымилась пыль. Зияли двери.
На кровле ждал безмолвный Ной.
А там внизу ловили жены
Домашних, злых и певчих птиц,
Следя в испуге затаенном
За беглым трепетом зарниц.

В последний раз к полудню Ной
 Спустился к людям в дол зеленый.
 В шатрах, объятых тишиной,
 Укрылись вспугнутые жены.
 На солнце, греясь, как ужи,
 Лежали люди, тешась зноем.
 Ной шел, и дерзкие мужи
 Вставали в первый раз пред Ноем.
 Никто молчанья не прервал,
 И только мальчик зверолова
 С вершины дуба закричал:
 «Ной, Ной, ты к нам вернулся снова?»
 Ной тихо обошел весь стан
 И скорбно замер у колодца.
 Сквозь мутный старческий туман
 Чей образ там в воде смеется?
 Не он ли звонкие кремни
 Метал о воду с детским смехом,
 И не к нему ль в сырой тени
 Взлетали всплески влажным эхом?
 Как много там таких в шатрах —
 Невинных, словно цвет граната,
 Но Бог велел — Ной червь и прах...
 Быть может, в них зерно разврата...
 Он встал, взял посох и пошел.
 Кружились голуби над Ноем,
 И псы, тоской смущая дол,
 Следы его лизали с воем.

Из дальних северных просторов
 Примчался ветер грозовой.
 В горах запели сотни хоров.
 Лес стал безвольною травой.
 Гремят камни по стремнинам,
 Забились вихри в пасти скал,
 И рвутся в бешенстве к равнинам,
 Взнося стволы за перевал.
 Серые медленные тучи
 Плывут все ниже, все темней
 И разрывают грудь о кручи,
 Сливаясь с хаосом камней...
 Вперед! Быстрее и быстрее

Водоворот свистящей мглы,—
И вот, вытягивая шеи,
Взлетают вихри, как орлы.
Все исступленней, выше, шире
Вихрят вдоль туч края их риз,
И вдруг, как пьяные вампиры,
Рванулись жадной сворой вниз.
Трепещет дол... Ревут верблюды,
Шумят полотнища шатров.
Ослы и козы сбились в груды,
Диск солнца мутен и багров.
Где кров? Где близкие? Где дети?
Шипя, встает песок горбом —
Даль, словно дым тысячелетий...
И хлынул дождь густым столбом.

9.

Кружась, плывут стволы дубов,
Прильнув к коре, трепещут львицы,—
И, не страшась их злых зубов,
Прижались к ним отроковицы.
Но грозный ливень льет и льет,
И, слившись с ветром в темном вое,
Смывает прочь людей и скот,
Зверей и птиц,— все, все живое.
Смывает с горных круч стада
И пастухов в ущельях душит.
Все шире зыбкая вода,
Все уже пятна верной суши...
Напрасно матери детей
Над головами подымают:
Проклятый ливень все лютей,
И волны жалости не знают.
Тогда впервые сотни рук
Простерлись ввысь к стенам ковчега,
И дрогнул склон, как мощный лук,
Под дикой бурею набега.
Скорей! Ковчег велик, как кит.
Скорее! Волны лижут пятки...
И вот вползли... Ковчег закрыт.
Кричат и рвутся в беспорядке.
«Ной! Ной!» — Но вздрогнула корма,
Бока вздымаются, как груди.
Потоп покрыл чело холма.
Ковчег плывет... и гибнут люди.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1.

Зыбь и мгла... Гудящий ливень все ровнее и ровней
Льет с задернутого неба пять глухих ночей и дней.
Солнце ль там сквозит за тучей или месяц неживой?
Смерч, клубясь, встает за смерчем, словно факел дождевой.

Но в ковчеге жизнь цветет.
Ходят люди, дышит скот,
Жаром пышущий очаг
Жрет узлы сухих коряг.
Ной с седой женой Фамарь,
Как и там, на суше, встарь,
Молча смотрят на огонь.
Ветер ржет, как дикий конь.
Мерно в кровлю бьет вода,
И прошедшие года,
Словно злой чужой рассказ,
Омрачают кротость глаз.
Змеи лжи не знали сна...
Пусть же эти семена,
Что спаслись здесь, в корабле,
Мир вернут родной земле.
В теплой, гулкой полутьме
Столько дум встает в уме...
Дремлет старая жена.
Дети смолкли. Тишина...
Тень качнулась по столбам —
Ной очнулся: «Кто здесь?» — «Хам».
Глубоко вздыхает Ной.
Дождь рокочет за стеной.

Все дремотнее качаясь, чуть скрипит крутой ковчег.
Ропщут волны, расступаясь, и смиряют свой разбег.
Измученные дельфины мчатся стаей за кормой.
Расползаются туманы. Неуклонен путь прямой...

2.

Сверху вниз с протяжным плеском льется шумная вода.
Час как год — из тесной клетки не уйти им никуда.

Мрачен Хам: «Эй, ливень, будет! Все подошли, что ж ты
льешь?»
Но в ответ лишь плеск докучный и стены тупая дрожь.

Скучно Хаму. В глубине
Звери воют в полусне.
В середине глупый скот
Раскачался и ревет.
И вокруг не веселей:
Сим в сосуды льет елей,
Иафет грызет тростник.
Жены плачут, а старик
Лег на шкурах под кормой
И лежит, объятый тьмой.
«Сим, а Сим?» — Не слышит Сим.
Хам склоняется над ним
И, взметнув ногой, как спрут,
Разбивает в прах сосуд.
Сим вскочил. Хам молча ждет,
Шею вытянув вперед.
С любопытством Иафет
Шею вытянул — но нет,
Робкий Сим берет елей
И отходит поскорей.
Скучно Хаму... Сделал шаг...
Стал. Глаза привлек очаг.
Взял уголей, раздул — и вдруг
Бросил вниз сквозь темный люк.

О, как буйно там взметнулись боль, и гнев, и темный страх!
Хам от смеха еле-еле удержался на ногах.
Наклонился, долго слушал злой безумный рев зверей...
А сквозь рев шумели струи, словно ропот ста морей.

3.

Не навеки ль скрылось солнце? В стенах душно и темно.
Под светильником дрожащим в глубине чернеет дно.
Дождь гремит. Покорно дремлет истомившаяся тварь.
Ли на шкуре кротко нижеет тускло-меркнувший янтарь.

Голос Симовой жены
Вполз змеей из глубины:
«Как раба, весь день с утра
И сегодня, и вчера
Я одна кормила скот...
Разве нынче мой черед?
Разве Ли слабей меня?»

Видно, легче у огня
Третий день овцой лежать
Да янтарь на нить низать...»
— О Ноама, я больна!
За тебя я столько раз
Не смыкала сонных глаз...—
Эгла, Хамова жена,
Рассмеялась: «Ты? Больна?
То-то нынче Иафет
Словно волк смотрел мне вслед...
Бережешь свой стан, змея?
Береги... Стройна и я!»
— Лжешь ты! Лжешь ты...— Плачет Ли.
Шорох старых ног вдали —
Перед Эглой мать — Фамарь:
«Ной скорбит. Умолкни, тварь!»

Кроткий плач и крики злобы заглушили шум волны,
Но за тучами, там, в небе, эти крики не слышны...
Только ветер рвал их в клочья и вздымал за валом вал,
Только дождь в людские слезы плач холодный свой влетал.

4.

Ночь. Как огненные птицы, реют молнии вдоль туч.
Раскачалась грудь ковчега, скрип бессилен и тягуч.
Дух смолы навис волною над дыханием зверей...
Эгла, буйно разметавшись, чешет золото кудрей.

Тьма томит, стена скрипит.
«Иафет, ты спишь?» — Молчит.
Тихо-тихо подползла...
Вон он — дышит, как смола.
Словно огненный дурман,
Прикоснулся жаркий стан:
«Иафет, ты слышишь, да?
Как внизу ревет вода!
В очаге задули свет...
О, мне страшно, Иафет!
Иафет, ты спишь?» — Молчит.
«Иафет...» — Не спит, не спит!
Обнаженное плечо
И дрожит, и горячо...
Люди спят. Томится мгла.
Эгла ближе прилегла...
Замирает Иафет,
В сердце — мутный алый свет,
В голове — хмельная дрожь —

Не очнешься, не уйдешь...
Жадный взмах призывных рук,
Злой, победный, хриплый звук...
...Притаившись в стороне,
Кто-то плакал в тишине.

Гром гремит, как гневный дьявол, заглушая рев зверей.
Бурный град стучит о кровлю все быстрее и быстрее.
Словно в первый день потопа, струи с неба льют и льют,
И ковчег кружит и рвется, как под ветром жалкий прут.

5.

Дождь устал. Жемчужной сеткой капли мелкие летят.
В облаках раскрылись окна. Меркнет звезд безмолвный
взгляд.
Спит ковчег. Склонясь над люком, полон страха пред чужим
Чуть качается на кровле одинокий херувим.

«Отчего у них разлад?
Разве жизнь не светлый клад?
Стоны ночью, стоны днем...
Крики, плач, мольбы... О чем?
Словно синий путь морской,
Обтекает мир покой.
Светят солнце и луна,
И бескрайна вышина...»
Отклонился херувим —
Легкой тенью перед ним
В дождевой седой пыли
Из ковчега вышла Ли.
Изумленный долгий взгляд...
Смотрят оба — и молчат.
Ропщет вал из-под кормы.
«Ты такая же, как мы...»
Но в ответ вздыхает Ли:
«Нет, о дух, я дочь земли...
Хорошо ли там у вас
Над луной в вечерний час?»
— Хорошо... Ты хочешь к нам?
Вверься, Ли, моим крылам...
Полетим сквозь Млечный Путь —
Здесь так страшно... стоны, жуть...
— Отшатнулась Ли: «О нет!
Здесь внизу мой Иафет...»

Скрылась Ли. Свежеет ветер. Вал взбегает, как удав.
Херувим ширококрылый, мощно крылья распластав,

Налетающему ветру подставляет смело грудь
И, смеряя тьму очами, правит ровный быстрый путь.

6.

Давит серое ненастье — день как ночь и ночь как день.
По стенам ковчега бродит тускло-сумрачная тень.
Люди долгими часами тупо смотрят на очаг.
Дождь жужжит, томится ветер... Кто толкнет, тот
злейший враг.

Только Сим все на ногах.
То он роется в мехах,
То один, с утра весь день
Жадно мерит свой ячмень.
И в хлеву, и по углам,
И вдоль бревен — здесь и там
Сим припрятал из шатра
Много всякого добра...
Прячь от Хама, прячь от всех!
Приподнявши козий мех,
Сим провел, дрожа, рукой —
Где мешок с его мукой?
И, давась от злобных слез,
Дико крикнул: «Кто унес?
Хам, отдай!» Но из угла
Мать подходит: «Я взяла.
Я взяла — не смей скрывать!» —
Говорит, волнуясь, мать.—
«Здесь, в ковчеге, все для всех.
Прятать хлеб — великий грех...»
Но, увы, не внемлет Сим
И, дрожа, с упорством злым
Повторяет лишь свое:
«Мать, отдай! Мое! Мое!»

Хам свистит, хохочет Эгла, плачет старая Фамарь...
Ной подходит молча к Симу... Ли укрылась за алтарь.
Сим умолк: суров и страшен взгляд печального лица...
Воет ветер, бьются волны, небо плачет без конца.

7.

Солнце, лес, земля и радость скрылись в тучах навсегда.
Юность тоже исчезает день за днем в цепях труда.
Иафет непримиримо смотрит в тьму и зло свистит...
Дождь стучит, как раб покорный. Где же берег? Где же щит?

Ли печальна и больна.
Эгла больше не нужна.
Все суровее отец...
Скучно. Скоро ли конец?
Грязь томит. Весь день, как вол,
Он вчера зерно молот.
Братья злы. Вокруг темно.
Жизнь, как камень.— Все равно...
Полон горечи тупой,
Иафет во тьме слепой
Лег на доски и лежит.
Дождь грохочет. Пол дрожит.
Ли позвала: «Иафет...
Принести тебе обед?»
— Не хочу.— Печально Ли
Села к матери вдали.
«Иафет! — позвала мать.—
Ты б помог мне дров собрать».
— «Не хочу».— «Ты болен?» — «Нет».—
Стиснул зубы Иафет.
«Иафет...» — позвал вдруг Ной
И в ответ — глухой струной
Хриплый плач прорезал тьму.
Волны бьются о корму...

Старый Ной склонился к сыну, гладит волосы рукой.
Ли, как раненая серна, вся полна немой тоской.
И на плач со дна ковчега, гулким эхом отражен,
Подымается голодный, темный, злой звериный стон.

8.

Неоглядно и пустынно плещет ширь враждебных вод.
С жалким криком вьется в небе птиц бездомных хоровод.
Но сквозь дождь внизу, все ближе подплывает к ним ковчег
И измученные птицы камнем пали на ночлег.

Сразу кровля ожила —
Вся трепещет, вся бела.
В тучах чуть сквозит закат.
Птицы радостно шумят...
Эгла мчится в хлев: «Эй, Хам!
Слышишь? Птицы снова там».
Хам вскочил, взял толстый сук
И полез наверх сквозь люк.
Злая, сильная рука
Беспощадна и метка...
Птицы бьются, не летят,
Тонут, падают, кричат...

Но внезапно за спиной
Вырастает старый Ной:
«Хам, не смей! Ты слышишь? В хлев!»
В крике — скорбь и властный гнев...
— Но, отец, не ты ли сам
Столько птиц оставил ТАМ?
Этих жалко стало вдруг?..—
И опять заносит сук.
«Хам, не смей!..» Как зверь ночной
Прянул к Хаму грозный Ной.
«Сброшу в воду!» — Замер крик.
Быстрый взгляд тяжел и дик...

Злобно пятясь, как гиена, Хам во тьме сползает вниз.
Птицы смолкли и ложатся. Горизонт туманно-сиз.
Дождь и волны чуть вздыхают. Среди крылатых сонных тел
Ной стоял и долго-долго на гостей своих смотрел.

9.

В хлеве грязного ковчега все сильней протяжный рев.
Но со смрадом звери свыклись, теплый мрак для них покров.
Дождь и плен давно привычны. Что ж волнует темный скот?
Это вспыхнул жадный голод. Жертвы стонут — он ревет.

Кольца влажных гибких змей
Душат трепетных коней.
Львы, порвав веревки пут,
В темноте верблюдов рвут.
У смердящих кровью стен
Зло горят глаза гиен.
Мяса! Мяса! Пир кишок
Все вбирает в свой мешок:
Белых нежных лебедей,
Серн, кротов и лошадей,
Сонных ласковых ягнят
И слепых еще щенят.
Липкий пол в крови, в пуху...
Чей светильник там, вверху,
Брызнув светом по стене,
Закачался в глубине?
Ной проснулся. Он не раз
Шел на стоны в поздний час.
И спускал к зверям огонь
В тьму и воющую вонь.
Смотрит. В старческих глазах
Изумленье, гнев и страх...
Молкнет рев. За рядом ряд
Звери никнут и дрожат.

Там над кровлей где-то небо... Что им небо? Дремлет скот.
Пусть насытый дождь бушует и стучит о лоно вод.
Псы зализывают раны, львы, зевая, лижут мех.
Мертвый, теплый мрак бездумья... — Мстить слепым? Но
в чем их грех?

10.

Брошен труд, томятся люди. Будь ты проклят, вечный
дождь!
Ной бессилен и нестрашен — в зыбкой тьме не нужен вождь.
Вечер. Дальние зарницы мечут сноп багровых стрел.
Словно волны над плотиной — хлынул хмель плененных
тел.

Звякнул бубен. Взывала мгла...
Эгла факелы зажгла.
Хам Ноаму, хохоча,
Сбросил в светлый круг с плеча.
Вылез Сим из шкур на свет,
И, качаясь, Иафет,
Выгнув стан, вдохнул в свирель
Томно-вкрадчивую трель.
Острый звук рванулся ввысь,
И, ликуя, с ним сплелись,
Заливая все углы,
Смех, и топот, и хулы.
Ждать? Чего? — Не стоит ждать:
Завтра боль придет опять.
Дни уходят... Сладок грех!
Тела хватит здесь на всех.
Гром? Кружитесь! Пусть гремит...
Хмель — покров, веселье — щит.
Иль для скорби и труда
Пощадила их вода?
Смех и пляска все пьяней...
Дымно гаснет глаз огней —
И безумные тела
Обнимает жадно мгла.

Ной один в тоске на кровле повергается во прах.
Звери спят... и люди воют... Это было там, в шатрах!
Ветер бережно над Ноем дождь относит за корму,
И проснувшиеся птицы жмутся жалобно к нему.

11.

Дождь. Ковчег плывет в тумане, словно темный мертвый
кит.

Золотой цветок надежды все бледней во тьме горит.
Безнадежность хуже смерти... Ной их взял — пусть даст

ответ:

Где конец тоске и плену? Есть ли берег или нет?

Смолк разгул, не тешит грех,
Страх и гнет сковали всех.
Тот же холод, та же мгла.
Даже злоба умерла.
Иафет с тупым лицом
Молча ждет перед отцом.
В глубине, как псы, за ним
Хам, Ноама, Эгла, Сим.
Овцы сдвинулись вокруг них.
Ветер смолк, и дождь затих.
Все слышней — в углу вдали
Беспокойно стонет Ли.
«Ной! Молчанье — не ответ...—
Дерзко крикнул Иафет.
— Ты нас спас — ты должен знать».
Дождь в ответ забил опять...
Жалким всплеском всхлипнул вал.
Ной прислушался и встал,
Не ответил никому
И ушел, потупясь, в тьму.
Овцы с блеяньем глухим
Расступились перед ним.
Хам плюется. Иафет,
Словно мертвый, смотрит вслед.

Золотой цветок надежды догорел и слился с тьмой.
Равнодушно злится ветер и молчит ковчег немой.
Ли затихла и не стонет. Ной сидит вдали один,—
Вдруг Фамарь пришла и шепчет: «Ной! У Ли родился сын».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1.

Сколько звезд! Колыхаясь на тихой полночной воде,
Золотые глаза бесконечный простор расцветили.
Ветер смолк, и вдали в уходящем последнем дожде
Бледный месяц тускнел за завесою радужной пыли.
Тишина обступила ковчег и молчит в облаках,
Замирает и плещет в избитые бревна волною.
Лунный свет все сильнее играет на влажных боках
И, всползая на кровлю, таинственно тянется к Ною.
Ной один. Но ни звезды, ни даль не пленяют очей —
Мертвый ливень, и тучи, и ветер желаннее были...
Надломилось молчанье, и горькое пламя речей,
Разгораясь, теряется в небе, как в тихой могиле..

— Спасены... Ты свое обещанье сдержал!
Хам, и Сим, и волчицы, и смрадный шакал,
Увидав новый берег — не веря глазам,
Будут выть исступленно хвалу небесам...
Но когда в первый раз упаду я там ниц,
Не молитвы мои и не пение птиц —
Крики боли и злобы к тебе долетят,
А молитвы вернутся, тоскуя, назад...
Для того ль эту землю омыл Ты, чтоб вновь
Заливали ее наши слезы и кровь?
Разве мало на небе нетронутых звезд
Для созданья иных человеческих гнезд?
Хам — проказа земли, Сим ничтожен, как крот...
Иафет? Но мятущийся вихрь не оплот.

Ты велел мне их взять. Для чего? Отзовись!
Оттого ль, что они от меня родились?
Или не было в стане невинных детей?
Разве матери там не ломали ногтей

О суровое дерево ребер крутых,
Не молили: «Возьми только их, только их!» —
Я тоскую, как древний отец мой Адам...
Не зверям ли я правду Твою передам?
Или Хаму, хозяину новой земли?
Или кроткому голубю, трепетной Ли?
Горе кротким! В ярме, под свистящим бичом
Хлынет кровь и пробьется сквозь горы ключом.
Не иссякнет... У птиц, у людей, у зверей
Хватит крови окрасить все воды морей.
Или снова, как там, без конца проклинать,—
На детей своих огненный меч подымать?
Грозным страхом, как плетью, повергнуть их в прах?
Разве пастырь у правды Твоей только страх?..
Сколько лет там в долине я лаял, как пес,
Но не спас никого ведь... Потоп всех унес.
Только нас пощадил Ты, как кроткий отец...
О, Ты скоро раскаешься снова, Творец!

Безответна пустынная даль.
Равнодушная лунная сталь
Тускло дремлет на старых руках
И, колеблясь, горит в седилах.
Звезды глаз не закрыли своих,
Влажный ветер доверчиво-тих,
Волны тихо плывут чередой,
И не стонет земля под водой...
Нет ответа... Измученный Ной,
Наклонившись над зыбью ночной,
Скорбно смотрит на пенистый след:
— Что ж? Молчание тоже ответ.

2.

Сон обходит ковчег, гладит теплой рукою зверей,
Дышит людям в глаза и пушистым теплом пеленает.
Меркнет свет очага, звезды жмутся в пролете дверей,
Ночь все строже молчит... Одиночество грудь заливаet.
Ной проходит вдоль стен, наклоняется к спящим телам,
Память гневно кричит и смолкает смущенная нежность.
Спят, как дети... Но завтра, лишь солнце скользнет по
валам,
Ложь весь мир обовьет и завоюет в тоске безнадежность.
Ной проходит вдоль стен, наклоняется к спящей жене...

Кто разделит печаль? Кто уймет раскаленные думы,—
Месяц, молча поющий хвалу небесам в вышине,
Иль рычание в хлеве проснувшейся пумы?

— Ты уснула, Фамарь... Сон твой тих, как всегда...
Мы с тобою шли рядом года и года.
Но когда я в долине боролся со злом,
Ты в смятенье ждала у шатра за углом:
Ты боялась, что камни проломают мне грудь,—
Грудь цела... Как пустынно тянулся мой путь!
А тогда? Ты не слышала стоны живых —
Ты с Ноамой молола муку для своих...
И, когда вдоль бортов проплывали тела,
Как сегодня, Фамарь, ты спокойно спала.
Я не спал! Я их видел — у самых тупых
Были мудрые лица уснувших святых...

О Фамарь, не тебя осуждаю, о нет:
Ты мой старческий посох, ты вешний мой цвет!
Путь мой кончен... Я понял. Кто понял — судья.
Берег близко, но нет,— не причалит ладья.
Пусть земля отдохнет. Пусть никто на земле
С перекушенным горлом не бьется во мгле.
Облака поплывут над грядою песков,
И проклятьем никто не смутит облаков.
Словно смерть, сон царит здесь, как агнец немой,
Я их, сонных и чистых, причаляю... домой.
Ты ошибся, Владыка, Ты слишком далек!
Завтра рано, чуть солнце разбудит восток —
Только всплывшая грязь на безмолвной воде
Скажет новому солнцу о нашем следе...

Ной, шатаясь, спускается в трюм.
Руки ищут во тьме наобум
Ту секиру, которой он сам
Строил этот ковчег по ночам.
И нашел... Отчего ж, отчего
Руки дрогнули вдруг у него —
И секира, спугнув тишину,
Покатилась, гремя, в глубину?
Не хватило ли сил до конца?
Или грянуло слово Творца?
Или теплые морды ягнят
Отвели его руку назад?

Нет. Над ним далеко в вышине
Вдруг ребенок заплакал во сне.
Словно вспомнив, очнулся старик
И пошел беспокойно на крик.

3.

Спит усталая Ли и не слышит, как плачет дитя.
Сполз покров — свежесть ночи встревожила детское тело...
Опускается Ной и, одеждой едва шелестя,
Осторожно оправил ребенка рукой неумелой.
Замер плач. Широко вдруг раскрылись большие глаза —
Улыбаясь, дитя потянулось, как к матери, к Ною —
Что-то в сердце тревожно забилося, как в бурю лоза.
И, шумя, покатилося к бывшему растущей волною.
Уплывали мгновенья, задумчивый месяц бледнел,
Волны робко шипели, качая ковчег полусонно.
Ной над спящим ребенком все думал о жизни, ясныел
И, грустя, возвращался в ее необъятное лоно.

— «Для того ли я ждал, проклинал и горел,
Чтобы волны сомкнулись над грудью тел?..
Чтобы завтра лишь рыбы тупые одне
Удивлялись созвездьям в немой тишине?
Смерть мертвее тоски... Смерть бессмысленней зла...
Разве не было в жизни святого угла?
Проклинал я,— но скорбь, и проклятья, и гнев
Не живей ли, чем гор огнедышащих зев?
Скат морской не страдает,— но кто б захотел
Променять все страданья на этот удел?
Не жесток ли, не слеп ли был жалкий мой суд?
Разве не было ясных и полных минут?
Если счесть их,— быть может, все черные дни
Не затмили бы их золотые огни...
Или юность моя не была мне игрой?
Не вставал ли, как солнце, я с каждой зарей?
Щедро радость дарил, никого не давил
И живым отдавал весь огонь моих сил...
Я родил справедливость, зажег красоту,
В песню моря вдохнул и напев, и мечту...
Мыслью мир облетел, небеса разбудил
И свободой холмы и поля оживил...
Кто наполнит широкою песнью леса?
Чьи беспечные ноги омочит роса?
Разве лань не жила до того, как она
Под зубами тигрицы погибла средь сна?

Камни глухи, и ветер не слышит себя...
О Творец, я не буду суровой Тебя!
Помнишь, как я молился и плакал тогда?
Если б мог, всех детей я собрал бы сюда.
Тудно жить... Но узнать все цветы на земле,
Чтобы, вырвав глаза, захлебнуться во мгле!..
Этот тесный ковчег нас не выдал и спас,
Но не стал ли он грязной могилой для нас?
Стены, стены, и серые черви забот...
В тесноте только низкое пышно цветет.
Даже мудрость моя от меня отошла —
Слишком близко лежал я у падали зла!
Там, в былом, не цвела ль моя воля сильней?
Сколько знал я победных сверкающих дней...
Иафет мой был юным свободным орлом,
Ли, как ель на рассвете, дышала теплом,
Сим был мягче и чище... Лишь Хам... Но и Хам
Здесь подлей, беспощадней и злее, чем там.
Новый берег молчит за туманом вдали.
Ли, твой сын будет новым побегом земли...
Пусть он будет сильней и счастливей меня,
Пусть увидит все краски грядущего дня —
Если жажду мою утолить я не мог,
Для него я хоть светлую жажду сберег...»

Серый свет по ковчегу скользнул.
Волны стелют предутренний гул.
Гаснут звезды в пролете дверей...
В трюме шорох притихших зверей.
Ли проснулась. Сын спит, как цветок.
Не грохочет о кровлю поток.
Небо чисто, светлеет стена.
И не верит, и верит она:
«Иафет, о проснись, Иафет!
Тучи скрылись, и близок рассвет...»
Кто там плачет под бледной луной?
Но узнала и вздрогнула: Ной.

4.

Нежно-розовый дым облаков засквозил в вышине.
По воде широко протянулись стальные дороги.
Сонный ветер вздохнул и, томясь, зашептал в тишине...
Птицы шумно снимаются с кровли в веселой тревоге.
Зыбь кипит и полна трепетаньем румяных ключей,
На востоке всплывает багровое солнце вселенной,

И, безбрежно раскинув торжественный веер лучей,
Напоило и волны, и дали надеждой нетленной.
Изумленные люди на кровле столпились в тиши,
Руки жадно простерты к неведомой новой отчизне...
В стороне старый Ной всей усталою скорбью души
Одинокó молился сияющей матери-жизни.

<<1913>>
<1914>

КОММЕНТАРИЙ

До этого заключительного раздела книги добираются обычно самые до-тошные и квалифицированные читатели. Те, кому любо заглянуть за кулисы стиха, кому интересны побудительные импульсы и мотивы написания того или иного произведения, варианты и разночтения. Для кого интимные биографические факты, вкрапленные в художественный текст, не предмет смакования, но путь к более глубокому постижению творчества и личности писателя. Что касается Сашы Черного, то подсказки такого рода, смею заметить, особенно важны. Ибо его частная жизнь никогда не была на виду. По свойствам своей натуры поэт предпочитал водиться с людьми не знаменитыми, не оставившими — увы — следа на скрижалях истории. Но вовсе не значит, что эти внелитературные знакомства не оставили следа в его творчестве. А коли были среди знакомых знаменитости, то не худо вскрыть житейские и духовные взаимосвязи их с автором.

Среди современников, упомянутых поэтом, есть немало и таких, с кем он не состоял в непосредственном знакомстве. Это всевозможные «герои дня», занимавшие первые или десятые места на политической арене, либо те, кто становился «на полторы недели знаменит» в литературном мире, а ныне пребывает в неизвестности. Забыты не только имена — изветрился из памяти поколений бытовой, общественный и культурный фон минувших эпох. Вся та реальная и персональная конкретика, которая была понятна без пояснений современникам — читателям «Сатирикона» или парижских «Последних новостей» и которая ныне, при удалении на значительную временную дистанцию, требует освещения и толкования. Ибо поэт адекватно понят и, стало быть, оценен по достоинству может быть лишь в контексте времени. Да, мы знаем, что «до всякого столетья он» и «вечности заложник», но одновременно поэт еще и дитя своего века. И подлинно: «И лучше всего послужит поэт своему времени, когда даст ему через себя сказать, сказаться» (М. Цветаева). Если такое сказано поэтом над-мирным, без-мерным, то что тогда говорить о поэте-сатирике, погруженном в житейскую суету и злобу дня. Так что не ради праздного всезнайства совершаются экскурсии в прошлое, в эпоху, когда жил поэт, а затем, чтоб «дойти до самой сути».

Все это так называемый реальный или фактологический комментарий. К нему можно присовокупить раскрытие аллюзий, иносказаний, цитат, а также объяснение вышедших из употребления или редких слов и выражений. Да и мифологические образы и понятия, связанные с Библией, сегодня пока не входят в общекультурный обиход, как это было, скажем, в начале века.

Комментарий позволяет также проникнуть в механизм составления книги. Тем более такого сложного ансамбля, каким является собрание сочинений. Каковы соответствия между отдельными томами, принципы расположения материала в целом и внутри каждой автономной части — разъяснения на этот счет в соответствующих преамбулах.

Начнем с наипервейшего: что явилось базой данных для составления настоящего собрания. Тут нам не обойтись без разговора о предшественниках.

Пожалуй, первой заявкой на издание избранного Саши Черного можно считать письмо в редакцию поэтов В. Луговского, В. Саянова, В. Эрлиха. Обнародовано оно в ленинградском «Альманахе» № 3 (приложение к журналу «Стройка»). О стихах Саши Черного сказано следующее:

«Их общественный вес несомненен. Вряд ли в русской поэзии первого двадцатилетия нашего века можно найти сатиру убийственной для строя и быта, существовавших в России. Огромное мастерство, подымающее стихи Саши Черного до уровня некоторых произведений Блока, мастерство, на котором воспитывались многие из ныне здравствующих советских поэтов, не менее достоверно. Мы считаем полезным:

1. Массовое издание сатир Саши Черного, снабженное необходимым разъяснительным материалом.

2. Полное (по возможности) издание стихов Саши Черного, в ограниченном тираже, как учебной книги для поэтов».

Предложение это было высказано в 1930 г. — на самом излете «серебряного» или, вернее, уже «медного» века. Сами понимаете, насколько оно было несвоевременным, ибо наступали времена, прямо скажем, не слишком благоприятные для популяризации поэта, находившегося в стане белоэмигрантов. Так что об издании Саши Черного на родине пришлось забыть надолго — на целых 30 лет.

Только в 1960 г., в разгар общественной «оттепели», по инициативе и при непосредственном участии К. И. Чуковского появился на свет том стихотворений Саши Черного, изданный в Большой серии «Библиотеки поэта». В избранное, составленное Л. А. Евстигнеевой, были включены книги стихов «Сатиры», «Сатиры и лирика» (с некоторыми изъятиями) и представленные выборочно «Жажда» и «Детский остров», а также стихотворения, впервые извлеченные из российской и эмигрантской периодики. Именно с этого издания, собственно, началось изучение и освоение Саши Черного.

Однако в издании его книг вновь наступил антракт — и опять протяженностью в 30 лет. Лишь в 1990 г. появилось следующее избранное «Стихи и проза», выпущенное в Ростове и подготовленное Л. В. Усенко. Что касается поэзии, то оно восполняло пропуски из «Жажды» и «Детского острова» в издании 1960 года. Это избранное по сути дела впервые знакомило с Сашей Черным-прозаиком — автором «Солдатских сказок», «Несерьезных рассказов» и некоторых прозаических вещей из прижизненной периодики.

Наконец, в 1991 г. вышел том «Избранной прозы» Саши Черного в серии «Из литературного наследия» (составитель А. С. Иванов) — том, явивший его в полный рост как самобытного мастера прозы. За исключением малых сатирических форм, в книге представлено все жанровое и тематическое разнообразие, все этапы творчества Саши Черного.

В последние несколько лет на книжном рынке одна за другой появлялись книжки Саши Черного — большие и малые. Все они не выходят по своему составу за пределы, очерченные тремя вышеназванными источниками. Таково в общем литературное хозяйство Саши Черного, освоенное на сегодня издателями и читателями.

Ныне стало ясно воочию, фигуру какого масштаба и необычного дарования имеем мы в лице Саши Черного. Пристальный и всевозрастающий интерес к этому имени убедил нас, что нужно не только восполнить имеющиеся до сих пор пробелы, но и собрать воедино литературное наследие писателя. Саша

Черный особенно актуален в наше расхристанное время, когда так ощутим дефицит добра и все наглей и беспардонней зло. Речь не о полном собрании сочинений: предлагаемое читателю издание ставит своей задачей явить объемно, во всей красе и совокупности различные писательские ипостаси Саши Черного: поэта-лирика и сатирика, беллетриста, юмориста, автора сказовых стилизаций, фельетониста, рецензента, публициста, детского писателя...

Обычно работа над собранием начинается с разбора и систематизации писательского архива. Но такового у Саши Черного нет. По разным фондам государственных архивохранилищ разбросано несколько стихотворных автографов и инскриптов. Сохранившееся эпистолярное наследие насчитывает от силы четыре-пять десятков писем и записок.

К счастью, сохранился так называемый «печатный архив»: книги и публикации Саши Черного в прижизненных изданиях. Правда, произведения эти, рассеянные по страницам прессы — отечественной и зарубежной, — основательно затеряны и забыты. Для их выявления необходимо было провести кропотливый сквозной просмотр старых газет, журналов, альманахов, в которых печатался или мог печататься данный автор. Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность незаметным труженикам библиотек Москвы и Ленинграда (Российской государственной библиотеки, Научной библиотеки федерального архива, Российской национальной библиотеки и Института научной информации по общественным наукам РАН), доставлявшим по моим требованиям из недр хранения груды печатных трудов с въевшейся в них пылью времен.

Результатом этих «литературных раскопок» явилась библиография Саши Черного, приближающаяся к исчерпывающей полноте. Подобная инвентаризация дала возможность обозреть почти все написанное Сашей Черным, контуры и пределы его писательских владений. Итак: при жизни поэта (с добавлением следующего после кончины года) была выпущена 51 книга, из коих изрядное количество падает на переиздания и книги, в которых он принимал участие как составитель или переводчик. В текстологическом отношении интерес представляют собственно 8 стихотворных и 9 прозаических книг. Входящие в их состав произведения (за малым исключением), публиковались до того в периодике либо коллективных сборниках. Кроме того, имеется огромный массив публикаций, появившихся в печати единожды. Вкупе это и есть именно тот информационный свод, который послужил основой для работы по составлению данного собрания.

Отбор материала и выстраивание литературного наследия Саши Черного в некое систематизированное единство сопряжено с определенными трудностями, поскольку сам автор никакого, хотя бы приблизительного плана на этот счет не составил. Самым простым и естественным было бы, не мудрствуя лукаво, расположить материал во временной последовательности. Действительно, можно представить, что поэт всю жизнь пишет одну единую книгу. Причем этот гипотетический том Саши Черного (впрочем, не его одного) оказался волей судьбы расколот надвое. Написанное до 1917 года и после — существенно различается между собой. Эмиграция не только коренным образом заставила сменить тематику, но и наложила свой отпечаток на тональность и манеру письма. От подобного деления творчества Саши Черного нам не уйти.

Но, помимо хронологии, есть еще отдельные книги, составленные самим писателем. Это своего рода гармонизированный прообраз мира художника на определенном этапе его развития, разрушать который было бы неразумно. Вот

почему наряду с хронологическим принципом в основу композиционного построения данного собрания положен второй компонент — авторские книги. Последние служат неким ядром, вокруг которого формируется корпус каждого тома посредством наращивания «несобранных» произведений, примыкающих к данной авторской книге тематически и хронологически. Конструкция книг, задуманная и осуществленная самим автором, сохранена, как правило, в неприкосновенности. Не обошлось, разумеется, без отдельных отступлений от этого правила, что оговаривается особо.

Произведения, оставшиеся за пределами прижизненных книг Саши Черного, обычно группируются в разделы по тематическому принципу, чему дается соответствующее обоснование. Внутри каждой такой совокупности произведения выстроены в хронологической последовательности.

Принципы эти положены в основу каждого тома. В самом общем виде материал в собрании сочинений Саши Черного распределен следующим образом. Первые два тома отданы поэзии: в 1-м — то, что создано до революции, во 2-м — рожденное на чужбине. В двух следующих — проза. В 3-м томе сосредоточены по преимуществу «смешливые» произведения — от ранних сатирических «осколков» до поздних «Солдатских сказок», а также статьи. В 4-м — беллетристические произведения. 5-й том: проза и стихи, обращенные к маленьким читателям.

Начальные десять лет поэтического творчества Саши Черного: от 1904 до 1914 г.— охватывает 1-й том. Крайняя дата, указанная на титульном листе, «1916» формального характера, потому как с момента, когда загрохотали пушки, поэт, призванный в действующую армию, не писал стихов больше двух лет.

Это творческое десятилетие распадается как бы на две неравные части, отделенные печатной паузой «1907 г.». Начальный период связан с ранними поэтическими опытами и с резкими сатирическими выступлениями в «дни свободы» на рубеже 1905—1906 гг. Те и другие вошли в сборник «Разные мотивы», который в настоящем издании представлен выборочно. В дополнение к ним даны стихотворения Саши Черного, которые публиковались в сатирической печати времен первой русской революции.

Вторую и основную часть тома составляют стихи, создававшиеся в пору сотрудничества поэта в «Сатириконе» и после ухода из него. Большинство из них собрано в книгах «Сатиры» и «Сатиры и лирика». Как известно, существует два варианта этого двухтомника. Одно издание появилось в России, другое — «новое дополненное издание» — в Берлине, в 1922 г. Надо было сделать выбор. Предпочтение было отдано первому, ввиду хронологического принципа, который положен в основу данного собрания. И еще хотелось, чтобы эта «коронная» книга Саши Черного, давшая ему имя и славу, была наконец явлена в том первоизданном виде, в каком ее знала читающая Россия, какой она вошла в духовный обиход современников писателя.

Однако при этом неизбежно выпадал целый ряд стихотворений, которые были включены автором лишь в берлинское издание. Во избежание потерь введены дополнительные подразделы. Помещаются они после соответствующего раздела с таким расчетом, чтобы не была нарушена композиция авторской книги. Внутри каждого подраздела дополнений стихи следуют в порядке очередности их расположения в издании 1922 г. Характерно, что среди стихов «дополнений» практически нет таких, которые были бы опубликованы до 1911 г., когда первоначальный вариант «Сатир» и «Сатир и лирики» уже был сформирован. Тем самым становится зрима эволюция поэта во времени.

Последний раздел тома — стихи, опубликованные между 1908 и 1914 гг., но ни в одно издание «Сатир» и «Сатир и лирики» не попавшие. Они систематизированы в несколько подборок, исходя из соображений, изложенных в преамбуле к данному разделу. Завершает дореволюционный период творчества Саши Черного поэма «Ной».

Много ли осталось стихов за «бортом» 1-го тома? Если не считать крайне слабых проб пера из сборника «Разные мотивы», а также стихов Саши Черного, вошедших в состав антологий «Библиотеки поэта», посвященных сатире начала XX века, то количество «отверженных» приближается к восьми десяткам.

Вернемся к собранию сочинений. Необходимо сказать о принципах подготовки текстов. Произведения, входившие в авторские книги, печатаются по тексту указанного прижизненного издания. Если имели место позднейшие изменения, либо разночтения и варианты в сравнении с первой публикацией, то все это фиксируется в комментарии.

Произведения, не включавшиеся автором в книги, печатаются по тексту первой (как правило, единственной) публикации. Последующие перепечатки в расчет не берутся, так как они чаще всего осуществлялись без ведома и согласования с автором. В настоящем собрании тексты печатаются в соответствии с современными нормами орфографии и пунктуации. Сокращения слов восстановлены в тех случаях, когда они не влекут за собой нарушения авторского замысла.

Библиографическая справка содержит информацию о первой публикации. Для журналов указывается — год, номер и страница, для газет — год и дата. Подобное различие избавляет от необходимости пояснять каждый раз, к какой разновидности прессы относится данный печатный орган. Указывается место издания (за исключением Петербурга, когда оно опускается), Авторская подпись фиксируется лишь в том случае, если она отлична от наиболее распространенного псевдонима автора — «Саша Черный» и «А. Черный». Указывается первоначальное заглавие, если впоследствии оно было изменено. Сообщается о позднейших перемещениях стихотворения в другие разделы книги. Фиксируются такие элементы первопечатной публикации, которые впоследствии были сняты в книге, как-то: подзаголовок, посвящение, эпиграф, объединение нескольких произведений в цикл или рубрику и т. п.

Датировка, как правило, дается по году первой публикации и заключена в угловые скобки <>, означающие, что она установлена косвенным путем. Впрочем, время написания и публикации в большинстве случаев, по-видимому, совпадают или близки. Если удалось установить более раннюю датировку написания, ставится вторая дата, заключенная в двойные угловые скобки <<>>; знак вопроса означает, что она предположительна. Объяснения по двойной датировке содержатся в комментарии. Отсутствие скобок означает, что произведение датировано самим автором. В проставленной им помете иногда указано и место написания. Заведомые ошибки, допущенные при этом автором, исправлены и оговорены.

Купюры в цитатах, используемых в комментарии, обозначены угловыми скобками и многоточием <...>.

В заключение хочу выразить искреннюю благодарность литературоведу М. З. Долинскому, библиографу Т. А. Осоргиной, библиофилам Л. М. Турчинскому и Н. Г. Юсову. Доброжелательное участие и конкретная помощь с их

стороны способствовали тому, чтобы собрание сочинений Саша Черного стало реальностью. Особая роль в этом принадлежит моей сестре — Екатерине Сергеевне Левитиной. Своей способностью к душевному отклику и сотворчеству, радостным талантом загораться и зажигать других она неизменно поддерживала мое увлечение Сашей Черным — сначала читательское, затем библиофильское и, наконец, исследовательское, увлечение, имевшее целью выйти в конце концов с обретениями и открытиями к людям. С благодарной и светлой памятью о ней я трудился над этим собранием, отдаваемым ныне на суд читателей. Каждому желательно, чтобы твоё чадо было умным и красивым, чтобы достоинства были заметны, а недостатки мизерны. Сознаю сам, что сделанное далеко не идеально. Так, из-за лимитированного объема издания пришлось пожертвовать целым рядом стихотворений. Кто-то, напротив, может попрекнуть: не следовало, дескать, включать то-то и то-то... Все так. Впрочем, ответ на сожаления и претензии такого рода сформулирован еще древними: «Feci quod potui, faciant meliora potentes» *.

Ниже приведен список книг, ссылки на которые в комментарии 1-го тома даны в сокращении:

Евстигнеева — Евстигнеева Л. А. Журнал «Сатирикон» и поэты-сатириконцы. М.: Наука, 1968.

КМ — Киевская мысль. Ежедневная газета. Киев. 1906—1918.

Од. нов.— Одесские новости. Газета политическая, литературная и коммерческая. Одесса. 1884—1917.

Письма Горькому — Письма Саша Черного к Горькому. Публикация Н. И. Дикушиной в сб. «Горький и его современники. Исследования и материалы». Вып. 2. М.: Наука, 1989.

Разные мотивы — А. М. Гликберг. Разные мотивы. Спб., 1906.

Сат.— Сатирикон. Еженедельное издание. Спб., 1908—1914.

Сатиры, 1910 — Саша Черный. Сатиры. Спб.: Издание М. Г. Корнфельда, 1910.

Сатиры, 1911 — Саша Черный. Сатиры. Кн. 1 (изд. 2-е). Спб.: Издательство «Шиповник», 1911.

Сатиры, 1922 — А. Черный. Сатиры. Кн. 1. Новое дополненное издание. Берлин: Издательство «Грани», 1922.

Сатиры и лирика, 1911 — Саша Черный. Сатиры и лирика. Кн. 2. Спб.: Издательство «Шиповник», 1911.

* Я сделал все, что мог, кто может, пусть сделает лучше (лат.).

Сатиры и лирика, 1922 — А. Черный. Сатиры и лирика. Кн. 2. Новое дополненное издание. Берлин: Издательство «Грани», 1922.

СМ — Современный мир. Ежемесячный литературный, научный и политический журнал. Спб., 1906—1917.

СР — Солнце России. Литературно-художественный и юмористический еженедельник. Спб., 1910—1917.

Тимофеева — Тимофеева В. В. Об одном неосуществленном замысле // Горький и его современники. М., 1968.

Чуковский — Чуковский К. И. Современники. М., 1967.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1905—1906 ГОДОВ, ИЗ КНИГИ «РАЗНЫЕ МОТИВЫ»

Книга вышла в Петербурге в 1906 г. под собственной фамилией автора: А. М. Гликберг. На титульном листе указано место издания: С.-Петербург, «Электропечатня» Я. Кровицкого. Разъезжая, № 6. В этой же типографии в том же году была набрана книга стихов К. К. Роше «Поэма души». Отсутствие сведений об издательстве позволяет думать, что «Разные мотивы» являются «изданием автора». На обложке напечатано: «Доход поступает в пользу библиотеки служащих С.-Петербурго-Варшавской ж. д.». Книга прошла незамеченной — откликов на нее в печати не обнаружено. Вышедшая в «дни свободы» бесцензурно, она была подвергнута разбирательству в комитете по делам печати лишь в 1908 г., когда проводился массовый пересмотр книжной продукции 1905—1906 гг. Было предъявлено обвинение по трем статьям, однако судебное дело не имело для автора последствий, поскольку, как сообщалось в материалах следствия, «полное имя и местожительство его комитету неизвестно».

Стихотворения сгруппированы в два раздела, не имеющие названий и нумерации (каждый предварен орнаментальной заставкой). Начальный раздел включает десять стихотворений революционно-гражданской и сатирической направленности. Второй раздел состоит из лирических произведений: 11 стихотворений и «Лунных рассказов», которые в жанровом отношении могут быть определены как стихотворения в прозе.

1906 — Разные мотивы. С. 3—4.

СЛОВЕСНОСТЬ — Молот. 1906. № 2. С. 7. Подпись: А. Гл-г. Публикация имеет свою историю. Сатирический журнал «Молот» был в некотором роде семейным предприятием: редактором его значился К. И. Диксон (племянник К. К. Роше), а издателем — его жена — А. К. Диксон. В доме Диксонов нашел свой первый приют Саша Черный, когда приехал в 1904 г. из Житомира в Петербург. Участие его в журнале сыграло не последнюю роль в закрытии «Молота» на 2-м номере. Усмотренное в «Словесности» оскорбление армии явилось одним из поводов для привлечения редактора к судебной ответственности. К. И. Диксон успел скрыться за границу, но по возвращении в мае 1908 г. был подвергнут аресту и на полтора года заключен в тюрьму «Кресты». *Фефела* — нерасторопный, дурак, рязина.

ЧЕПУХА («Трепов — мягче сатаны...») — Зритель. 1905. № 23. С. 4. Эта публикация примечательна тем, что поэт впервые подписался псевдонимом «Саша Черный». Много позже он в разговоре с критиком А. Измайловым раскрыл житейскую подоплеку происхождения этого необычного литературного имени: «Нас было двое в семье с именем Александр. Один брюнет, другой блондин. Когда я еще не думал, что из моей «литературы» что-нибудь выйдет, я начал подписываться этим семейным прозвищем (Измайлов А. Нестареющая легенда // Русское слово. М. 1914. 30 мая). Саша Черный использовал для сатирического комментария политической злобы дня фольклорную традицию перевертышей и нелепиц в соединении с принципом эстрадного «капустника». Публике было достаточно намек на лица и обстоятельства, «протягиваемые» в куплетах. За алогичностью имен и событий, которые были у всех на слуху, без труда угадывались внутренние взаимосвязи политической и общественной жизни, что, по всей видимости, предопределило небывалый и повсеместный успех стихотворения у современников. Позднейшие расшифровки аллюзий и забытых реалий, в какой-то степени проясняющие содержание, едва ли способны воскресить злободневную остроту и ту прелесть общности, которую испытывали первые читатели «Чепухи».

Трепов Д. Ф. (1855—1906) — генерал-майор свиты; с января 1905 г. товарищ министра внутренних дел и командующий отдельным Корпусом жандармов, получивший печальную известность своим приказом, отданным во время всероссийской стачки: «Холостых залпов не давать! Патронов не жалеть!» (Эти слова, подобно эху, отозвались в обществе крамольной переделкой: «Тронов не жалеть!») *Дурново П. Н.* (1845—1915) — с октября 1905 по апрель 1906 г. министр внутренних дел, то есть являлся шефом полиции. Широкую огласку в печати получила его крупная афера с овсом (см. с. 419), что дало повод сатирикам всячески обыгрывать этот «талант» Дурново. ... *рейтузы с кантом.*— Деталью форменной одежды полицейских был красный кант. *Нейдгарт Д. Б.*— одесский градоначальник в 1903—1905 гг., во время правления которого произошли черносотенные погромы. В газеты просочились слухи, что он якобы назначается губернатором в Ярославль: «Вся надежда,— писалось в газете «Наша жизнь» от 10 ноября 1905 г.,— что этот слух окажется «уткой». Иначе впечатление получится прямо удручающее: ведь одной десятой натворенного в Одессе Нейдгартом довольно, чтобы его судить, а не награждать губернаторским местом». Позднее сообщалось о «привлечении бывшего одесского градоначальника Нейдгарта к уголовной ответственности за проявленное бездействие при подавлении одесского погрома». Все окончилось тем, что под давлением общественности вынужденный уйти с поста Нейдгарт занял должность гофмейстера. *Курилов П. Г.* (1860—1923) — минский губернатор в 1905—1906 гг. По его распоряжению в октябре 1905 г. был произведен расстрел многотысячного митинга. *Алексеев Е. И.* (1843—1909) — внебрачный сын Александра II; адмирал, в 1904 г. главнокомандующий действующей армией во время русско-японской войны; вынужден был подать в отставку и был назначен членом Гос. совета. *Крушеван П. А.* (1860—1909) — публицист крайне правого толка, считавшийся подстрекателем кишиневского погрома. *Линевич Н. П.* (1838—1908) — генерал, получивший известность неожиданно лихим взятием Пекина в 1900 г. Будучи главнокомандующим Маньчжурской армией во время русско-японской войны, проявлял, напротив, осторожность в военных действиях. Его медлительность позволила сохранять армию, что во многом предопределило исход переговоров

о мире. ... *Витте родиной живёт.*— По-видимому, имеются в виду слова, произнесенные Витте: «Я знаю, как спасти Россию». *Витте С. Ю.* (1849—1915) — государственный деятель, который на посту министра финансов всемерно содействовал развитию капитализма в России. В октябре 1905 г. возглавил Совет министров. Под его воздействием царь издал манифест 17 октября 1905 г., представлявший собой хартию конституционных свобод. Одновременно предпринимал меры по стабилизации положения в стране. Двойственность его политики вызывала недовольство как левых, так и правых сил, что в конечном счете привело к его скорой отставке. ...*разорвался апельсин.*— «Апельсинами» именовались в просторечии бомбы террористов. ...*Самый глупый человек.*— В журнальной дубликации эта строка выглядела иначе: «Сей высокий человек», что, казалось бы, давало повод отнести ее к государю. Однако внесенное изменение указывает на Витте, ибо, по логике перевертыша, оно должно относиться к тому, кто считался умнейшим государственным мужем России. В этом же контексте надо понимать фразу «высокий господин маленького роста», поскольку, как известно, Витте отличался гигантским ростом. Об этом же явствует содержание всей строфы, где речь идет о поездке за границу, в результате которой были прекращены военные действия в Маньчжурии. *Фролов* — корнет лейб-гвардейского полка, получивший известность тем, что во время разгона митинга ударил ножами палаша приват-доцента Е. В. Тарле. *Хомутов П. Ф.*— казанский губернатор, отличавшийся самоуправством, в октябре 1905 г. под давлением общественности отстраненный от должности. *Безобразов А. М.* (1855—1931) — статс-секретарь, известный богач. Будучи членом Особого Комитета по делам Дальнего Востока, вместе с адмиралами Абазой и Алексеевым втянул Николая II в авантюру в Корею, послужившую поводом для русско-японской войны. *Стессель А. М.* (1848—1915) — генерал-лейтенант, возглавлявший оборону Порт-Артура. За сдачу крепости, которая была еще способна к обороне, был приговорен Верховным судом к расстрелу, замененному 10-летним заключением. По распоряжению царя вскоре был выпущен на свободу. *Суворин А. С.*— см. с. 408. «*Начало*» — газета социал-демократического направления, выходившая в Петербурге в ноябре-декабре 1905 г. ...*Появился Серафим — Появились дети.*— Серафим Саровский (1759—1833) — иеромонах Саровского монастыря, канонизированный в 1903 г. Царская фамилия участвовала в церемонии открытия мощей, связывая с этим событием рождение наследника. *Пана* — очевидно, имеется в виду Николай II. ...*в ложе у Неметти.*— Театр В. А. Неметти, где ставились оперетты и водевили. Известно, что Николай II был большим театралом, причем посещал не только классические постановки, но и спектакли фривольного содержания. Вот свидетельство директора императорских театров С. М. Волконского: «Помню, однажды, просматривая репертуар, он (царь.— *А. И.*) спросил: «А что, французская пьеса в субботу какова?» Я сказал, что очень смешная, но и очень того... Он прищурился, подмигнул и с лукавством школьника шепнул: «Ну ничего, я один приеду...» (Волконский С. М. Мои воспоминания. Т. 2. М., 1992. С. 169). ...*Что-то будет, братцы?* — Последнее слово выделено поэтом, по-видимому, не случайно. В ответ на требования Совета рабочих депутатов Витте послал телеграмму, которая начиналась словами: «Братцы-рабочие», на что последовала возмущенная отповедь (см. «Ответ Совета рабочих депутатов С. Ю. Витте» // *Наша жизнь.* 1905. 9 ноября).

СТИХИ 1905—1906 ГОДОВ, НЕ ВОШЕДШИЕ В КНИГУ «РАЗНЫЕ МОТИВЫ»

ПЕРВАЯ НОЧЬ — ОР РГБ, ф. 620, карт. 732, ед. хр. 1, л. 12. Подпись: А. Гликберг.

Одно из ранних стихотворений поэта, автограф которого сохранился в архиве К. И. Чуковского. Публикуется впервые с любезного разрешения наследницы архива Е. К. Чуковской. Датируется по аналогии с другим стихотворением из того же фонда — «Воздух влажен, свеж и ароматен...», где имеется помета: 1905. *Курц Изольда* (1853—1944) — немецкая писательница: поэтесса, переводчица, автор романов, новелл. С 1877 по 1913 гг. жила во Флоренции, занималась изучением Ренессанса.

СОН — Вольница. 1906. № 1. С. 71—72. *Плеве В. К.* (1846—1904) — министр внутренних дел и шеф жандармов в 1902—1904 гг. Проводил политику укрепления государственности и самодержавия. Убит эсером Е. С. Сазоновым. *Портсмутский граф* — С. Ю. Витте, возглавлявший русскую делегацию на переговорах в Портсмуте (США), где был заключен мирный договор, завершивший русско-японскую войну. Бытовало мнение, что приемлемые для России условия были достигнуты благодаря дипломатической изворотливости Витте, за что ему был пожалован графский титул.

ЖАЛОБЫ ОБЫВАТЕЛЯ — Леший. 1906. № 3. С. 9—10.

ЧЕПУХА («От российской чепухи...») — Маски. 1906. № 1. С. 8. ...*Раз не пишет дурачок, Значит, забастовка.* — В декабре 1905 г. были введены временные правила об уголовной ответственности за участие в забастовке. *Скалон Г. А.* (1874—1914) — варшавский генерал-губернатор и командующий войсками военного округа, крутыми мерами пресекавший волнения в Польше. *Граф Портсмутский* — см. выше. ...*Дали франкам в заем под процент обычный.* — В газетной хронике сообщалось: «доверенное лицо гр. Витте только что окончило в Париже свою миссию, касавшуюся заключения русского займа. <...> удалось достигнуть соглашения, по которому в случае прочного успокоения страны может быть реализован 4%-ный заем на сумму 1.200 миллионов франков, в течение 3-месячного срока. За этим займом через короткие промежутки последуют один или два других» (Наша жизнь. 1905. 16 ноября). *Предварительный дом* — тюрьма предварительного заключения на Шпалерной улице. ...*В Думе правым мужики наплевали в кашу.* — По проекту выборов в первую Думу, составленному Булыгиным, преимущество было искусственно отдано крестьянскому классу, так как правительство рассчитывало на его консервативный дух, приверженность трону и алтарю. *«Молва»* — газета, выходившая в Петербурге в конце 1905 — нач. 1906 г. во время перерыва в издании газеты «Русь». ... *«Зритель» разрешили.* — Журнал был закрыт 11 декабря 1905 г. на № 25. Разрешение на его возобновление не было дано — вместо него в начале 1906 г. стал выходить «Журнал», а затем «Маски». ...*Пожилый и хилый врач высек генерала.* — Имеется в виду инцидент

с ашхабадским генералом В. Ковалевым, который в своем доме учинил дикую расправу над врачом Н. Забусовым. Судебный процесс широко освещался в печати. Не дожидаясь приговора, генерал застрелился. *Менелик II* (1844—1913) — негус (император) Эфиопии. ...*Сам сиятельный сифон*.— По всей видимости, намек на Витте, конфигурация носа которого давала пищу для домыслов и сплетен о застарелом сифилисе, скажем, такого рода: «...ему понадобилась операция (парафиновый нос вместо исчезнувшего настоящего)» (Василевский И. Граф Витте и его мемуары. Берлин, 1922. С. 6). *Корда* — веревка для выездки лошадей по кругу. *Жан Кронштадтский* — имеется в виду Иоанн Кронштадтский, в миру — И. И. Сергиев (1829—1908), протоиерей Андреевского собора в Кронштадте. Богослужения и проповеди его отличались экзальтированностью. Верующими почитался как чудотворец. Убеденный монархист. В демократических кругах его личность воспринималась отрицательно. ...*Думу открывают*.— Открытие Гос. Думы 1-го созыва состоялось 27 апреля 1906 г.

ДО РЕАКЦИИ — Маски. 1906. № 3. С. 6. Иронический перепев стихотворения К. Прутоква «Юнкер Шмидт». ...*Полицейский в грязной Мойке хочет утониться*.— Здание департамента полиции располагалось на набережной реки Мойки.

«О, ИСПАНЕЦ БЛАГОРОДНЫЙ...» — Маски. 1906. № 6. С. 6. *Альфонс* — здесь игра слов: омонимическое совпадение испанского имени с имеющим презрительный оттенок наименованием любовника, находящегося на содержании у женщины.

САТИРЫ

До революции «Сатиры» выдержали пять изданий. Первое вышло в 1910 г. в издательстве М. Г. Корнфельда. Следующее — в издательстве «Шиповник» в 1911 г. (без обозначения года выпуска), с добавлением к названию подзаголовка: «Книга первая», а также указания: 2-е издание. По сравнению с первым оно дополнено 12 стихотворениями: «Диета», «Мухи», «В усадьбе», «Простые слова», «Сиропчик», «Искусство в опасности», «Молил поэта...», «На реке», «Праздник», «Трава на мостовой...», «Экзамен», «Диспут». Кроме того, были произведены некоторые перемещения внутри разделов. В том же издательстве последовали стереотипные издания: 3-е в 1911, 4-е в 1913, 5-е в 1917 г. Следующее издание «Сатир» вышло в 1922 г. в берлинском издательстве «Грани». На титульном листе значилось: Новое дополненное издание. По сравнению с дореволюционной книгой изменения были действительно существенные: были изъяты многие стихотворения и целиком раздел «Невольная дань». Одновременно состав был пополнен стихотворениями, опубликованными в периодике в 1911—1916 гг., а также теми, что поэт дотоле не отдавал в печать.

ВСЕМ НИЩИМ ДУХОМ

КРИТИКУ — Сат. 1909. № 42. С. 9. В цикле из трех стихотворений под общим заглавием «Деликатные мысли». Единственное во всей книге оно набрано

курсивом, должествуяющим подчеркнуть особое место и роль своего рода эпиграфа-предупреждения, которое отводилось этому стихотворению. В Сатирах, 1922 вынесено за пределы раздела, поставлено особняком.

ЛАМЕНТАЦИИ — Сат. 1909. № 32. С. 7. В Сатирах, 1922 порядок строф изменен: 8, 9 и 10-я поставлены после 4-й строфы. Под стихотворением появилась помета: 1909, которая в качестве авторской датировки принята в настоящем издании. *Ламентация* — жалоба, сетование. ...*Ищем Бога, ищем черта.* — См. ниже. *Фрина* — гетера в древних Афинах, известная своей красотой. *Акулина* — имя, употребляемое в значении — неряха, неумеха.

ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕСНЫ — Сат. 1909. № 11. С. 2. В заглавии использовано название модной в начале века пьесы Ф. Ведекинда «Пробуждение весны» (1891). Стихотворение положено на музыку Д. Д. Шостаковичем. *Лазарь* — брат Марфы и Марии, которого любил Христос и которого воскресил из мертвых (Ин. II, 1, 2, 5). ... *Как много дум наводит он.* — Цитата из стихотворения Т. Мура «Вечерний звон» в переводе И. И. Козлова, получившего известность как романс на музыку Алябьева. «*Князь*» — так именовали старьевщиков, которые, по сложившейся традиции, были обычно татарского происхождения.

КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА — Сат. 1909. № 14. С. 2. В заглавии использовано название рассказа Л. Н. Толстого (1889). Положено на музыку Д. Д. Шостаковичем. *Бигус* — польское блюдо из тушеной капусты с мясом.

ОТЪЕЗД ПЕТЕРБУРЖЦА — Сат. 1909. № 20. С. 3. Тематически и по времени публикации стихотворение совпадает со сборами и отъездом поэта в Башкирию, на летний отдых. «*Третья Дума*» — в результате Конституционной Хартии 1905 г. родилась российская парламентская организация, получившая наименование Государственной Думы. Выборы в нее производились четыре раза. Первые две Думы были распущены досрочно как оппозиционные, и лишь Дума 3-го созыва функционировала весь положенный пятилетний срок: с ноября 1907 по июнь 1912 г. Подготавливаемые в ней законопроекты обычно тонули в обсуждениях и словопрениях. *Ликург* — легендарный спартанский законодатель. *Синяя Птица* — символический образ возвышенной мечты, стремления к прекрасному, но призрачному счастью. В культурный обиход русского общества он вошел из одноименной пьесы М. Метерлинка, шедшей на сцене Художественного театра. ...*Был я богоборцем, был я мифотворцем.* — В связи с утратой веры в официальную церковь в среде российской интеллигенции возникали всевозможные религиозно-философские искания. Отношение Саши Черного к ним было достаточно скептическим, если судить по шуточной хронике «Дикие утки»: «Недавно полиция задержала двух неизвестных, которые ходили озираясь и ища чего-то. Спрошенные в участке о роде занятий, задержанные объяснили, что один из них занимается богоискательством, а другой — богостроительством. Оба задержаны до востребования родственниками» (Сат. 1909. № 13. С. 3). *Спермин* — лекарственный препарат, изготовлявшийся из вытяжки семенных желез животных. Усиленно рекламировался как средство от неврастении и полового бессилия. «*Код*» — сокращенно-бытовое наименование фотоаппарата акционерного общества «Кодак». ...*к дантисту-инверцу.* —

За пределами «черты оседлости» право на жительство предоставлялось ограниченному кругу лиц иудейского вероисповедания: купцам 1-й гильдии, врачам, людям свободных профессий (художникам, артистам, журналистам, проституткам и другим).

ИСКАТЕЛЬ — Сат. 1909. № 45. С. 3. *Гунияди-Янос* — венгерская минеральная вода, применявшаяся как слабительное. ...*парой Егеревских нижних*. — Нижнее гигиеническое белье, введенное в обиход доктором Егером.

«ВСЕ В ШТАНАХ, СКРОЕННЫХ ОДИНАКОВО...» — Сат. 1908. № 1. С. 10. *Лейтенант Глан* — герой романа норвежского писателя К. Гамсуна «Пан» (1894), увлечение которым в ту пору было почти повальным. В романе опозитивирована сильная, странная личность, живущая в единении с природой и повиная в своих поступках лишь зову сердца.

ОПЯТЬ... — Сат. 1908. № 22. С. 2. Без названия. ...*Опять соберутся Гучковы*. — После летних каникул Дума возобновляла свою работу. *Гучков А. И.* (1862—1936) — лидер партии октябристов, член 3-й Думы, в 1910—1911 гг. — ее председатель. Был излюбленной фигурой на страницах «Сатирикона», где всячески изобличался в конформизме и низкопоклонстве перед верховной властью.

КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА — Эпоха. 1908. 22 сентября. *Вильгельм II* (1859—1941) — германский император, почитавшийся как продолжатель бисмарковского дела создания могущественной Германии. «*Остров мертвых*» — картина Бёклина (1880), репродукции которой на рубеже двух веков стали модным украшением квартир в Германии и России. *Уриель д'Акоста* (1585—1640) — гуманист и вольнодумец португальского происхождения, живший в Голландии. Покончил жизнь самоубийством, оставив трагическую исповедь «Пример человеческой жизни». *Гучков* — см. выше. «*Русь*» — газета, выходившая в Петербурге в 1903—1908 гг.

ЖЕЛТЫЙ ДОМ — Сат. 1908. № 5. С. 2. Под заглавием «Петербургская лирика». ...*Один кот хоронит*. — Сюжет широко распространенной лубочной картинки «Как мыши кота хоронили». ...*Есть парламент, нет? — Бог весть*. — По-видимому, отголосок знаменитой фразы министра финансов В. Н. Коковцова, брошенной на заседании Думы 24 апреля 1908 г.: «У нас парламента, слава Богу, нет». ...*Я не знаю. Черти знают*. — По форме эта строка напоминает рефрен эстрадных куплетов: «Я не знаю — Пушкин знает» (автор А. Денисов). *Гучков* — см. выше.

ЗЕРКАЛО — Сат. 1908. № 34. С. 2. Без подписи, поскольку опубликовано в «Специальном номере, посвященном русской прессе», в котором все материалы шли — как бы в пику цензуре — анонимно. *Франц-Иосиф I* (1830—1916) — император Австрии и король Венгрии из династии Габсбургов. *Бобринский В. А.* (1868—1921) — граф, крупный землевладелец и сахарозаводчик; в Думе сторонник политики Столыпина.

СПОРЫ — Зритель. 1908. № 5. С. 7. Подпись: А. Гли.

ИНТЕЛЛИГЕНТ — Утро. 1908. 22 сентября. С незначительными разночтениями в первой публикации; последняя ст.: «Не заснуть ли и мне? Брат, подвинься немножко». В Сатирах, 1922 помета: 1908.

ДИЕТА — Сат. 1910. № 24. С. 2. *Черный рак* — прозвище крайне правых, черносотенцев (см. ниже).

ОТБОЙ — Сат. 1908. № 24. С. 7. С незначительными разночтениями; отсутствовал эпиграф из Гейне. В Сатирах, 1922 помета: 1908. *Черная сотня* — термин, вошедший в политический лексикон начала XX века как презрительная кличка участников патриотических манифестаций и погромов. Впрочем, «истинно русские» не считали это прозвище обидным. В «Руководстве монархиста-черносотенца» говорилось: «Враги самодержавия назвали «черной сотней» простой, черный русский народ, который во время вооруженного бунта 1905 года встал на защиту самодержавного царя. Почетное ли это название «черная сотня»? Да, очень почетное. Нижегородская черная сотня, собравшаяся вокруг Минина, спасла Москву и всю Россию от поляков и русских изменников». Черной сотней именовали себя несколько десятков союзов и организаций, из которых наиболее крупным был «Союз русского народа» (см. с. 406). Движение это возникло при попустительстве и поддержке официальных властей в противовес антимонархическим настроениям, смуте и крамоле. Черносотенцы выдавали свои действия (запугивание, террор, погромы) за гнев народный, направленный на защиту царя и отечества от инородцев и революционеров. «*Черный кабинет*» — так называлась комната для перлюстраций (просвечивания) закрытых писем, которая оборудовалась тайной полицией для контроля за частной перепиской. «*Звездная палата*» — группа титулованных лиц, приближенных к трону, закулисных вершителей государственной политики. Название заимствовано из истории: в Англии XV — XVII веков в зале, украшенном звездами, заседал Верховный суд. «*Отречемся от старого мира...*» — первая строка революционной песни, исполнявшейся на мотив «Марсельезы».

1909 — Сат. 1909. № 1. С. 10.

НОВАЯ ЦИФРА — Сат. 1910. № 1. С. 2.

ДВА ЖЕЛАНИЯ — Сат. 1909. № 5. С. 5. Оба стихотворения напечатаны в цикле из пяти эпиграмм под общим заглавием «Мои желания».

БЫТ

ОБСТАНОВОЧКА — Сат. 1909. № 10. С. 5. Под заглавием «Быт», с посвящением К. И. Чуковскому, которое в книге было снято (о причинах см. с. 412). ...«*Пойми мою печаль*» — по-видимому, имеется в виду романс А. А. Гурилева на слова неизвестного автора «Вам не понять моей печали».

МЯСО — Сат. 1909. № 31. С. 6. Помета: Гунгербург. *Брандахлыст* — пустой, дрянной человек. *Лаун-теннис* — прежнее название тенниса. *Астарта* — богиня любви и плодородия у финикийцев. *Паж* — воспитанник Пажеского корпуса, привилегированного учебного заведения, выпускающего офицеров для гвардии. При парадной одежде вместо ботинок носили лаковые штиблеты. *Шнель-клопс* — мясное блюдо немецкой кухни типа биточков.

МУХИ — СР. 1910. № 22. С. 4. Под заглавием «Дачные мухи». *Провизор* — аптекарь с высшим фармацевтическим образованием.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ГОРЕ — Сат. 1910. № 2. С. 2. Стихотворение носит автобиографический характер, ибо, живя в центре (Фонтанка, 68), поэт нередко попадал в ситуации, аналогичные описанным. Может статься, по этой причине Саша Черный переселяется в более отдаленные районы — сначала на Васильевский остров, а в 1911 г. — на окраину Петербурга — Крестовский остров, сняв квартиру по адресу: Надеждинская улица, дом 5, дача Ломова. Зазывая к себе Чуковского для обсуждения литературных дел, он так обосновывает достоинства своего местообитания: «Кстати, у меня и удобней, — никого нет, никто не прилетит, потому, что шел мимо, и не обратит беседу в чехарду» (ОР РГБ, ф. 620, карт. 73, ед. хр. 1, л. 9). *«Месяц в деревне»* — пьеса И. С. Тургенева.

НА ВЕРБЕ — Сат. 1909. № 13 («Пасхальный»). С. 3. В цикле из двух стихотворений под общим заголовком «Лирическое». *Верб*а — Вербное воскресенье, христианский праздник «Вход Господень в Иерусалим». Отмечался в воскресный день за неделю до Пасхи; пальмовые ветки в русском обиходе заменены распускавшейся вербой. В этот день устраивались специальные «Вербные базары», где продавались всевозможные игрушки, изготовлявшиеся умельцами к этому празднику. Так, непременно атрибутом этого веселого торжища был *«американский житель»* — чертик, кувыркающийся в стеклянном сосуде, наполненном водой. Эти гуляния были воистину народными праздниками, особенно для детей. К сожалению, весь этот пестрый, красочный и простодушно-радостный мир после революции исчез. Исчез не только реально, вещественно, но не сохранился во всех подробностях даже в памяти поколений. Ни в литературе, ни путем расспросов здравствующих поныне ровесников века не удалось мне выяснить, что такое, например, «животрепещущие доктора», упоминаемые в стихотворении. *Чуйка* — протонародное одеяние в виде длинного суконного кафтана. Переносное значение — человек в такой одежде.

СОВЕРШЕННО ВЕСЕЛАЯ ПЕСНЯ — СР. 1910. № 2. С. 9. *Франзоли* — южнорусское название французской булки (прим. сделано в книге Сашей Черным).

СЛУЖБА СБОРОВ — Сат. 1909. № 39. С. 5. Стихотворение носит автобиографический характер, воссоздавая атмосферу учреждения, в котором А. Гликберг служил письмоводителем после переезда из Житомира в Петербург. Концовку стихотворения можно соотнести с другим, более ранним периодом в судьбе А. Гликберга, когда он, исключенный из гимназии и живший один в Петербурге, без помощи родителей, получил неожиданную поддержку от посторонних, одевших и обувших его. После чего, как сказано в статье А. А. Яблоновского, «получил возможность не сидеть на квартире хозяйки без сапог, а искать себе место. И он действительно ищет его, робкий, сконфуженный, с прошением в руках, он ходит из канцелярии, из одного присутственного места в другое и просит работы» (Сын отечества. 1898. 8 сентября). *Акцептация* — утверждение к оплате денежных документов. *Таксировщик* — оценщик.

ОКРАИНА ПЕТЕРБУРГА — Альманах «Современный Всепетербург». Бесплатное приложение к журналу «Сатирикон» за 1908 г. 1908. С. 30. Под заглавием: «На окраине Петербурга». *Чуйка* — см. выше. ...*«Па-ца-луем дай забвень!»*

...«Муки сердца утоли!» — строки из романса Н. В. Зубова на слова А. В. Маттизена «Под чарующей лаской твоею» (1899). *Заушенье* — оплеуха, в переносном смысле — оскорбление.

НА ОТКРЫТИИ ВЫСТАВКИ — Стрекоза. 1908. № 11. С. 5. *Шляпка кэк-уок* — шляпа с узкими полями, в которой исполнялся танец американских негров «кэк-уок», вошедший в моду в начале века. *Трэн* — шлейф.

В РЕДАКЦИИ ТОЛСТОГО ЖУРНАЛА — Сат. 1909. № 43. С. 6. В России еще с прошлого века существовало понятие «толстый журнал», подразумевающее периодическое издание, где под одной обложкой помещалась художественная проза, поэзия, критические обзоры, исторические и философские исследования, статьи по экономике и естественным наукам. Словом, широкий свод материалов и сведений, призванных объединить образованную часть общества, интеллигенцию различных специальностей на общественно-политической основе. Идеальная направленность «толстых» журналов обычно ставила художественную часть в подчинение основной задаче — жертвенному служению народу. Саше Черному не раз пришлось сталкиваться с совершенно непробиваемыми рутинными нравами, царившими в редакциях толстых журналов. В письме к Е. А. Ляцкому он излагает принципы, на которых должен, по его мнению, строиться подобный журнал: «Физиономию журнала в идеальном виде представляю себе так: надо, во-первых, позволить искусству быть искусством. Партийность до сих пор смотрела на него как на неизбежное зло и набивала художественную часть чем попало». (Тимофеева. С. 167.) *Некто в сером* — персонаж пьесы Л. Н. Андреева «Жизнь человека» (1906).

ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН — Сат. 1909. № 13 («Пасхальный»). С. 9. В цикле из двух стихотворений под общим заглавием «Лирическое».

НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДАЧЕ — Сат. 1909. № 29. С. 3. Есть основание думать, что именно это стихотворение имела в виду племянница жены поэта — Е. И. Бартошевич (о ней см. с. 440), писавшая К. И. Чуковскому 1 июня 1961 г.: «...у дяди Саши были стихи о нашей даче». (ОР РГБ, ф. 620, карт. 620, ед. хр. 32, л. 1.) ...*в холерных корчах*. — Газеты тех лет пестрят сообщениями об эпидемии холеры. ...*Ах, жив бездарнейший Гучков, но нет великого Патрокла!* — Перефразированные строки из баллады Шиллера в переводе Жуковского «Торжество победителей»: «Нет Великого Патрокла. Жив презрительный Терсит». *Гучков* — см. с. 402. ...*шаху дали в шею*. — В июле 1909 г. в результате революции в Персии был низложен Мохамед-Али-Шах. *Шнель-клопс* — см. с. 403.

НОЧНАЯ ПЕСНЯ ПЬЯНИЦЫ — Сат. 1909. № 40. С. 2.

ГОРОДСКАЯ СКАЗКА — Сат. 1909. № 46. С. 7. Прототипом героини стихотворения, по всей вероятности, послужила близкая подруга жены поэта — Валентина Владимировна Соболева (см. посвящение к стихотворению «Уголок»), сотрудница Петербургского женского медицинского института. Благодаря ей Саша Черный был хорошо осведомлен о студенческой жизни «медичек» и преподавательского состава. ...*у Калинкина моста*. — К медицинскому институту была прикреплена Калинкинская больница, принимавшая венерических больных. *Леди Годива* — легендарная спасительница города Ковентри от поборов, которая

согласилась выполнить поставленное условие — проехать на лошади обнаженной (ок. 1043 г.). *Фаддей Симеонович Смяткин* — много лет спустя, в эмиграции, этот персонаж был возрожден Сашей Черным в качестве мифического «известного профессора филологии», от имени которого велся отдел сатиры и юмора «Бумеранг» в журнале «Иллюстрированная Россия».

В ГОСТЯХ — Сат. 1908. № 32. С. 4. ...*На стене босой Толстой.*— Имеется в виду репродукция с картины И. Е. Репина (1901). *Метерлинк М.* (1862—1949) — бельгийский писатель и драматург, чьи пьесы пользовались в начале века популярностью. ...*дочь в реформе.*— Платье строгого покроя с белым высоким воротничком.

ЕВРОПЕЕЦ — Альманах «Современный Всепетербург». Бесплатное приложение к журналу «Сатирикон» за 1908 г. С. 28. «*Доминик*», «*Медведь*» — модные рестораны на Невском проспекте. *Портер* — сорт темного пива. *Пулярка* — откормленная курица. *Александровский сквер (сад)* — излюбленное место гуляющей публики в центре Петербурга: перед зданием Адмиралтейства, меж Дворцовой и Сенатской площадями. «*Аквариум*» — увеселительное заведение с рестораном и концертным залом. «*Новое Время*» — см. с. 409. *Шварц* — см. с. 416. *Кноп* — галантерейный магазин Ф. Кнопа на Невском проспекте.

ЛАБОРАНТ И МЕДИЧКИ — Сат. 1909. № 49. С. 7. О происхождении медицинской тематики см. стихотворение «Городская сказка». *Боа* — здесь разновидность удавов. *Минерва (др.-рим. миф.)* — богиня мудрости и знаний.

В УСАДЬБЕ — Од. нов. 1910. 25 декабря. В Сатирах, 1922 перемещено в раздел «Лирические сатиры», а также сделана автором помета: «Кавантсаари», которую следует считать ошибочной. *Аракария* (правильнее — араукария) — хвойное южноамериканское растение, культивировавшееся в качестве комнатного. *Лампа-молния* — подвесная керосиновая лампа с цилиндрическим фитилем, обеспечивавшем яркое освещение.

〈ДОПОЛНЕНИЯ ИЗ ИЗДАНИЯ 1922 ГОДА〉

КУХНЯ — Аргус. 1913. № 1. С. 54. С подзаголовком: «Intereius». В книжном варианте изменено чередование строф.

АВГИЕВЫ КОНЮШНИ

В Сатирах, 1922 раздел переименован в «Литературный цех»; состав претерпел существенные изменения.

«СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ» — Сат. 1909. № 12 («Специальный гоголевский номер»). С. 4. Написано к столетнему юбилею Н. В. Гоголя. Заглавие — слегка измененная цитата из «Мертвых душ», ставшая крылатым выражением. *Третья Дума* — см. с. 401. «*Золотое руно*» — художественно-литературный журнал, выходивший в Москве в 1906—1909 гг. Одно из самых роскошных изданий русского декаданса. ...*служит в Ялте.*— Намек на И. А. Думбадзе (1851—1916), градоначальника Ялты, члена «Союза русского народа», известного своей жестокостью и произволом. *Союзник* — член «Союза русского народа», массовой

организации, возникшей в октябре 1905 г. Основателями ее были А. И. Дубровин и В. М. Пуришкевич. Ключевые моменты программы: поддержка самодержавия, великодержавный шовинизм и антисемитизм. В годы первой русской революции союз взял на себя организацию террористических акций, преследующих антиреволюционные цели. Его идеи и действия находили поддержку в различных социальных кругах населения, однако либерально-демократическая часть общества не скрывала брезгливо-негодующего отношения к этой партии. «Россия» — см. с. 427.

СТИЛИЗОВАННЫЙ ОСЕЛ — Стрекоза. 1908. № 15. С. 6. В заглавии можно усмотреть пародийную аллюзию на стихотворную пьесу Л. Д. Зиновьевой-Аннибал «Певучий осел», опубликованную в «Цветнике Ор. Кошница первая». СПб., 1907. П. Я.— криптоним писателя-народовольца П. Ф. Якубовича (1860—1911). В эпоху модернизма его призывы к гражданственности и идейности поэзии, его борьба за чистоту литературного языка казались старомодно-смешными. Этот момент Саша Черный еще раз обыграл в пародийной хронике «Дикие утки»: «Первый том стихотворений Вячеслава Ивановова наконец переведен на русский язык поэтом Мельшиным (П. Я.). Издание разошлось в пять дней» (Сат. 1909. № 13). Готовя издание Сатир, 1922, Саша Черный решил уйти от конкретики, заменив «П. Я.» обобщенным: «Пусть любой старомодник». *Магнезия* — белый порошок окиси магния, применявшийся в медицине.

ПРОСТЫЕ СЛОВА — Сат. 1910. № 4. С. 3. Подпись: С-а Ч. Написано в связи с 50-летним юбилеем со дня рождения А. П. Чехова — писателя, к которому Саша Черный питал нежно-почтительные чувства. Общность мироощущения обоих писателей была подмечена А. И. Куприным: «Узость, мелочность, скука и подлость обывательщины отражаются у Саши Черного чудесными, сжатыми, незабываемыми штрихами, роднящими его только с Чеховым, совсем независимо от влияния великого художника» (Журнал журналов. 1915. № 7. С. 3). В Сатирах, 1922 заменена 4-я ст.: «С каждым днем нам ближе, чем вчера».

АНАРХИСТ — Свободные мысли. 1908. 12 мая. В Сатирах, 1922 перемещено в раздел «Всем нищим духом». *Териоки* — дачный поселок неподалеку от Петербурга (ныне — Зеленогорск).

НЕДОРАЗУМЕНИЕ — Сат. 1909. № 18. С. 7. ...«О, сумей огнедышащей лаской...» и т. д.— Строки эти могут показаться шаржем, гротеском, утрированной стилизацией. Однако не менее пародийно звучат многие модернистские опусы «греха и разврата» той поры. Вот, к примеру, образчик чувственных откровений Г. Новицкого:

О только ты не верь моим словам...

Я опытна в любви, мои признанья ложь...

Вот... я в огне... прижмись к моим грудям...

Целуй меня вот здесь — где сладострастья дрожь.

ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ — Сат. 1908. № 6. С. 2. *Пильский П. М.* (1876 или 1881—1941) — писатель, фельетонист, критик, писавший в хлесткой манере. Высоко ценил дарование Саши Черного и посвятил его творчеству две статьи 1911

и 1932 г. *Вакс Калошин* — современники без труда угадали в этом трансформированном имени Макса (Максимилиана) Волошина (1877—1932), поэта, художественного и литературного критика. Уже в наше время некоторые исследователи стали связывать эту шутивную переделку имени с дуэлью Волошина и Гумилева, состоявшейся 22 ноября 1909 г. Тогда в газетных сообщениях о «поединке декадентов» писалось о калоше, якобы потерянной на месте дуэли, что дало повод для зубоскальства газетным зоилам. Эта история наложилась на уже запомнившееся, но возникшее годом ранее «Вакс Калошин».

СИРОПЧИК — Сат. 1910. № 9. С. 6. Подпись: Иван Чижик. В журнальной публикации эпиграмма имела персональную направленность, ибо начальная строка выглядела иначе: «Гáлина, сидя на ветке». *Гáлина Г. А.* (1870—1942) — поэтесса, сотрудничавшая в детских журналах «Игрушечка», «Задушевное слово» и др.

ИСКУССТВО В ОПАСНОСТИ — Сат. 1910. № 10. Подпись: С-а Ч-й. *Гордин В. Н.* (1882—после 1926) — беллетрист, произведения которого отличались манерностью, вычурностью, сюжетной ослабленностью. Эпиграмма написана в связи с переизданием в 1910 г. книги рассказов В. Гордина «Звездный путь» (1-е изд.— 1908).

ПЕСНЯ О ПОЛЕ — Свободные мысли. 1908. 19 мая. «*Проклятые вопросы*» — расхожее выражение, употреблявшееся в значении: мучительные, неразрешимые. *Фефела* — см. с. 396. «*Хоровод*» — пьеса австрийского писателя Артура Шницлера (1862—1931), имевшая в России скандальный успех. Его творчеству присущ рафинированный психологизм и пристрастие к интимным сторонам жизни. ...*Научно и приятно, идейно и занятно.*— В 1908 г. начал выходить журнал «Вопросы пола», который ставил своей задачей «путем научных, художественных произведений освещать половой вопрос во всех проявлениях и новых течениях в искусстве и литературе. Являясь изданием совершенно нового типа, журнал «Вопросы пола», равно далекий от порнографии и от узкой мещанской морали, будет уделять широкое место изучению связанных с половым вопросом областей: права, психологии, искусства и этики». К. Чуковский писал по этому поводу: «Русский читатель до того привык к программам и направлениям — к марксистским, к народническим, к ницшеанским,— что порнографию и ту воспринял не как анекдот, не как приятное щекотание, а именно как программу, систему, идеологию, и стал так же «заниматься» ею, как прежде занимался Боклем, Спенсером, Каутским» (Речь. 1908. 11 декабря).

ЕДИНСТВЕННОМУ В СВОЕМ РОДЕ — Сат. 1909. № 9. С. 7. К 75-летию А. С. Суворина, широко отмечавшемуся официальными кругами и правой прессой, появилось немало статей и приветствий. Бурлеск Саши Черного прозвучал как своего рода антиюбилейный отклик. *Суворин А. С.* (1834—1912) — маститый публицист, беллетрист и издатель, в истории отечественной литературы фигура неоднозначная. Обладавший острым умом и высокой культурой, он не случайно оказался эпистолярным собеседником Л. Толстого, Достоевского, Чехова. В то же время являл собой тип предприимчивого дельца, неразборчивого в средствах, умевшего потрафить вкусам мещанской публики. В своей деятель-

ности был поборником государственности и самодержавия. ...*Еврей ли, финн, или грек.* — Парафраз изречения из послания св. апостола Павла к римлянам: «Нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех» (Рим, 10, 12). *«Евно»* — имеется в виду Евно Фишелевич Азеф (1869—1918) — один из лидеров партии эсеров, организатор террористических актов. В 1908 г. широкую огласку получило разоблачение Азефа как провокатора и секретного агента полиции. ...*И орган твой <...> Для верных слуг.* — Речь идет о печатном органе, возглавляемом Сувориным, газете «Новое время». В передовых кругах общества за ней утвердилась репутация верноподданнической и низкопробной. Л. Андреев в письме к Горькому так характеризовал ее: «Есть один несомненный признак, по которому можно узнать продажного писателя: он пишет не для себя, а для хозяина, кто бы им ни был — правительство, публика, толпа. Таков характер всего «Нового времени» и нововременцев; в крайнем случае они меняют только хозяев, но лакейский облик сохраняют всюду» (Лит. наследство. Т. 95. Горький и русская журналистика начала XX века. М., 1988. С. 45). То же уничижительно-брезгливое отношение слышится во «Фразах для членов английского парламента на случай приезда их в Петербург», составленных Сашей Черным: «Какую газету читаете вы?» — «Я не читаю никакой, но мой лакей читает «Новое время» (Новый день. 1909. 14 сентября). ...*По объявлениям о любви.* — Суворинская газета была известна своей «брачной» и «своднической» специализацией. См. подпись под шаржем на А. С. Суворина, помещенном на обложке № 4 журнала «Маски» за 1906 г.: «Издатель органа для свих, свиданий и интимных знакомств — под названием «Новое время»...»

ПО МЫТАРСТВАМ — Сат. 1909. № 38. С. 7. Героем стихотворения является М. О. *Меньшиков* (1859—1919) — публицист, сотрудник «Нового времени». В течение многих лет вел там рубрику «Письма к ближним». «Новоременский Иудушка» был одной из противоречивейших фигур своего времени: его дарование ценили Л. Толстой, Чехов, Лесков, и в то же время это имя стало одиозным — символом «зоологического национализма», антисемитизма. Вот как вспоминал о нем И. И. Кольшко: «В Меньшикове Россия обрела литературного Калиостро — явление почти феноменальное по технике и по дару душевного перевоплощения. Этот чародей всегда был искренен и всегда лгал: всякую ложь он претворял в правду и всякую правду обращал в ложь. <...> Чем убедительнее и талантливее он писал, тем больше злил и оскорблял. Именно осквернения заложенной в нем искры Божьей ему и не могли простить». (Мир и искусство. Париж, 1930. № 1. С. 9). *Асмодей (др.-евр.)* — злой дух, князь демонов. *Азеф* — см. выше.

ПАНУРГОВА МУЗА — Свободные мысли. 1908. 26 мая. Под заглавием: «Современная муза». *Панург* — герой романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», проделки которого отличались скабрзностью и грубостью.

ДВА ТОЛКА — Сат. 1909. № 42. С. 9. В цикле из двух эпиграмм под общим заглавием «Деликатные мысли».

НЕТЕРПЕЛИВОМУ — Сат. 1910. № 2. С. 6. Подпись: С-а Ч-й. В цикле из 5 эпиграмм под общим заглавием «Деликатные мысли».

ПОШЛОСТЬ — Сат. 1910. № 6 (специальный номер «О пошлости»). С. 3. Заставка худ. М. Добужинского. *Барков И. С.* (ок. 1732—1768) — поэт, сочинитель скабрёзных стихотворений и поэм, ходивших в списках и неподцензурных изданиях. *Belle Helene* — Прекрасная Елена, героиня одноименной оперетты Ж. Оффенбаха (по мотивам гомеровской «Илиады»).

«МОЛИЛ ПОЭТА...» — Межа. 1908. 3 ноября. Под заглавием: «Александр Блок, умоляющий братьев-писателей». Эпиграф из статьи А. Блока «Вечера искусств» (Речь. 1908. 27 октября). В ней идет речь о литературно-музыкальных вечерах, на которых царил атмосфера пошлости и вульгарности стиля модерн. Участие в них, по мнению Блока, было недостойно художника и гражданина. Саше Черному эти взгляды были близки, однако он выставил Блока в ироничном свете. Видимо, не мог принять эти увещевания всерьез, ибо числил самого Блока в декадентском стане.

НЕДЕРЖАНИЕ — Сат. 1909. № 40. С. 10. Подпись: С-а Ч-й.

ЧЕСТЬ — Сат. 1910. № 2. С. 6. В цикле из пяти эпиграмм под общим заголовком «Деликатные мысли».

ВЕШАЛКА ДУРАКОВ. I—IV. — Утро. 1908. 20 октября. В цикле «Вешалка дураков»; V. — Сат. 1909. № 23. С. 8. Под заглавием: «Слишком много»; VI. — Сат. 1910. № 2. С. 6. Подпись: С-а Ч-й. В цикле из пяти эпиграмм под общим заголовком «Деликатные мысли».

БАЛЛАДА («Был верен себе до кончины...») — Утро. 1908. 30 июня. Под авторской рубрикой «Литература и критика». *Фульда Л.* (1862—1939) — немецкий поэт и драматург.

«ТРАДИЦИИ» — Сат. 1909. № 50. С. 2. Тема стихотворения возникла из опыта собственных хождений Саши Черного по редакциям, когда он попытался выйти с сатирами за пределы «Сатирикона». Вот, что писал он о своих мытарствах В. П. Кранихфельду: «Все у меня незадача с «Современным миром». <...> Говорил о сатире — нельзя, традиция не позволяет, потом решили, что одно стихотворение не определяет лицо автора, нужен «цикл». Потом решили, что «цикл» — слишком много и не надо вовсе сатиры. С юмором в стихах то же: юмор причислен ко второму сорту поэзии...» (Евстигнеева. С. 183). *Фактор* — коммивояжер. *Марков Н. Е.* (1866—1945) — член 3-й и 4-й Государственных Дум, лидер крайне правых, один из руководителей «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела». В прессе получил известность под именем «Маркова 2-го» (депутаты-однофамильцы нумеровались по возрастному старшинству). Являлся одной из самых колоритно-скандальных фигур русского парламента, излюбленной мишенью для насмешек сатирической печати. См., напр., пародийную хронику Саши Черного «Дикие утки»: «Популярный общественный деятель Марков 2-й, мучимый угрызениями совести, выбросился из четвертого этажа. К счастью для России, несчастный отделался легким испугом. Мостовая пострадала». (Сат. 1909. № 13.)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОДНОГО СТАРОГО РАЗГОВОРА — Альманах «Энергия». Сб. 3. 1914. С. 367—375. *Саврас* — хамоватый молодой человек. Рыжими саврасами здесь названы футуристы. ...*Он клеит сотни альманахов.*— В обзоре литературной жизни за 1907 г. К. Чуковский писал: «Брошюра увяла окончательно, громоздкий толстый журнал изнемог под собственной тяжестью, и на сцену русской литературы вновь, через 70 лет, запыхавшись, выбежал альманах,— случайный наездник, отчасти мародер, без мыслей, без систем, без программ, но с полным горstem беллетристики» (Чуковский К. Собрание сочинений. Т. 6. 1969. С. 368). «*Спальня ветреной графини*» — название стилизовано в духе фривольно-бульварных романов, заполнивших книжный рынок после революции 1905—1907 гг. Ср., напр., рекламные проспекты в журнале «Зеркало» (1911, № 35): «Дневник падшей женщины», «Бабник, или Похождения холостяка», «Обольщенная» (Московская Нана), «В гнезде любви» (очень пикант.), «В вихре наслаждения» (записки массажистки) и т. д. ...*шьет из лейкиных заплат.*— Лейкин Н. А. (1841—1904) — писатель-юморист. Его рассказы и комические сценки пользовались на рубеже веков огромным успехом у читающей публики. *Илот* — раб в Древней Спарте. ...*Чтоб со стены, как вещей знак, не угрожал мне ваш автограф.*— Для сборищ и застолий литературной богемой было облюбовано несколько ресторанов — «Вена», «Капернаум», «Квисисана» и др. Владельцы этих заведений для привлечения клиентов создавали специальный «литературный интерьер», украшая стены портретами, рисунками и автографами своих знаменитых посетителей. *Акциз* — учреждение, ведающее сбором налогов. *Райский крин* — устаревшее поэтическое выражение, обозначающее лилию.

ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ ОДНОГО «ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЩЕСТВА» — Сат. 1909. № 41. С. 6. Под заглавием «После посещения «литературного общества». Две последние строки читались так:

Правда: чаще — языком,
Но бывает — кулаком.

За подписью «С-а Черный» стихотворение напечатано в однодневной газете «День народной печати» (Псков, 1917. 20 июля) под заглавием «Полемика» и с изменениями в тексте — после 6 ст. следует:

Вместо умного отпора
Все с бессилием глупца,
В общей свалке бестолковой,
Подражая папуасам,—
Бьют друг друга по мордасам
При посредстве дара слова?

КОРНЕЙ БЕЛИНСКИЙ — Сат. 1911. № 11. С. 5. С подзаголовком: «Опыт критического шаржа». Саша Черный болезненно переживал любые опечатки, особенно в стихах, и поэтому, видимо, по его настоянию было помещено следующее сообщение: «ОПЕЧАТКА». В предыдущем номере «Сатирикона» в стихотворение Саши Черного «Корней Белинский» вкралась опечатка, искажающая смысл (...). Вместо «исторический» следует читать «истерический».

История сближений и размолвок Саши Черного и Корнея Чуковского изложена последним ярко, живо и достаточно откровенно. Позволю себе дополнить этот рассказ некоторыми уточнениями хронологического характера. Знакомство двух литераторов состоялось, очевидно, в пору первой русской революции, когда Чуковский редактировал сатирический журнал «Сигналы». Свидетельством тому сохранившиеся в архиве К. И. Чуковского автографы двух ранних лирических стихотворений Гликберга, датированных 1905 г. Творческое и дружеское общение было продолжено в 1908—1909 гг. Однако после первого печатного отклика (Чуковский К. Современные Ювеналы // Речь. 1909. 16 августа) — отклика, выдержанного в фельетонной манере, обычной для «критика-карикатуриста», поэт смертельно обиделся. В вышедшей через полгода книге «Сатир» снял посвящение К. И. Чуковскому. Общение их было возобновлено в 1912 г. — на сей раз на ниве служения детской литературе — и продолжалось до 1917 г. Революционный Октябрь вновь развел писателей — уже навсегда. Саша Черный не смог простить своему бывшему сотоварищу активного участия в советской литературе. Однако последняя точка в череде этих неровных взаимоотношений была поставлена Чуковским. Именно по его инициативе и при его деятельном участии стихи Саши Черного были возвращены отечественному читателю. ...«Корявый буйвол», «Окуни без меха», «Семен Юшкевич и охотка дров». — Пародируется экстравагантная стилистика заглавий статей Чуковского. Ср., напр., название одной из статей: «Чужой кошелек и Семен Юшкевич» (Утро. 1908. 11 сентября). Юшкевич С. С. (1868—1927) — драматург и беллетрист, бытописатель еврейской среды. ...пойдет казанский пар. — Казанское мыло — в прошлом лучший сорт простого мыла.

ТРАГЕДИЯ («Рожденный быть кассиром в тихой бане...») — Сатиры, 1922. С. 128. Двойная датировка объясняется тем, что впервые стихотворение опубликовано в 1912 г. в «Современнике» № 12 под заглавием «Обыкновенная история» и с подзаголовком «К вопросу о «кризисе современной литературы»». Журнальный вариант был впоследствии фактически переписан заново. Вот первоначальный текст:

Рожденный быть кассиром в тихой бане
Иль агентом по заготовке шпал,
Семен Пучков, сверх всяких ожиданий,
Игрой судьбы в редакторы попал.

За годом год, угрюмый и понурый,
Сидел Пучков за письменным столом,
То скатывая в трубку корректуры,
То на руку облокотясь челом.

Для строгости придумал он пружину
(Чтоб меньше думать, злиться и потеть):
Всех новых — сокращать наполовину,
Кто пишет год — на четверть и на треть.

С маститыми гораздо было проще, —
Что ни пришлют, — «спасибо!» — и в набор.
Шесть раз в году стихи о летней роще,
Шесть раз в году стихи про зимний бор.

Но все-таки, хоть было все и просто,
Пучков томился, как в стенах тюрьмы,
И двадцать лет — до самого погоста —
Для многих был губительней чумы.

В некрологах среди щедрых восклицаний,
Увы, никто сей драмы не открыл:
Что он — рожденный быть кассиром в бане
Так много лет редактором служил.

Отстаивая свое право быть самим собой, Саша Черный не раз вступал в конфликт с рутинными взглядами редакторов «толстых» журналов. В отношении поэзии и сатиры существовали некие, совершенно непреодолимые табу,— скажем, такие: «С «Современником» пока туго. Вы пишете, чтобы давать больше,— жалуется поэт Горькому,— а они определили сатирическую норму, ни на вершок больше: 2 страницы сатирических стихов в номере. Дорого — мол. Весь мой гонорар в номер не превышает 40 р.,— если будет 50—60, это их разорит... А соображать, когда пишешь, чтобы вышло ровно две страницы, совершенно скучно» (Письма Горькому. С. 26).

CRITICUS — День. 1912. 18 октября. Посвящение: «В альбом критическим урядникам». После третьей строфы следовал другой текст:

«Гав-гав! Мой вкус — закон для всех.
Гав-гав! Мой вкус верней всех вкусов.
Чему я чужд — то смертный грех.
Все — минус, я один из плюсов».

Так часто желчный педагог,
Зажав перо рукою липкой,
Под трафарет ровняет слог,
С колом гоняясь за ошибкой.

Стребет в намордник все мечты,
Польет ремесленно злобой
И к сердцу Новой Красоты
Привесит пломбу с низкой пробой.

А между строк припев один,
Припев, испытанный веками:
«Кто не согласен — тот кретин».
Вот грозный меч над дураками!

Стары вы, criticus, для нас...
Стары и безобидны даже —
И разве детям вы сейчас
Страшнее трубочиста в саже.

Старик! Кто грамотен и резв,
Кто с редким чванством носит шоры,
Заносчив, зол и пресно-резв,—
Тому не лучше ль в прокуроры.

Примерно в то же время поэт высказал в письме к Е. А. Ляцкому свои претензии к «критическому цеху»: «Надо, чтобы была наконец настоящая критика: без заушений, без заигрываний «со своими», без балльной системы и задавания авторами уроков» (Тимофеева. С. 167). Обращает на себя внимание, что критический разнос устойчиво ассоциируется с учительским. Видимо, Саша Черный, которому довелось в жизни немало претерпеть именно от педагогов и критиков, считал, что эти занятия накладывают некую печать человеконенавистничества на личность. *Беклин А. (1827—1901)* — швейцарский живописец, воссоздавший на своих полотнах фантазмагорический мир мифологических существ, лесных и морских чудовищ. Картины его, написанные темперой, отличались яркостью и необычностью красок. Саша Черный мог видеть творения этого модного художника не только в копиях и репродукциях, но, безусловно, и в подлинниках, в музеях Германии.

ЛИТЕРАТОРЫ НА КАПРИ — Сатиры, 1922. С. 130. Саша Черный был совершенно пленен атмосферой дружества и сотворчества, сложившейся в колонии русских писателей и художников на Капри. Один из писателей упомянут поэтом в данной стихотворной зарисовке: «*Алексеич*» — это, по всей видимости, Алексей Алексеевич Золотарев (1878—1950), которому Саша Черный не раз просил кланяться в письмах Горькому.

ИЗ ЗЕЛЕННОЙ ТЕТРАДКИ — Сатиры, 1922. С. 131—133. О происхождении названия цикла можно говорить предположительно. Видимо, у поэта была тетрадь зеленого цвета, куда заносились произведения эпиграмматического жанра и которую он вывез за границу. В 1925—1926 гг. эта авторская рубрика была продолжена циклами эпиграмм политического содержания. *Философов Д. В. (1872—1940)* — литературный критик и публицист религиозно-философского направления. Сборник статей «*Неугасимая лампада*» вышел в 1912 г. — эпиграмма, по-видимому, явилась непосредственным откликом на это событие. *Рославлев А. С. (1883—1920)* — поэт, эпигон символизма, колоритная фигура петербургской богемы. *Феб* — см. с. 416. «*Толстый*» журнал — см. с. 405. *Аксан'Грав* (accente grave) — надстрочный орфографический знак во французском языке. *Ауслендер С. А. (1886—1943)* — писатель-декадент, создавший ряд жеманных стилизаций из галантной жизни Франции XVIII века. «*Аполлон*» — эстетический литературно-художественный журнал, выходивший в Петербурге в 1909—1917 гг., вокруг которого группировались символисты, а затем — акмеисты. *Василиск* — мифическое существо, в котором соединены дракон, змея и птица. От его взгляда погибало все живое. *В альбом Брюсову* — эта неприязненная оценка Брюсова, высказанная в эпиграмме, видимо, не случайна: ср. ее с выводом Ю. Айхенвальда: «Брюсову не чуждо величие преодоленной бездарности» (Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Т. 3. Берлин, 1923). Вообще, современники на редкость единодушно характеризуют Брюсова как человека малоприятного, признавая при этом его версификационное мастерство, обширность познаний, организационные способности (см. воспоминания М. Цветаевой, В. Ходасевича). Впрочем, сам поэт дал повод для подобных толкований своей личности, бросив вызов обществу своей поэтической декларацией:

Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярких певучих стихов,
И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов.

Кузминские литавры — известно, что Ауслендер приходился племянником М. А. Кузмину (о нем см. с. 445).

«ЖЕСТОКИЙ БОГ ЛИТЕРАТУРЫ...» — Сатиры, 1922. С. 134. *Жестокий бог* — выражение из стихотворения Н. А. Некрасова «Уныние». *Сот* — единственное число от слова «соты».

НЕВОЛЬНАЯ ДАНЬ

ПЕСНЯ СОТРУДНИКОВ САТИРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА — Сат. 1908. № 30. С. 5. Количество сатирических изданий после поражения революции 1905—1907 гг. резко пошло на убыль. В неизменном виде сохранились старейшины российской юмористики — журналы «Будильник», «Осколки», «Шут» и «Стрекоза», на страницах которых по-прежнему царили анекдотические персонажи: неизбежная теща, порхающий муженек, ревнивая или сентиментальная супруга, вороватый чиновник... Именно потребность общества в «благородной сатире» заставила М. Г. Корнфельда (1884—1973) преобразовать доставшийся ему по наследству еженедельник «Стрекоза» в «Сатирикон». Он должен был стать журналом воистину нового типа, отличающимся также от сатирических изданий «дней свободы». В мемуарных записках издателя «Сатирикона» говорится, что он в своем журнале стремился воздерживаться от «дешевой и крикливой демагогии и излишней резкости, прельщавшей поначалу неискушенных читателей, заменяя иногда злую карикатуру идиллической сценкой или прибегая к помощи так называемого «эзопова языка» или символической «идеограммы», например, к изображению сановного бюрократа в расшитом золотом мундире, символизирующем верховную власть (Вопросы литературы, 1990. № 2. С. 270). ...«Смеха не надо бояться». — Цитирована первая строка стихотворения Е. Тарасова, которое было популярно в годы первой русской революции.

НЕВОЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ — Новый день. 1909. 5 октября. *Гессен И. В.* (1866—1943) — один из основателей и лидеров партии кадетов. *Милюков П. Н.* (1853—1943) — русский политический деятель, историк, публицист, лидер кадетской партии. Вместе с Гессеном соредатор газеты «Речь» — печатного органа партии кадетов. По слухам, они питали взаимную антипатию, но судьба на много лет связала их вместе и лишь эмиграция развела: Гессена — в Берлин, Милюкова — в Париж, где один редактировал газету «Руль», другой — «Последние новости». *Кадеты* — члены конституционно-демократической партии, возникшей в октябре 1905 г. и выросшей из земского движения. Являясь главной партией российского либерализма, она ставила своей задачей создание правового государства путем последовательного проведения реформ и демократических свобод через парламент. В качестве формы государственного правления взята была за образец английская конституционно-парламентская монархия. *Авель* — в библейской мифологии сын Адама и Евы, «пастырь овец», убитый из зависти старшим

братом Каином. В переносном значении — невинная жертва, символ кротости. ...«*Есть ли у нас конституция, Павел?*» — Нельзя исключить, что эта строчка была подсказана следующей фразой из шуточного «Обозрения», напечатанного в журнале «Зритель» № 7 за 1908 г.: «Было весело. Спорили, есть ли конституция, и в конце концов поверили на слово «дворянину Павлову», что ее нет». Саша Черный не только мог читать этот текст, поскольку печатался в данном номере, но, возможно, сам был автором сатирической хроники, опубликованной анонимно.

БАЛЛАДА («Устав от дела, бюрократ...») — Сат. 1909. № 17. С. 3. *Бюрократ* — здесь аллегорическая фигура, олицетворяющая административный аппарат царской России. Над Думой был поставлен страж старого «порядка» — Государственный совет. *Октябрист* — член «Союза 17 октября», партии, возникшей в ноябре 1905 г. и избравшей своим знаменем «Манифест 17 октября 1905 года». Выражала интересы крупных землевладельцев и буржуазии, которые поддерживали государственную политику и сильную монархическую власть. Октябристы, в отличие от кадетов, были за конституционную, но не парламентскую монархию. В Думе они нередко солидаризировались с правым крылом — *союзниками* (см. с. 406), образуя, таким образом, парламентское большинство. Радикально и оппозиционно настроенная часть русской общественности рассматривала сотрудничество октябристов с государственной бюрократией как конформизм и двоедушие. ...*По думским ста запросам.* — По вопиющим нарушениям закона члены Думы имели право обращаться с запросом в министерство внутренних дел. Правительство могло отсрочивать свои ответы в течение месяца. Главной целью запросов было привлечь внимание общественности к самым жгучим проблемам дня.

ЦЕНЗУРНАЯ САТИРА — Эпоха. 1908. 15 сентября. *Шварц А. Н.* (1848—1915) — министр народного просвещения в 1908—1910 гг. С назначением нового министра связаны были большие надежды, поскольку высшее образование и особенно низшая школа требовали существенных реформ. Однако уже первые шаги Шварца на этом поприще как бы подтвердили зловещий смысл его фамилии («шварц» по-немецки — черный). Отсюда, видимо, пристрастие поэта к этому «герою» сатир.

ЭКСПРОМТ — Сат. 1909. № 20. С. 7. Подпись: С-а Черный. *Тиль-Тиль* — персонаж пьесы Метерлинка «Синяя Птица» (см. с. 401).

ГАРМОНИЯ — Утро. 1908. 25 июня. Подпись: А. Глик. *Болиголов* — многолетнее ядовитое растение. *Буренин* — см. с. 447.

ТАМ ВНУТРИ — Новый день. 1909. 12 октября. В качестве заглавия взято название пьесы М. Метерлинка «Там внутри», которая шла на сцене Художественного театра. Проблема школы, ее мракобесных вершителей и пастырей (см. стихотворение «Цензурная сатира») — предмет особых тревог и внимания Саши Черного — нашла здесь свое раскрытие, освещена как бы изнутри.

ПОБЕДА — Сат. 1909. № 36 («Специальный воздухоплавательный номер»). С. 4. *Феб* — одно из имен древнегреческого бога Аполлона, бога Солнца. *Леонар-*

до да Винчи (1452—1519) — великий художник и ученый эпохи Возрождения, в наследии которого имелись разработки летательного аппарата. ...*От мыса Капа и до Тарифа*.— От южной оконечности Африки, мыса Доброй Надежды, до острова Тарифа — южной оконечности Европы. «*Мышиные жеребчики*» — молодящиеся старики. *Густопсовый* — отвратительный по своим качествам, махровый.

ВОЛК И БАРАН — Сат. 1909. № 50. С. 3. Подпись: перевел Chat Noir. *Буше Виктор* (1879—1942) — французский актер и поэт.

ОКТЯБРИСТЫ — Утро. 1908. 3 ноября. Под заглавием: «Будем справедливы». *Октябрист* — см. с. 416.

МОЛИТВА — Утро. 1908. 14 июля. Под заглавием: «Благодарность Аллаху». После 12 ст. была строфа:

Благодарю тебя, Владыка,
Что я бездетен, как аббат,
И не смотрю в тревоге дикой,
Как мучит Шварц моих ребят.

Реминисценция стихотворения М. Ю. Лермонтова «Молитва» («Не обвиняй меня, Всесильный»).

Третья Дума — см. с. 401. *Шварц* — см. с. 416.

ВСЁ ТО ЖЕ — Новый день. 1909. 7 сентября. *Бестужевские курсы* — высшее учебное заведение для женщин, организованное в Петербурге в 1878 г. ...*Схоласты подняли в Париже*.— К этой строке автор сделал сноску: «Школа Св. Викторa в Париже».

ВЕСЕЛАЯ НАГЛОСТЬ — Сат. 1909. № 9. С. 2. *Съезд дворян* — имеется в виду состоявшийся в начале 1909 г. в Москве съезд «Совета объединенного дворянства» — монархической организации, носившей сословный характер (в отличие от бессословного «Союза русского народа»). На съезде обсуждались вопросы изменения избирательного закона и восстановления старого строя, существовавшего до введения Думы. ...*Даже «Нивы» не читают*.— «Нива» — еженедельный иллюстрированно-художественный журнал (1870—1918), обращавшийся к массовому читателю. В письме к Е. А. Ляцкому Саша Черный дал свою оценку этому журналу: «...ведь что есть «Нива», г. г. Муйжели, Федоровы,— скука, скука и скука» (Тимофеева. С. 167). *Марков 2-й* — см. с. 410. *Облом* — грубый, неуклюжий или невоспитанный человек.

К ЖЕНСКОМУ СЪЕЗДУ — Сат. 1908. № 37. С. 2. Под заглавием: «Женщинам». Первый всероссийский женский съезд, девизом которого было: «равные права — равные обязанности», состоялся 10—16 декабря 1908 г. в Петербурге. В его организации принимала участие жена Саши Черного — М. И. Васильева. *Третья Дума* — см. с. 416.

ЕЩЕ ЭКСПРОМТ — Утро. 1908. 23 июня. Под заглавием: Экспромт. *Шварц* — см. с. 401.

К ПРИЕЗДУ ФРАНЦУЗСКИХ ГОСТЕЙ — Сат. 1910. № 7. С. 2. Первая

встреча лидеров Государственной Думы на межпарламентском уровне состоялась 6 февраля 1910 г. в Петербурге с делегацией французских парламентариев. «Медведь» — см. с. 406. «Гений финансов» — Коковцов В. Н. (1853—1943) — министр финансов в 1904—1914 гг. Миллюков — см. с. 415. Думбадзе — см. с. 406. Черная сотня — см. с. 403.

ПОТОМКИ — Сат. 1908. № 28. С. 7. В Сатирах, 1922 перемещено в раздел «Всем нищим духом». В первой публикации между 4-й и 5-й строфой имелось четверостишие:

Эти сроки для эс-дека —
Исцеляющий бальзам,
Но простого человека
Хлещут ложью по глазам!

Эс-дек — социал-демократ. *Мафусаил* — в библейской мифологии дед Ноя, известный своим долголетием — прожил 969 лет.

ЗЛОБОДНЕВНОСТЬ — Час полуденный. 1908. 18 ноября. *Пуришкевич В. М.* (1870—1920) — политический деятель, лидер правого крыла Думы, монархист. Один из основателей «Союза русского народа», а после его раскола возглавивший «Союз Михаила Архангела». *Гучков* — см. с. 402. *Гулькин Д. П.* (1860—?) — член Думы 3-го созыва, входивший в правую фракцию.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ — Сатиры, 1910. С. 128—129. Выборы в рейхстаг проводились в Германии в начале 1907 г. Саша Черный был, по-видимому, очевидцем описываемых событий. *Клейст Генрих фон* (1777—1811) — немецкий писатель-романтик, обращавшийся к политической и национальной тематике. *Шутцман* — полицейский.

УСПОКОЕНИЕ — Сат. 1910. № 12. С. 2. Подпись: С-а Ч. Заглавие стихотворения навеяно, по всей вероятности, заявлением председателя Совета Министров П. А. Столыпина (1862—1911), которое прозвучало 13 марта 1907 г. в Думе: «Господа, в ваших руках успокоение России, которая, конечно, сумеет отличить кровь на руках палачей от крови на руках добросовестных врачей, применяющих самые чрезвычайные, может быть, меры, с одним только упованием, с одной надеждой, с одной верой — исцелить трудного больного». Идеи Столыпина, заключавшиеся в спасении страны от «великих потрясений» и создании «великой России» путем проведения кардинальных реформ, не нашли поддержку у демократического большинства. Характерно в этом смысле высказывание Мережковского: «Ежели сейчас в России есть фантастическая сказка, отвлеченнейшая утопия, так это мечта о государственной мощи России как «путеводной звезде» для заблудившейся русской интеллигенции. Кажется, лучше пойдет она к черту в лапы, чем в такую Россию, — не примет, подобно Красной Шапочке, волка за бабушку». (Мережковский Д. С. В тихом омуте. Спб., 1908. С. 123). *Бисмарк О.* (1815—1898) — германский государственный деятель, получивший прозвание «железного канцлера» — за негибаемость в проведении своей политики.

ПОСЛАНИЯ

ПОСЛАНИЕ ПЕРВОЕ — Сат. 1908. № 9. С. 2. *Гунгербург* — в конце XIX века московская и петербургская знать облюбовала для отдыха Балтийское побережье близ г. Усть-Нарва, превратив его в модный курорт. Городок образовался путем слияния трех поселков: Гунгербург, Шмецке и Кудрукюла. Нарвское взморье посещали также видные деятели отечественной культуры (см. Кривошеев Е. Нарва-Йыэсуу. Историко-краеведческий очерк. Таллин. 1971). *...Народу школа не дана ль?* — В Думе в 1908 г. дебатировался закон о всеобщем начальном образовании. *Лидваль Э.-Л.* — коммерсант, шведский подданный. Скандальную огласку получило в 1906 г. судебное разбирательство его махинаций, связанных с поставкой зерна в голодающие губернии (см. с. 397). *...А турки? Не в Батуме?* — В прессу периодически проникали слухи о захвате турками Батума, который был присоединен к России в 1878 г. *...правый думский брадобрей скандал устроит новый.* — В Государственной Думе репутацию скандалистов имели прибегавшие нередко к непарламентским выражениям и оскорблениям депутаты Пуришкевич и Марков 2-й (о них см. с. 410 и с. 418). Здесь, по всей видимости, подразумевается последний, ибо во всех шаржах на Маркова 2-го подчеркивалось его внешнее сходство с Петром I (отсюда, возможно, прозвище «брадобрей»). *Шварц* — см. с. 416.

ПОСЛАНИЕ ВТОРОЕ — Сат. 1908. № 11. С. 2. *«Родина»* — иллюстрированный журнал для семейного чтения, выходивший в 1878—1917 гг. *Курзал* — культурно-развлекательное заведение для отдыхающей на курорте публики — с рестораном, бильярдной, читальней, концертным и танцевальным залом. *...в прическах на валиках.* — Модная в начале века укладка волос короной с использованием специальных валиков.

ПОСЛАНИЕ ТРЕТЬЕ — Сат. 1908. № 13. С. 2. В Сатирах, 1922 в текст внесены некоторые изменения. Так, «полицмейстер» заменен на «юрисконсульт», «бюрократ» на «банкир». Кроме того, отброшены последние восемь строк.

ПОСЛАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ — Сат. 1908. № 14. С. 7.

ПОСЛАНИЕ ПЯТОЕ — Сат. 1908. № 19. С. 4. Под заглавием: «Послание шестое». О причинах переименования см. с. 444.

ПОСЛАНИЕ ШЕСТОЕ — Сат. 1908. № 33. С. 7. Под заглавием: «Зимний сон». С эпиграфом из И. С. Тургенева: «Как хороши, как свежи были розы». *Боа* — шарф из перьев. *...Дамский час давно настал.* — Пляжи были раздельные: для мужчин и для дам. Там же, где таковые отсутствовали, устраивались специальные «дамские часы», сигнализировать о которых должен был красный флаг.

КУМЫСНЫЕ ВИРШИ — I — Сат. 1909. № 24. С. 6; II — Сат. 1909. № 26. С. 5; III — Сат. 1909. № 27. С. 7; IV — Сат. 1909. № 28. С. 7. Создание цикла связано с поездкой Саши Черного в Башкирию, «на кумыс». Жил в деревне Чебени, в доме муллы. В Сатирах, 1922 текст последнего (IV) послания переработан. Вместо двух четверостиший, следовавших после ст. 12, была сделана вставка:

Может быть, я сам не нужен —
Ни себе, ни добрым людям...
Может быть, Гафиз беспечный
Всех мудрее и полезней.

Аяксы — два друга-соперника, герои Троянской войны. Выражение «два Аякса» получило распространение благодаря оперетте Оффенбаха «Прекрасная Елена». *Опопонакс* — духи, компонентом которых является растение опопонакс. *Исправник* — начальник полиции в уезде. *Витте* — см. с. 398. *Марков* — см. с. 410.

ПРОВИНЦИЯ

В издании Сатиры, 1922 помимо некоторых перемещений внутри раздела было изъято стихотворение «Жизнь» и добавлено три новых стихотворения.

БУЛЬВАРЫ — Сат. 1908. № 2. С. 2. Под заглавием: Провинция. *Бонтонный* — учтивый, изысканный в обращении. *Акцизник* — чиновник акцизного учреждения (см. с. 411).

НА РЕКЕ — СР. 1910. № 6. С. 6. *Волонтер* — человек, поступивший на военную службу по собственному желанию. Здесь употреблено в шутовском значении применительно к вольноопределяющемуся (см. с. 429). ...«*Закувала та сиза зозуля*» (укр.). — Начальная строка украинской народной песни «Закувала та сиза кукушка».

СВЯЩЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ — Сат. 1908. № 15. С. 3. Подзаголовок: «Из провинциальных картин».

НА СЛАВНОМ ПОСТУ — Сат. 1908. № 35. С. 2. Подзаголовок: «Провинция».

Современникам наверняка был понятен уничижительно-издевательский оттенок, присутствующий в заглавии, ибо в ту пору во всех магазинах лежал основательный том статей под названием «На славном посту», выпущенный к 40-летнему юбилею творческой деятельности Н. К. Михайловского — маститого критика, публициста и столпа народничества. В стихотворении нашел отражение опыт работы поэта в житомирской газете «Волинский вестник» и отчасти, возможно, знакомство с нравами редакционной жизни газеты «Волинь», где изредка печатался его приемный отец К. К. Роше. ...*Не трогай полицмейстера* (<...>) *И даже Клемансо*. — Земляк Саши Черного по Волини, фельетонист Ольд'Ор вспоминал: «В период моей работы в «Волини» газета была дважды оштрафована и один раз закрыта на три месяца. Для маленькой провинциальной газеты это был колоссальный «революционный стаж». В столицах нас за это уважали». (Старый журналист. Литературный путь дореволюционного журналиста. М.— Л.; 1930. С. 25.)

ПРИ ЛАМПЕ — Сат. 1908. № 27. С. 4. С подзаголовком: «Провинция». *Экстерн* — лицо, сдающее экзамен за курс учебного заведения, не обучаясь в нем. Так в старину называли также учащихся, живущих вне училища.

ПРАЗДНИК («Генерал от водки...») — Сат. 1910. № 16 («Пасхальный номер»). С. 7. Под заглавием: «Визиты». Акциз — см. с. 411.

ШКАТУЛКА ПРОВИНЦИАЛЬНОГО КАВАЛЕРИСТА — Сат. 1908. № 37. С. 6. Под заглавием: «Шкатулка провинциального кавалера». После ст. 16 было:

«Дворянин Лука Удищев»,
Граф Кутузов-Голенищев.

В Сатирах, 1922 заглавие претерпело еще одно изменение: «Шкатулка провинциального Cavalero». «*Salol*» в облатках — лекарственное средство, применявшееся при расстройстве желудка. Изготавливалось в виде пилюль в облатках, т. е. в оболочке из желатина или крахмального теста. «*Эсс-буке*» (фр. *ess-bouquet*) — разновидность духов, цветочная эссенция. «*Гонгруаз*» — венгерская помада для усов. «*Варшавские*» *cartes postales* — открытки эротического содержания. «*Лука Удищев*» — слегка измененное название неподцензурных изданий скабрёзного содержания, приписываемых молвой И. С. Баркову. *Голенищев-Кутузов А. А.* (1848—1913) — салонно-аристократический поэт. *Темляк* — петля на рукояти шашки из расшитой ленты с кистью на конце.

НА ГАЛЕРКЕ — Сат. 1908. № 36 («Номер о театре»). С. 7. Подпись: А. Гликберг. У стихотворения имеется прозаический вариант — фельетон «Аида» в «Житомире», написанный под свежим впечатлением о спектакле.

РАННИМ УТРОМ — Сат. 1909. № 33. С. 2. Под заглавием: «Провинция». ...*Рядом памятничек Пушкину.* — Бюст Пушкина был установлен в Житомире в 1899 г. — в столетнюю годовщину со дня рождения поэта. *Приготовишка* — ученик подготовительного класса гимназии. *Гицель* — живодед.

ЖИЗНЬ — Сат. 1910. № 6. С. 3. *Железнодорожные свечи* — особые толстые свечи, применявшиеся для освещения вагонов.

ЛОШАДИ — Сат. 1910. № 6. С. 8. Подпись: С-а Ч. Размер и начальная строка, по всей видимости, заимствованы Сашей Черным из стихотворения Ф. Сологуба «Четыре»:

Четыре офицера
В редакцию пришли.
(Зритель. 1905. № 24.)

Напомню, что Саша Черный дебютировал в № 23 «Зрителя», так что не будет натяжкой предположить, что все, печатавшееся в ту пору в журнале, было наверняка им прочитано.

ИЗ ГИМНАЗИЧЕСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ — Сат. 1910. № 3. С. 3. В губернских городах обычно имелась церковь для гимназий — совместно мужских и женских. Субботние и воскресные богослужения были обязательны для учеников — на них присутствовало гимназическое начальство. *Инспектор* — после директора следующий чин в гимназической иерархии, который отвечал за дисциплину и общий порядок. *Смайльс С.* (1812—1904) — английский писатель-моралист. На примере жизни великих людей он показывал, как путем личных

усилий и добродетели каждый человек может добиться положения и богатства. *Надзиратель* — служащий в гимназии, которому вменялось в обязанность следить за порядком на перемене. *Gala Peter* — шоколад.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ — Сат. 1910. № 8. С. 3. Не сохранилось свидетельств, когда произошло знакомство Саши Черного с И. А. Куприным. Посвящение Куприну может служить точкой отсчета длительной дружеской привязанности двух писателей. Следы ее обнаруживаются во взаимных посвящениях и рецензиях на книги друг друга, в эпистолярном наследии, напр., в приписке, сделанной Сашей Черным в письме К. И. Чуковскому: «Если увидите его (Куприна.— А. И.), поклонитесь от меня. Я его очень люблю — и хорошего и нехорошего,— как могут только любить хронические сатирики и так называемые пессимисты» (Чуковский. С. 380).

«ТРАВА НА МОСТОВОЙ...» — Сат. 1910. № 40 («Специальный провинциальный номер»). С. 7. Под заглавием: «Виньетка». Подпись: С-а Ч-й. «Мозг и душа» — книга философа-психолога Г. И. Челпанова. «Гаданье Соломона» — распространенная в простонародной среде лубочная картинка для гадания судьбы.

⟨ДОПОЛНЕНИЯ ИЗ ИЗДАНИЯ 1922 ГОДА⟩

Основной раздел, представленный исключительно «житомирскими картинками», был впоследствии дополнен несколькими стихотворениями, в которых отражена география перемещений поэта в российской глубинке.

ВИЛЕНСКИЙ РЕБУС — Сатиры, 1922. С. 174. Судя по заглавию, время создания стихотворения предположительно может быть отнесено к пребыванию поэта в Вильно.

НА МУЗЫКАЛЬНОЙ РЕПЕТИЦИИ — Сатиры, 1922. С. 178. Помета под стихотворением позволяет датировать написание 1919—1920 гг., когда Саша Черный жительствовавал в Вильно.

ПСКОВСКАЯ КОЛОТОВКА — Сатиры, 1922. С. 184—185. Время написания можно датировать 1916—1918 гг., когда Саша Черный жил в Пскове. *Колотовка* — злая, сварливая женщина.

ЛИРИЧЕСКИЕ САТИРЫ

В Сатирах, 1922 были произведены некоторые перемещения внутри раздела. Кроме того, изъят «Диспут» и добавлено два стихотворения: «В оранжерее» и «В усадьбе».

ПОД СУРДИНКУ — Сат. 1909. № 44. С. 5. ...*Васильевский остров прекрасен* ⟨...⟩ *отсюда с балконца.* — В адресной книге «Весь Петербург на 1909 год» указано

местожительство поэта: Васильевский остров, 15 линия, д. 72 (адрес значится на имя жены — М. И. Васильевой).

У МОРЯ — Сат. 1909. № 30. С. 2. ...*Голой доктор, толстый и большой.*— Во время летнего отдыха на Нарвском взморье поэт сблизился с семьей доктора А. Григорьева (см. посвящение к стихотворению «Из «Шмецких» воспоминаний»). Видимо, он и послужил прототипом персонажа данного стихотворения.

ЭКЗАМЕН — Сат. 1910. № 20 («Специальный экзаменационный»). С. 7. ...*по всем — двенадцать баллов. А у меня лишь по закону пять.*— В закрытых учебных заведениях была принята 12-балльная шкала оценок, в отличие от общепринятой — 5-балльной. По закону Божьему оценки чаще всего бывали высокие. *Лойола И.* (1491—1556) — основатель ордена иезуитов.

ИЗ ФИНЛЯНДИИ — Сат. 1909. № 3. С. 8. «*Речь*» — см. с. 415. *Иматра* — знаменитый водопад на Вуоксе, место туристических паломничеств. *Табль д'от* — общий стол в пансионатах.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ — Сат. 1910. № 41. С. 2—3. Илл. художника А. Радакова. *Песнь песней* — древнейший памятник литературы, входящий в Библию. Саша Черный создал свое трагестийно-шутливое переложение не затем, чтобы высмеять этот вдохновенный гимн любви. Если говорить о разоблачительной цели, то объект был много ближе: отвлеченный метафоризм эротики модернистов. Излюбленный прием Саши Черного простодушно-лукав и потому убийственно смешон: буквальное следование слову и воссоздание поэтических образов во плоти (см. стихотворение «Недоразумение»). *Соломон* (X в. до н. э.) — царь Израиля и Иудеи, которому приписывается авторство Песни песней, Екклесиаста и других книг мудрых изречений. *Хирам из Тира* — такого персонажа в «Песни песней» нет. По-видимому, он заимствован из повести А. И. Куприна «Суламифь», где упоминается зодчий Хирам из Сидона, сын медника, тезка тирского царя. *Тир* — древнефиникийский город на восточном побережье Средиземного моря.

ДИСПУТ — Стрекоза. 1908. № 21. С. 12. Без заглавия. Любителей сопоставлений отсылаю к стихотворению Г. Гейне «За чаем сидели в салоне...» в переводе Саши Черного (см. с. 296). «Диспут» можно рассматривать как его современную интерпретацию, перепев на русский лад. «*Санин*» — роман М. П. Арцыбашева (1878—1927), снискавший скандальную славу порнографического. Современниками был воспринят как проповедь нравственного нигилизма и одновременно как утверждение свободной личности и сильного мужского начала в образе главного героя — Санина. Увлечение романом, особенно в среде учащейся молодежи, было повальным. Однако оно, как не без ехидства подмечено Сашей Черным в «Деликатных мыслях», носило чаще всего умозрительный характер: «Дадим свободу инстинктам!» — вскричала девица, прочитав «Санина». «Осмелюсь я по этому случаю взять вас за подбородок?» — спросил наивный собеседник. «Но вы с ума сошли!» (Зритель, 1908. № 3).

СКВОЗНОЙ ВЕТЕР — СР. 1910. № 4. С. 15. Помета: Гейдельберг.

ВЕСНА МЕРТВЕЦОВ — Сатиры. 1910. С. 150.

БЕГСТВО — Сат. 1909. № 51 («Специальный московский номер»). С. 2. Это стихотворение о Москве у Саши Черного единственное. Видимо, в ней он бывал наездами, и знакомство с городом носило экскурсионный характер с посещением культурно-исторических достопримечательностей и зрелищ. В том же номере «Сатирикона» напечатано его иронически-шутливое «Руководство для г.г., приезжающих в Москву». Однако в эмиграции пришло прямо противоположное осознание первопрестольной столицы — родного города, как олицетворение прошлой России (см. рассказ «Московский случай»). *Красное крыльцо* — парадный вход в Грановитую палату Кремля (уничтожено в 30-е годы).

ГАРМОНИЯ («Направо в обрыве чернели стволы...») — Сат. 1908. № 8. С. 5. *Ивик* (VI в. до н. э.) — древнегреческий странствующий поэт. По преданию убит разбойниками в дороге. Сюжет получил широкую известность благодаря балладе Ф. Шиллера «Ивиковы журавли» в переводе В. А. Жуковского.

СЕВЕРНАЯ ЛИРИКА — Сат. 1909. № 2. С. 4.

КАРНАВАЛ В ГЕЙДЕЛЬБЕРГЕ — Сат. 1909. № 6 («Масленичный номер»). С. 4. *Гейдельберг* — университетский город в юго-западной Германии. Для учебы имели обыкновение приезжать сюда те, кто в России испытывал трудности при поступлении в высшее учебное заведение из-за национального ценза. Летом в Гейдельберге устраивались специальные празднества, называвшиеся итальянской ночью. Город украшали бумажные разноцветные фонарики, гремели оркестры, по улицам проходило веселое факельное шествие. *Глупый Михель* (нем. Michel) — символ простодушного, честного немецкого обывателя, равнодушного к политике. *Джигга* — матросский танец.

ИЗ «ШМЕЦКИХ» ВОСПОМИНАНИЙ — Сат. 1909. № 49. С. 5. *Шмецке* — см. с. 419. *Григорьев А.* — см. с. 423. ...*У берега моря кофейня.* — Краевед Е. Кривошеев провел изыскания места, упоминаемого в стихотворении: «В Нарва-Йыэсуу в то время было две кофейни — лесная и морская, которые содержал молочник Нымтак. Они славились своими молочными изделиями, кофе, какао, шоколадом. Поэт посещал обе кофейни, но чаще бывал в морской, которая находилась на песчаных дюнах слева от Морского проспекта... Отсюда открывался прекрасный вид на бескрайнее море и пляж, золотым венцом окаймлявший Нарвский залив» (Кривошеев Е. Нарва-Йыэсуу. Таллин. 1971. С. 87).

УЛИЦА В ЮЖНО-ГЕРМАНСКОМ ГОРОДЕ — Сат. 1910. № 4. С. 5. *Маникюр* — устаревшее наименование специалиста по уходу за ногтями. *Жантливость* — кокетливость, жеманство. «*Perkeo*» — старинный ресторан в Гейдельберге (объяснение дано в авторской сноске). Перкео — историческая достопримечательность города, легендарный шут. *Корпорант* — член студенческого объединения в немецких университетах.

ТЕАТР — Сат. 1908. № 36 («Номер о театре»). С. 2. «*Синяя Птица*» — см. с. 401. «*Вечная сказка*» (1905) — пьеса польского писателя-символиста С. Пшибышевского (1868—1927).

В ОРАНЖЕРЕЕ — СМ. 1912. № 4. С. 87. Под заголовком: «Оазис».

САТИРЫ И ЛИРИКА

До революции книга выдержала три издания в издательстве «Шиповник»: 1911, 1913 и 1917 (без указания года издания). На титульном листе имелся подзаголовок: Книга вторая. В 1922 г. в берлинском издательстве «Грани» вышло «Новое дополненное издание», в котором были сохранены все прежние разделы (последний был переименован). Состав каждого раздела претерпел изменения.

БУРЬЯН

В ПРОСТРАНСТВО — КМ. 1911. 31 июля. Заглавие, по всей вероятности, заимствовано из «Почтового ящика» журнала «Сатирикон», где помещались остроумные ответы редакции читателям, приславшим свои сочинения. Корреспондентам, не указавшим обратного адреса, ответ маркировался трафаретно: «В пространство». *Скорбный лист* — лист с историей болезни, который вывешивался на спинке кровати в больницах. В печатных органах так иногда озаглавливалось сообщение о смерти. ...«с безнадежным пессимизмом». — Заключение словосочетания в кавычки заставляет видеть в нем цитату из рецензий на произведения Саши Черного. Точно таких слов в критических откликах обнаружить не удалось, но общий тон некоторых из них близок к этой характеристике. Ср., напр.: *В се безнадежно, в се ненужно, в се равно: эта мысль проходит через длинный ряд стихотворений Саши Черного <...> Не поэтическое бессилие, а пониженная жизнеспособность сквозит в однообразии обличений Саши Черного: не неумение писать, а неумение жить <...> Сатиру Саши Черного губит мелкий, беспочвенный пессимизм <...> обличая нашу сегодняшнюю жизнь, винит во всем мироздание» (Русское богатство. 1910. № 5).*

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — Сат. 1910. № 49. С. 3.

В ПАССАЖЕ — Сат. 1910. № 42. С. 6. *Пассаж* — большой универсальный магазин в центре Петербурга. *Нуга* — кондитерское изделие, сладкая масса с орехами.

ВИД ИЗ ОКНА — Сат. 1910. № 42. С. 6.

КОМНАТНАЯ ВЕСНА — Сат. 1910. № 13. С. 5.

МЕРТВЫЕ МИНУТЫ — КМ. 1911. 1 января. Под заглавием: «В финском пансионе». На рубеже 1910—1911 гг. поэт отдыхал в пансионе финского поселка *Кавантсари* (правильнее — Кавант-Саари) под Выборгом (см. с. 436).

ПЯТЬ МИНУТ — Сат. 1910. № 12. С. 6. С двумя дополнительными строфами. После 16 ст.:

Нагло слопал все варенье,
Яростно зевнул
И естественным движеньем
Тупо палец в нос воткнул.

После 28 ст.:

Ишь, завел свою шарманку,
Божий дурачок...
Встал... и юркую служанку
Ущипнул, смеясь, за бок.

В книге эти строфы изъяты, но добавлены 8-я и 9-я.

ЧЕЛОВЕК В БУМАЖНОМ ВОРОТНИЧКЕ — КМ. 1911. 10 февраля. В названии стихотворения обозначено положение человека на социальной служебной лестнице. Для чиновников IV класса и ниже, согласно табелю о рангах, одной из деталей парадной формы одежды был крахмальный воротничок, который для самых низших должностей заменялся бумажным. *Орясина* — дубина; в переносном значении: высокий, неуклюжий человек. *Кадеты* — см. с. 415. *Эсдеки* — см. с. 417. *Фраже* — изделие из мельхиора или накладного серебра фабрики Иосифа Фраже. *Полендвица* — копченая колбаса из филея. *«На волнах»* — вальс Н. Розаса, популярный на рубеже двух веков.

ДВЕ БАСНИ — Од. нов. 1911. 17 апреля. *Кандид* — герой философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759). *Ферт* — франт, шеголь. *Облатка* — см. с. 421.

СТИЛИСТЫ — Сат. 1910. № 38. С. 7.

КОЛУМБОВО ЯЙЦО — Сат. 1911. № 14. С. 3. С илл. художника Ре-Ми. Этой публикацией завершился почти трехлетний период сотрудничества Саши Черного в «Сатириконе». В письме от 17 апреля 1911 г. он сообщает своему московскому приятелю К. Р. Миллю: «От «Сатирикона» я эмансипировался, стихотворение «Колумбово яйцо» — последнее! Ура и — «Вперед без страха и сомненья!» (Евстигнеева. С. 181). *Колумбово яйцо* — крылатое выражение, употребляемое в значении простого и неожиданного решения, казалось бы, неразрешимой проблемы. Возникло из исторического анекдота, как Колумб оригинально разрешил спор: можно ли поставить яйцо вертикально? Он исполнил требуемое, разбив скорлупу на одном конце. *«Речь»* — см. с. 415.

ЧИТАТЕЛЬ — КМ. 1911. 3 апреля. В Сатирах и лирике, 1922 перемещено в раздел «Литературный цех» и имело незначительные разночтения: ст. 9 — «Говорят, здоровенный талант!»; ст. 12 — «А Шекспир, а Сенека, а Дант?».

В ТИПОГРАФИИ — Сат. 1910. № 41. С. 6. *Метраннаж* — старший наборщик в типографии, верстающий полосы. *Фальцовщица* — работница типографии, сгибающая отпечатанные листы. *Терпентин* — смоляная пахучая жидкость, употребляемая в типографском деле. *Туше* — прикосновение для наложения краски.

ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ АРТЕЛЬ — КМ. 1911. 15 августа. В Сатирах и лирике, 1922 перемещено в раздел «Литературный цех». Саша Черный ушел из «Сатирикона», не дав никаких объяснений. Своего рода ответом можно считать это стихотворение. Да еще высказанный позднее, в «Письме в редакцию» газеты «Речь» от 5 ноября 1911 г., упрек своим бывшим коллегам по веселому цеху в том,

что считает «несовместимым с задачей сатирического журнала то увеселительно-танцклассное направление, которое все определеннее проводят в «Сатириконе» за последнее время и выразителем которого я никогда не был». *Шато-куплетист* — артист, выступающий на летних открытых эстрадах. *Лейкин* — см. с. 411. ...*Штандарт скачет*.— Цитата из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», слова, принадлежащие почтмейстеру Шпекину (д. 1, явл. 2). Штандарт — унтер-офицер со знаменем кавалерийского полка. ...*Павлы полезли в Савлы*.— Ироническая трансформация библейского выражения: «Превращение Савла в Павла». Иудей Савл был ярым гонителем христиан, но после чудесного видения и голоса свыше стал проповедником христианства — апостолом Павлом. *Швальня* — портняжная мастерская. *Дума* — см. с. 401.

БОДРЫЙ СМЕХ — Сат. 1910. № 17. С. 5

ВО ИМЯ ЧЕГО? — Сат. 1910. № 6. С. 2. С тремя дополнительными четверостишиями, следовавшими после 20 ст.:

Во имя чего так ласкают
Союзно-ничтожную падаль?
Во имя чего не желают,
Чтоб все научились читать?

Во имя чего казнокрады
Гурьбою идут в патриоты?
Во имя чего, как шарады,
Приходится правду писать?

Во имя чего ежечасно
Думбадзе плюют на законы?
Во имя чего мы несчастны,
Бессильны, бедны и темны?..

Скиния — по библейским преданиям, походный храм у древних евреев. ...*без белых штанов с позументом*.— В некоторых министерствах в парадную форму одежды высших чиновников (IV разряд и выше) входили брюки из белого сукна. *Позумент* — лента, расшитая золотом. «*Россия*» — официозная газета, учрежденная по негласному распоряжению П. А. Столыпина как «частное» правительственное издание. Распространялась по минимальной подписной цене, частично — с даровой рассылкой для внедрения в массы намерений правительства по вопросам текущей государственной жизни страны. Ради завоевания доверия читательской аудитории истинное лицо газеты скрывалось, хотя, как писал С. Ю. Витте, «вся Россия отлично знает, что газета «Россия» есть правительственный орган, содержащийся за счет правительства, секретных фондов...» (В и т т е С. Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. III. С. 317). *Союзно-ничтожная падаль* — «Союз русского народа».

УТЕШЕНИЕ — Сатиры и лирика, 1911. С. 38—39. *Дума* — см. с. 401.

БИРЮЛЬКИ — Сат. 1910. № 15. С. 2. ...*На Шаляпина билеты достают*

одни счастливы.— Ажиотаж вокруг спектаклей с участием Шаляпина стал своего рода мерилом зрительской популярности. Вот мемуарное свидетельство современника, решившего пойти на «Вечер памяти Владимира Соловьева» под председательством Д. С. Мережковского: «Билет достать было легко — это тебе не спектакль «Олоферн» — Шаляпин!» (Милашевский В. А. Вчера, позавчера... Воспоминания художника. М., 1989. С. 84). Тенишевский зал — концертный зал Тенишевского училища в Петербурге (Моховая ул., 33), где часто проводились лекции и собрания.

УЕЗДНЫЙ ГОРОД БОЛХОВ — Сатиры и лирика, 1911. С. 43—44. В берлинском издании стихотворение перенесено в другую книгу: Сатиры, 1922 (раздел «Провинция»). Болхов — уездный город Орловской губернии. Поэт побывал в нем летом 1911 г., когда отдыхал неподалеку — в деревне Кривцово. Приезжал он, по-видимому, для встречи с местным поэтом Евг. Соколом, с которым вел переписку по поводу переводов Г. Гейне. *Одер* — изможденная лошадь, кляча. *Машина в тракторе* — механизированный орган (фисгармония), который обычно заводился в тракторах для развлечения посетителей. *Чуйка* — см. с. 404. *Стражник* — рядовой конной полиции в уезде. Набирались обычно из местных жителей, отслуживших военную службу в кавалерии. *Бомондное* — великосветское, благородное (от фр. beau monde — высший свет). «Карнавал в Венеции», «Любовник под диваном» — названия фильмов скорее всего стилизованно-пародийные.

В ДЕРЕВНЕ — Сат. 1910. № 18. С. 2. Без заглавия, с обозначением сквозного авторского цикла: «Из деревни». То же относится к двум следующим стихотворениям. В Сатирах и лирике, 1922 под стихотворением поставлено: 1912 — помета явно ошибочная. Апрель 1910 поэт провел в деревне *Заозерье* Псковской губернии, расположенной на берегу озера Широкое. *Крупник* — похлебка из крупы. *Анемоны* — см. с. 430. *Сытинские сборники* — дешевые издания для массового читателя, выпускавшиеся книгоиздателем И. Д. Сытиным.

СЕВЕРНЫЕ СУМЕРКИ — Сат. 1910. № 19. С. 5. Без заглавия.

ПИЦА — Сат. 1910. № 21. С. 6. Без заглавия. Эпиграф — строка из стихотворения А. В. Кольцова «Песня пахаря». *Струве П. Б.* (1870—1944) — русский экономист, философ, публицист и общественный деятель. В своих трудах много писал о вращении русского крестьянства в капитализм с последующей эволюцией к социализму. ...*Пой, птичка, пой!* — Парафраз из итальянской песни «Ласточка» («Пой, ласточка, пой!»).

КОНСЕРВАТИЗМ — Од. нов. 1911. 16 октября. В Сатирах и лирике, 1922 под стихотворением проставлено: 1913 — помета явно ошибочная. Серия деревенских зарисовок создана по впечатлениям летнего отдыха в деревне *Кривцово* Орловской губернии в 1911 г.

СООБЩА — Сатиры и лирика, 1911. С. 38—39. *Заказной луг* — общественное пастбище, на котором по уговору запрещался выпас или косьба до определенного срока.

ПРЯНИК — КМ. 1911. 16 октября.

ПЕСНЯ — КМ. 1911. 21 июля. «Золото Рейна» — одна из частей музыкальной тетралогии Р. Вагнера «Кольцо Нибелунгов».

В КАРЦЕРЕ — Сат. 1911. № 5. С. 2. Стихотворение носит автобиографический характер, повествуя о прохождении воинской службы А. Гликбергом в 1900—1902 гг. Писатель Б. Лазаревский беседовал на эту тему с Сашей Черным:

— Да, обучал солдат грамоте. И это занятие мне очень нравилось. Солдаты меня очень любили, и офицеры все относились чудесно. Был один, который меня преследовал, но и тот после успокоился. Ведь я два года нес лямку нижнего чина, хотя и вольноопределяющимся, но без права производства не только в офицеры, но и в унтер-офицеры» (Россия и славянство. Париж. 1932. 13 августа). *Вольноопределяющийся* — так в России именовался призывник, имеющий достаточный образовательный ценз, который шел на военную службу добровольно. Относился к рядовому составу, но имел по сравнению с простыми солдатами некоторые льготы (напр., срок службы 1—2 года, вместо 3—5 лет). *Бурлюк* — совпадение фамилий персонажа стихотворения и «отца русского футуризма», по всей вероятности, не было случайным. В 1910 г. в Петербурге много шума вызвала художественная выставка «Треугольник», где, в частности, демонстрировались авангардистские работы братьев В. и Д. Бурлюков, по поводу которых появились эпиграммы П. Потемкина (Сат. 1910, № 15. С. 5). *Опойка* — выделанная телячья кожа.

НОВАЯ ИГРА — Сат. 1910. № 45. С. 4. Речь идет о начинании, которое было поддержано министерством народного просвещения: в гимназиях начали внедрять военное обучение путем создания из учеников «потешных» подразделений.

ПРАЗДНИК («Гиацинты ярки, гиацинты пряны...») — Беспл. прил. к № 106 газеты «Речь». 1910. 18 апреля. С. 14. То же: Беспл. прил. к № 822 газеты «Современное слово». 1910. 18 апреля. С. 14. В Сатирах и лирике, 1922 добавлена помета: Петербург. ...*Гиацинты ярки, гиацинты пряны.* — Пасхальный стол было принято украшать цветами — чаще всего это были гиацинты, выращиваемые специально к этому дню в теплицах или привозимые из-за границы. *Буквы X и B* — литеры пасхального приветствия: «Христос воскрес».

РУССКОЕ — Сат. 1911. № 7. С. 3. В эпитафии слова, приписываемые летописными свидетельствами великому князю Владимиру. Выражение употребляется обычно в ироническом смысле для оправдания алкогольных возлияний. *Апаш* — деклассированный элемент.

В ДЕТСКОЙ — Сат. 1908. № 7. С. 4. Под заглавием: «Разговор». Начало стихотворения было иным (сокращено в книге до одной ст.):

Недавно я случайно услышал,

Как мальчуган другому объяснял:

— Ты знаешь! Я прочел, не помню где...

Фалес (ок. 625 — ок. 547 до н. э.) — древнегреческий мыслитель, основатель милетской школы, которая считала первоосновой всего сущего воду.

БОРЬБА — Сатиры и лирика, 1911. С. 65. ...*Чем хуже, тем лучше.*— Французская пословица: *pire ça va, mieux ça est.*

АНЕМОНЫ — Сатиры и лирика, 1911. С. 66. *Анемон* — раннецветущий эфемер, называемый в народе подснежником.

БЕССМЕННЫЙ — Сат. 1910. № 47. С. 12. Подпись: С-а Ч. Полосная илл. художника С. Шарлеманя. *Пандора* (др.-гр. миф.) — первая женщина, в создании которой принимали участие все боги. Подстрекаемая любопытством, она приподняла крышку ларца, подаренного ей Зевсом, и оттуда вылетели все беды.

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ — Сат. 1910. № 48. С. 3. *Передник кожаный* — по преданию, Бог, прежде чем изгнать из рая Адама и Еву, дал им кожаные одежды (Быт. 9. 16—24).

НАСТРОЕНИЕ — КМ. 1910. 21 октября. Эпиграф из стихотворения «*Landstreichers lobgesang*» немецкого поэта Рихарда Демеля (1863—1920). *Чресла* — бедра.

НА РАССТОЯНИИ — Сат. 1910. № 37. С. 2. С подзаголовком: Из альбома резонера. *Santa Margherita* — курорт в Италии на берегу Генуэзского залива, куда поэт приезжал летом 1910 г.

БОЛЬНОМУ — Сат. 1910. № 22. С. 3. С незначительными разночтениями. В Сатирах и лирике, 1922 снята последняя строфа. Эта своего рода декларация поэта имеет свою историю бытования. Многими современниками в эпоху повальных самоубийств она была воспринята как панацея от гибели тех, кто готов был наложить на себя руки. Ее посылали с настоятельной просьбой прочесть и образумиться. *Голландская сажа* — краска, употребляемая в живописи. *Дренаж* — в медицине трубка, применяемая для оттока гноя и межтканевой жидкости.

ПРИЗНАНИЕ — Сат. 1910. № 25. С. 8. *Греческий огонь* — зажигательная смесь, пламя которой не гасилось водой. Использовался в Древней Греции при осаде крепостей.

⟨ДОПОЛНЕНИЯ ИЗ ИЗДАНИЯ 1922 ГОДА⟩

ВИЗИТ — Сатиры и лирика, 1922. С. 40. *Гнедич П. П.* (1855—1927) — беллетрист и драматург, печатавшийся в «Ниве» (см. с. 417).

РОЖДЕНИЕ ФУТУРИЗМА — КМ. 1912. 3 мая. Без названия, в цикле с общим заглавием: «Эпиграммы». *Салон «Ослиной Кожы»* — по всей видимости, подразумевается группировка молодых художников «Ослиный хвост», организованная в начале 1912 г. М. Ф. Ларионовым. Название последней связано с известным скандальным эпизодом парижской художественной жизни 1910 г., когда противники нового искусства пытались выдать полотно, испачканное хвостом осла, за произведение «левой» живописи.

«КНИЖНЫЙ КЛОП, ДАВЯСЬ ОТ ЗЛОБЫ...» — Сатиры и лирика, 1922. С. 49. Эпиграф из книги «Афоризмов» немецкого философа и писателя-сатирика Г.-К. Лихтенберга (1742—1799). *Моветон* — плохой тон.

ТРАГЕДИЯ («Я пришел к художнику Миноге...») — Сатиры и лирика, 1922. С. 50—51. ...*Футуризм стал ясен всем прохожим.*— Сменяющие друг друга направления в искусстве стали приметой эпохи, широко обсуждались в прессе и обществе. Саша Черный расценивал подобный интерес скептически — как профанацию, как очередную злобу дня: «У нас зима — темно и холодно. Утром «Современное слово», вечером «Биржевка», посредине — пустое место. Приходят разные господа и говорят о футуристах — так же горячо, как месяц назад говорили о Бейлисе» (Письма Горькому. С. 28). *Микрокефал* — человек с непропорционально маленькой головой.

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕТРАРКА — Сатиры и лирика, 1922. С. 52—53. Это чуть ли не единственное стихотворение в любовной лирике поэта, адресата которого удалось установить. Предметом его увлечения была *Елена Константиновна Борман*, с которой Саша Черный познакомился в Усть-Нарве. Ее отец был крупным дачевладельцем в Гунгербурге и служащим страховой компании «Россия» в Петербурге. Отношения их едва ли можно назвать романом в полном смысле: было ухаживание, прогулки с дамой сердца по морскому побережью, посещение кабаре «Бродячая Собака»... Елена, по воспоминаниям ее младшей сестры Ирины, была натурой своенравной, поражающей экстравагантными поступками. Так, однажды она завела себе... рысь и выводила ее на уличную прогулку. Именно эта необычная реалья, попавшая в стихотворение («забелеет в рысьем мехе у упругих ваших ног»), позволяет предположить, что обращено оно к Е. К. Борман. Послание это, хоть и облеченное в шутовскую форму и защищенное броней самоиронии, поэт не решился сразу обнародовать — оно было опубликовано уже по прошествии лет, в эмиграции.

«БЕЗГЛАЗЫЕ ГЛАЗА НАДМЕННЫХ ДУРАКОВ...» — газета «Воля России». Прага. 1921. 13 марта. Под заглавием: «В пространство».

«ПРЕД КАЖДЫМ ДУРАКОМ ДУША ПЫЛАЕТ ГНЕВОМ...» — Сатиры и лирика, 1922. С. 60. Тема стихотворения — засилье глупости и пошлости, невозможность вырваться из обывательского окружения — переключается с эпистолярными признаниями поэта, ср.: «...я не с ними, но среди них, они же отчасти и натурщики,— куда уйдешь» (Письма Горькому. С. 24).

ГОРЬКИЙ МЕД

В Сатирах и лирике, 1922 раздел подвергся незначительным изменениям. Изъято стихотворение «Хлеб» и добавлено — «Факт» (ранее входившее в раздел «У немцев»).

«ЛЮБОВЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ...» — Сатиры и лирика, 1911. С. 81.

АМУР И ПСИХЕЯ — Сат. 1910. № 39. С. 6. Одним из излюбленных приемов Саши Черного было травестийное переосмысливание классического сюжета применительно к современным обстоятельствам. В данном случае это миф о любви Амура и его возлюбленной Психеи, которым долго не удавалось увидеться и соединиться. Включен Апулеем в сюжетную канву романа «Золотой осел».

СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ — Сатиры и лирика, 1911. С. 86—88. В стихотворении воскрешена обстановка казенного присутствия, в котором А. Гликберг начинал свою канцелярскую службу в 1904 г. В эмиграции, в рассказе «Московский случай» он вновь возвращается к этой теме. Ср. совпадение некоторых сюжетных линий: «На Службе Сборов ошибку в накладной поможешь соседке найти, сейчас же она к тебе, как раковина к кораблю, приклеится, внизу в буфете в кандидаты тебя произведут и на законный союз во всех этажах намекают». *Народный Дом* — общественное учреждение, имевшее просветительные и развлекательные функции. Получили распространение в России на рубеже XIX—XX вв.

НАКОНЕЦ! — Сатиры и лирика, 1911. С. 89—91.

ХЛЕБ — Сат. 1910. № 43. С. 6. Под заглавием: «У Нарвских ворот». После 4 ст. было четверостишие:

Она с усами
И в рваном лифе,
А он с «власами»
И словно в тифе.

ОШИБКА — Од. нов. 1910. 18 апреля. Под заглавием: «Непоправимое». С посвящением А. И. Куприну.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ — Сат. 1910. № 46. С. 2. Из всех стихотворений поэта этому, как никакому другому, повезло в музыкальном отношении. Вначале оно было положено на музыку А. Н. Вертинским, в 30-е годы — В. А. Козиным, а в наше время французским композитором Ги Беаром (в переводе на фр. Э. Триоле). Любил исполнять его в домашней обстановке Ф. И. Шаляпин (Лит. наследство. Т. 95. М., 1988. С. 474).

«ДУРАК» — Сатиры и лирика, 1911. С. 99—100.

ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА — Сат. 1910. № 40 («Специальный провинциальный номер»). С. 4. Повесть об Ароне Фарфурнике едва ли не единственная в творчестве поэта, где он предстает истинным одесситом, знатоком того знаменитого «одесского языка», над которым потешалась вся страна («Вместо того, чтобы с мне смеяться, вы бы лучше указали для мне выход»). Этот своеобразный выговор, в котором есть что-то от непосредственности ребенка, коверкающего слова по своему разумению, был предметом гордости жителей приморского города. Но Саша Черный не стал разрабатывать эту столь выигрышную для юмориста золотую жилу. Причина? Быть может, ему хотелось забыть все, что

напоминало о его многострадальном детстве. Но, возможно, были причины и более общего порядка — те, что высказаны дочерью К. И. Чуковского: «Проведя отрочество и юность в Одессе, Корней Иванович возненавидел тамошнюю южную смесь; все от словаря до синтаксиса и произношения представлялось ему не только неправильным, но и пропитанным пошлостью <...>. Для меня до сих пор остается загадкой, как за три-четыре года сам он <...> вытравил из своей речи — раз и навсегда — все одесское и овладел богатым, сильным, безупречным московско-петербургским русским языком» (Чуковская Л. К. Память детства. М., 1989. С. 71). В журнальной публикации ст. 55—58 имели другую редакцию:

Ждать ли, ждать диплома три года?
Роза цветет — Эпштейн не бревно.
Любовь не картошка и — рвется природа
Радостно, буйно и смело в окно!..

Капцан — нищий (примеч. принадлежит Саше Черному).

В БАШКИРСКОЙ ДЕРЕВНЕ — СМ. 1910. № 12. С. 118. Подпись: Глиберг-Саша Черный. Тематически примыкает к «Кумысным виршам».

ПРЕКРАСНЫЙ ИОСИФ — Альманах «Шиповник». Кн. 13. 1910. С. 125—127. Помета: Петербург. Май. *Прекрасный Иосиф* — крылатое выражение, имеющее значение: целомудренный юноша; употреблено в заглавии в ироническом смысле. Возникло оно из библейского мифа о юном Иосифе, которого тщетно пыталась соблазнить жена египетского царедворца Потифара (Бытие, 39, 7—20).

ГОРОДСКОЙ РОМАНС — Сат. 1910. № 44. С. 3. Под заглавием: «Вечером». В цикле из двух стихотворений под общим заголовком «Городские романсы».

В АЛЕКСАНДРОВСКОМ САДУ — Сатиры и лирика, 1911. С. 114. *Александровский сад* — см. с. 406.

НА НЕВСКОМ НОЧЬЮ — Сатиры и лирика, 1911. С. 115.

У НЕМЦЕВ

В Сатирах и лирике, 1922 состав существенно пересмотрен. Изъяты: «В ожидании ночного поезда», «Еще факт», «В Берлине», «Бавария», «На Рейне», а также перемещено в другой раздел стихотворение «Факт». Раздел пополнен семью стихотворениями: три из них напечатаны впервые, а остальные входили в раздел «Иные струны» («Остров», «Предместье», «Идиллия», «Узкий палисадник...»).

KINDERBALSAM — Сат. 1910. № 28. С. 5. Сквозная авторская рубрика: «Из Германии» (то же относится к 4 следующим стихотворениям. Помета: Гейдельберг (см. с. 424). *Kinderbalsam* — слабая сладкая настойка, лекарство для детей. «Голубой Крест» — антиалкогольное общество в Германии. *Вильгельм* — см. с. 402.

НЕМЕЦКИЙ ЛЕС — Сат. 1910. № 29. С. 2. Помета: Оденвальд. *Оденвальд* — горный массив в юго-западной Германии.

КАК ФРАНЦЫ ГУЛЯЮТ — Сат. 1910. № 33. С. 2. В Сатирах и лирике, 1922 заглавие изменено: *Ins Grüne* (в переводе означает «на природу» или «в зелень»). *Ферейн* — общество, кружок.

В НЕМЕЦКОЙ МЕККЕ — I и II. — Сат. 1910. № 31. С. 3; III — Сат. 1910. № 32. С. 3. Помета: Веймар. *Веймар* — город, где жили, творили и были похоронены Гете и Шиллер, место паломничества почитателей их таланта и туристов. *Пьеро* — персонаж народного итальянского театра. *Тарквиний* (537—510 г. до н. э.) — последний правитель Древнего Рима. «*Больше света!*» — предположительно, предсмертные слова Гете.

В ОЖИДАНИИ НОЧНОГО ПОЕЗДА — Сат. 1910. № 30. С. 7. *Кронпринц* — наследник престола в немецких монархических государствах.

С ПРИЯТЕЛЕМ — Сат. 1910. № 35. С. 3. Помета: Гейдельберг.

РЫНОК — СР. 1910. № 7. С. 3.

ФИЛОСОФЫ — КМ. 1911. 14 октября. Подзаголовок: Из цикла «У немцев». *Виндельбанд В.* (1848—1915) — немецкий философ.

КОРПОРАНТЫ — Сат. 1911. № 4. С. 9. Под заглавием: Немецкие корпоранты. Подзаголовок: «Посвящается г. г. академистам». *Корпорант* — см. с. 424. *Кронпринц* — см. выше. *Бурш* — студент в Германии, принадлежащий к одной из студенческих корпораций.

ДАМОКЛОВ МЕЧ — КМ. 1911. 11 февраля. *Рудой* — красный. *Габерсун* — овсяный суп.

ФАКТ — КМ. 1911. 3 августа. Подзаголовок: Из цикла «У немцев».

ЕЩЕ ФАКТ — Сатиры и лирика, 1911. С. 145. *Вильгельм* — см. с. 402.

В БЕРЛИНЕ — I — КМ. 1911. 22 мая; II — КМ. 1911. 15 марта.

«БАВАРИЯ» — КМ. 1911. 11 октября. Речь идет о бронзовой женской фигуре, олицетворяющей Баварию в образе древнегерманской богини. Гигантская фигура, высотой более 20 метров, с огромной кружкой пива в руке была воздвигнута в Мюнхене в 1850 г. по проекту Л. Шванталлера. *Валькирия* — дева-воительница в скандинавской и германской мифологии.

НА РЕЙНЕ — Сат. 1911. № 10. С. 4. *Рейнвейн* — вино, изготавливаемое из винограда, возвращенного на берегах Рейна. *Лорелея* — в немецких народных легендах дева-обольстительница, своим пением приманивавшая и губившая рыбаков.

КЕЛЬНЕРША — Спохохи. Берлин. 1922. № 3. С. 2.

В ПУТИ («Словно звон бессонной цитры...») — Русский эмигрант. Берлин. 1920. № 2. С. 1. Помета: 1920. *Цитра* — музыкальный инструмент наподобие гитары. *Илия* — библейский пророк, который явился во дворец царя Ахевы в грубом плаще из верблюжьего волоса, с посохом в руке, чтобы возвестить о трехлетнем голоде, который постигнет страну за нечестивость.

«В ПОЛДЕНЬ ТЕНЬЮ И МИРОМ ПОЛНЫ ПЕРЕУЛКИ...» — Сатиры и лирика, 1922. С. 135—136. *Корпорант* — см. с. 424. *Валькирия* — см. с. 434. *Неккар* — река в Гейдельберге.

ИНЫЕ СТРУНЫ

В Сатирах и лирике, 1922 раздел получил новое наименование: ХМЕЛЬ. Был существенно пересмотрен состав раздела: изъято 17 стихотворений и 5 перемещено в другие разделы двухтомника. Одновременно пополнен 20 новыми стихотворениями.

ПРИЗРАКИ — Золотое руно. 1907. № 1. С. 29. Под заглавием: «Предчувствие». Подпись: А. Гликберг. Стихотворение было послано под девизом «Агли» на конкурс «Золотого руна», проводившегося на тему «Дьявол». Отмечено жюри и признано достойным быть напечатанным, без премии. В первой публикации имелось двустышие, следовавшее после 9 ст., которое впоследствии было изъято:

То вошел проклятый Ужас, он пришел меня терзать,
Он уродливым кошмаром сел незванный на кровать.

«ЗАМИРАЮ У ОКНА...» — СМ. 1910. № 12. С. 59. Под заглавием: «Томление». Помета: Гейдельберг. *Гейдельберг* — см. с. 424.

УТРОМ — Сат. 1910. № 44. С. 3. В цикле из двух стихотворений под общим заголовком: «Городские романсы».

ЛУНАТИК — Сат. 1910. № 47. С. 2.

НА КЛАДБИЩЕ — СМ. 1910. № 5. С. 181. Подпись: Гликберг.

ТУЧКОВ МОСТ — Сат. 1910. № 4. С. 4. Подпись: Гликберг. В Сатирах и лирике, 1922 перенесено в раздел «Бурьян». *Тучков мост* — мост через Малую Неву.

У КАНАЛА НОЧЬЮ — Сат. 1910. № 4. С. 4. Подпись: Гликберг. Полосная илл. художника Е. Лансере.

«У МОЕЙ ЗЕЛеной ЕЛКИ...» — Сат. 1909. № 52. С. 2. Под заглавием: «Моя елка».

У БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. Цикл I — V — «Огни». Лит. альманах памяти В. Башкина. 1910. С. 17—20. С подзаголовком: Этюды. В состав цикла входило еще два стихотворения.

* * *

Вздыхает море протяжно и глухо;
И сердце пусто, и воля спит,
И зло и чуждо внимает ухо,
Как берег стонет, как ночь молчит.
А там над морем соблазном уюта
Огни ночные горят в домах...
Скорее к людям, в тепло приюта! —
Торопит холод и гонит страх.
Дрожит улыбка, предтеча рыданий,
И шепчут губы: к кому, к кому?
Но темен берег былых желаний
И волны скорби бегут к нему.

* * *

Ночь. Луна ушла за тучи.
Люди спят и берег пуст.
Это ветра ропот жгучий,
Иль моих дрожащих уст?
Это волн шальные крики,
Или страх моей души?
Пуст и темен берег дикий —
Не волнуйся, не дыши...
Вон ряды купальных будок
Смотрят в море и молчат.
Покори больной рассудок:
Чайки стонут — люди спят.
Это ветер хлопнул дверью.
В будке тихо и тепло.
Здесь ночному суеверью
Сердце сдаться б не могло.
Вспоминай, закрывши дверцу,
Тихий голос старой лжи.
И к испуганному сердцу
Крепко руку приложи.

СНЕГИРИ — Сатиры и лирика, 1911. С. 174. *Кавантсари* — см. с. 425.

НА ЛЫЖАХ — Сат. 1911. № 2. С. 4. Помета: Кавантсари. В Сатирах и лирике, 1922 подвергнуто сокращению. Исключены ст. 31—46. *Мыза* — отдель-

но стоящая усадьба в Финляндии. ... *Исакий каждый год опускается все ниже.*— Имеются в виду слухи об осадке Исаакиевского собора в Петербурге.

НИРВАНА — Сат. 1911. № 8. С. 5. Помета: Кавантсари. *Нирвана* — блаженное состояние покоя, отрешение от всех житейских забот. *Василиск* — см. с. 414. *Кавантсари* — см. с. 425.

ИЗ ФЛОРЕНЦИИ — Сат. 1910. № 38. С. 3. Подпись: С-а Ч-й. Написано под впечатлением путешествия по Италии летом 1910 г.

«В ЧУЖОЙ ТОЛПЕ...» — Од. нов. 1911. 8 мая. Под заглавием: «Пищеварение». В Сатирах и лирике, 1922 появилась помета: *Santa Margherita*. 1912. Дата публикации свидетельствует, что автора в данном случае подвела память. В курортном местечке *Santa Margherita* поэт отдыхал летом 1910 г. (см. с. 430).

УГОЛОК — Сат. 1910. № 36. С. 2. С посвящением В. В. Соболевой. С более полным текстом — после ст. 12 следовало:

Рой обросших скелетов...
Не нашел бы Джульетты
Современный Ромео меж ними!
Да Ромео и сами —
Как болонки с усами —
Как дантисты в фельдфебельском гриме.

Соболева В. В. — см. с. 405. *Santa Margherita* — см. с. 430.

ЖАРА — КМ. 1911. 16 января. Под заглавием: «Из солнечных воспоминаний». Написано по воспоминаниям о посещении Италии летом 1910 г.

Виктор Эммануил II (1820—1878) — король Сардинии и первый король объединенной Италии. *Полента* — итальянское блюдо, каша из маисовой муки.

«СОЛНЦЕ ЖАРИТ, МОЛ БЕЗЛЮДЕН...» — Од. нов. 1911. 15 мая. В Сатирах и лирике, 1922 с пометой: Ялта.

В МОРЕ — СМ. 1911. № 5. С. 168.

«ЕСЛИ ЛЕТОМ ПО БОРУ КРУЖИТЬ...» — Сатиры и лирика, 1911. С. 189.

ИДИЛЛИЯ — Альманах «Вершины». Сб. 1. 1909. С. 158. Подпись: Гликберг. *Циклист* — велосипедист. *Шварцвальд* — горный массив в юго-западной Германии.

ОСЕНЬ В ГОРАХ — СМ. 1909. № 4. С. 74. Подпись: Гликберг. *Беклин* — см. с. 414.

В ПУТИ («Яркий цвет лесной гвоздики...») — СМ. 1909. № 7. С. 112. Без заглавия. Подпись: Гликберг. Первая строка выглядела иначе: «Аромат лесной гвоздики...».

ОСТРОВ — КМ. 1911. 10 апреля. В Сатирах и лирике, 1922 включено в раздел «У немцев» с пометой: Оденвальд. *Лампа-молния* — см. с. 406.

ПРЕДМЕСТЬЕ — КМ. 1910. 27 ноября.

В Сатирах и лирике, 1922 включено в раздел «У немцев». *Гейдельберг* — см. с. 424.

ДЕКОРАЦИЯ — Сатиры и лирика, 1911. С. 200—201.

«ГРОХОЧЕТ ВОДА О ПОРОГИ...» — Альманах «Вершины». Сб. 1. 1909. С. 157. Под заглавием: «Теплая ночь».

НА ЗАМКОВОЙ ТЕРРАСЕ — Сатиры и лирика, 1911. С. 203. В Сатирах и лирике, 1922 последняя строка изменена:

Невидимых цветов тяжелый, пряный яд.
И взрывы хохота, и беспокойность мая,
И фонари средь буковых аркад —
Но Евы нет — и мрачны кущи Рая...

«МЕСЯЦ ВЫБЕЛИЛ ПОЛ...» — КМ. 1911. 19 августа. Под заглавием: «Лунная соната». После 29 ст. следовало:

Месяц выбелил пол,
Я далеко ушел
По заросшим тропам к золотым островам,
Где когда-то цвели мои бледные розы...
Кто там плачет вблизи?
Это скрип жалюзи —
Их за выступом кровли не видно.

«ЦВЕТЫ ОТ СОЛНЦА ПЬЯНЫ...» — Лебедь. Москва. 1909. № 2. С. 32. Подпись: А. Гликберг. Первая строфа печаталась в другой редакции:

Цветы от солнца пьяны,
Гвоздики так резки,
Герани так румяны,
И розы так ярки
На зелени поляны.

ХМЕЛЬ — СМ. 1911. № 6. С. 186. В Сатирах и лирике, 1922 без заглавия, по-видимому, в связи с тем, что оно присвоено разделу взамен прежнего — «Иные струны». Помета: Гейдельберг.

«УЗКИЙ ПАЛИСАДНИК...» — КМ. 1911. 25 февраля. Под заглавием: «Михель». Помета: Гейдельберг. В Сатирах и лирике, 1922 включено в раздел «У немцев». *Михель* — см. с. 424. *Гейдельберг* — см. с. 424.

«ПОЧТИ ПЕРЕД ДОМОМ...» — СМ. 1909. № 8. С. 122. Под заглавием: «Над землей». Подпись: Гликберг.

РАЗГУЛ — СР. 1910. № 39. С. 8. Помета: Гейдельберг.

НА САНКАХ С ГОР — Сат. 1910. № 10. С. 5.

НА ПАРОМЕ — КМ. 1911. 9 октября.

В ЧАЩЕ — СМ. 1910. № 8. С. 169. Подпись: Гликберг.

«НЕПОДВИЖНО-ЛЕНИВЫЕ КОСТИ...» — Сат. 1910. № 30. С. 3. В цикле из двух стихотворений под общим заголовком: «Общедоступное счастье». *Штрипка* — тесьма, пришитая к брюкам и продеваемая под ступню.

«КАЧАЮТСЯ ТОМНЫЕ ЛИСТИКИ...» — Сат. 1910. № 30. С. 3. В цикле из двух стихотворений под общим заголовком: «Общедоступное счастье».

РАДОСТЬ — КМ. 1911. 28 июля. *Кривцово* — см. с. 428.

НА ПЧЕЛЬНИКЕ — Альманах «Шиповник». Кн. 19. 1910. С. 123—124. *Пепермент* — средство от кашля в виде мятных лепешек с освежающим привкусом. Такое же название имел безалкогольный прохладительный напиток зеленоватого цвета, изготовлявшийся на основе перечной мяты. *Веста* — в древнеримской мифологии богиня домашнего очага. Жрицы, отправлявшие культ в храмах Весты, назывались весталками и обязаны были хранить целомудрие в течение 30 лет. *Заозерье* — см. с. 428.

КОСТЕР — КМ. 1911. 29 августа. В Сатиры и лирику, 1922 не было включено. Перекочевало в книги для детей «Тук-тук!» и «Детский остров», явившись как бы мостиком между «взрослыми» и «детскими» стихами Саши Черного.

«ПУЩА-ВОДИЦА» — КМ. 1911. 15 апреля. Написано во время пребывания Саши Черного в Киеве весной 1911 г. *Пуща-Водица* — пригород Киева, соединенный с центром трамвайной дорогой — первой в России на электрической тяге.

АПЕЛЬСИН — Сатиры и лирика, 1911. С. 227—228. Нельзя с полной уверенностью утверждать, но обстановка и некоторые черты характера позволяют предположить в героине стихотворения *Е. К. Борман* (см. с. 431).

КВАРТИРАНТКА — КМ. 1911. 8 октября. *Аграф* — пряжка, застежка в виде украшения. ...*бессмертный «Лебедь» Грига*. — Появление в стихах Саши Черного имени норвежского композитора Э. Грига, видимо, было не случайным. В воспоминаниях В. А. Добровольского, внучатого племянника К. К. Роше, приведен такой эпизод: «Саша сидел за чайным столом против меня с опущенными плечами, несколько наклоненной головой, как будто усталый, со слабой улыбкой, не включаясь в разговор. После чая я играл кое-что из Скрябина, «Ноктюрн»

Грига, и Саша сказал мне потом: «Да, Григ — это хорошо и глубоко». Видимо, хорошую музыку он любил и понимал». (Рукопись неопубликованных воспоминаний В. А. Добровольского хранится в собрании М. С. Лесмана; публикуется отрывок с любезного разрешения его вдовы — Н. Г. Князевой.)

ЗИРЭ — Прил. к № 285 газеты «Киевская мысль». 1911. 16 октября. Стихотворение родилось в результате поездки в Крым в 1911г. Предложенное журналу «Современный мир», оно было отвергнуто, ибо в нем усмотрели «личный элемент». Абсурдность претензий к этой невинной, мимолетней стилизации вызвала недоумение автора. Ведь из лирики исключен, говорится в его письме к В. П. Кранихфельду, «как раз тот элемент, который составляет и всегда составлял душу поэзии. Откиньте его, и что останется от лирики: пейзажи четырех времен года и географическая поэзия описаний...» (Евстигнеева. С. 183).

«Я КОНЬ, А КОЛЕНА — СЕДЕЛЬЦЕ...» — Сатиры и лирика, 1911. С. 232. «Личный элемент» исключительной силы содержится в этом стихотворении — любовь к крошечному существу (есть основание думать, не совсем чужому для Саши Черного). Как известно, поэт не имел детей, но радость домашнего, семейного общения с младенцем ему довелось испытать. Однажды он взял к себе в дом дитя, отданное ему житомирской знакомой, которая попала в Петербурге в беду. Отцовское счастье, однако, не было продолжительным — родственники ребенка вскоре забрали его.

«МЫ ЖЕНИЛИ МЕДВЕЖОНКА...» — КМ. 1911. 7 марта. Под заглавием: «Элочка». Можно совершенно точно назвать, кто вдохновил поэта на создание этого стихотворения. Впрочем, она сама назвала себя в письме к К. И. Чуковскому, присланном в начале 60-х годов, — Елена Ивановна Васильева (в замужестве — Бартошевич), племянница жены поэта — Элочка. Вспомнила, что «дядя Саша» вписал в ее детский альбом несколько стихотворений, посвященных ей, но, к сожалению, весь семейный архив пропал во время блокады. *Дид-Ладо* — припевка ко многим старинным песням. *Белуга* — крупная рыба семейства осетровых, обладающая способностью издавать громкие звуки (выражение «реветь белугой»).

ИЗ ГЕЙНЕ: I («Печаль и боль в моем сердце...») — КМ. 1911. 31 января; II («За чаем болтали в салоне...») — Лит.-худ. кабаре «Черный кот». 1910. С. 8; III («В облаках висит луна...») — Сатиры и лирика, 1911. С. 237; IV («Этот юноша любезный...») — КМ. 1911. 29 января; V (Штиль) — Сатиры и лирика, 1911. С. 239. В Сатиры и лирику, 1922 переводы из Гейне не были включены. Родство таланта Саши Черного и великого немецкого поэта-романтика и ирониста не осталось незамеченным современниками. Автора «Сатир» нередко называли «русским Гейне» (см. статью, посвященную памяти Саши Черного: Астахов Л. Русский Гейне //Заря. Харбин. 1932. 1 сентября). Поэтому обращение в его переводческой деятельности к поэзии Гейне было закономерным. В 1911 г. он составил сборник «Избранных стихотворений» Гейне, куда включил 10 собственных переводов. Видимо, тогда же Саша Черный пришел к выводу, что «некоторые старые переводы оскорбительны по безграмотности» (Евстигнеева.

С. 183). В его намерения входило перевести целиком «Книгу песен» (см. сообщение «Известий кн. магазинов С. М. Вольф». 1913. № 5. С. 79). До нас дошел 21 его перевод из Гейне — те, что попали в печать. Как отголосок работы над книгой сохранилось мемуарное свидетельство А. Дейча, переводчика, исследователя и биографа Гейне: «Он знал наизусть множество гейневских стихотворений в оригинале, умел хорошо их читать, а его мысли о сатире Гейне были для той поры свежими и неожиданными». (Дейч А. И. День нынешний и день минувший. М., 1969. С. 293.) «Печаль и боль в моем сердце...» — перевод стихотворения «Mein Herz, mein Herz ist traurig...». «За чаем болтали в салоне...» — перевод стихотворения «Sie saßen und tranken am Teetisch...». «В облаках висит луна...» — перевод стихотворения «Auf den Wolken ruht der Mond». *Померанец* — субтропическое дерево с оранжево-красными плодами. «Этот юноша любезный...» — перевод стихотворения «Diesen liebenswürdig'en Jüngling». «Штиль» — перевод стихотворения «Meeresstille».

⟨ДОПОЛНЕНИЯ ИЗ ИЗДАНИЯ 1922 ГОДА⟩

В КРЫМУ — СМ. 1912. № 5. С. 93. Под заглавием «В гавани». В Крыму поэт побывал весной 1911 г.

У НАРВСКОГО ЗАЛИВА — СР. 1914. № 23. С. 14. Написано во время последнего отдыха Саши Черного в Усть-Нарве в мае-июне 1914 г. Своей знакомой Л. Я. Гуревич поэт писал оттуда: «Здесь очень тихо, зелено, стихи выползают из каждой кочки, но лень писать» (Евстигнеева. С. 194). *Гунгербург* — см. с. 419.

ОГОРОД — Русское богатство. 1914. № 1. С. 127. В цикле из трех стихотворений под общим заголовком «В деревне».

СИЛУЭТЫ — Альманах «Энергия». Сб. 3. 1914. С. 10. В цикле из пяти стихотворений под общим заголовком «Летние сны».

ВОЗВРАЩЕНИЕ — Альманах «Энергия». Сб. 3. 1914. С. 12. В цикле из пяти стихотворений под общим заголовком «Летние сны».

«ЕЛЕ ТЛЕЕТ ПОГАСШИЙ КОСТЕР...» — Сатиры и лирика, 1922. С. 160. *Илия* — см. с. 435.

БЕЛАЯ КОЛЫБЕЛЬ — Русское богатство. 1916. № 2. С. 86. В цикле из трех стихотворений под общим заголовком «В снегах». В Сатирах и лирике, 1922 проставлена помета: Кривцово. Точно так же помечено письмо к А. М. Горькому, отправленное в начале января 1913 г., что дает основание датировать стихотворение этим годом.

СУМЕРКИ — Русское богатство. 1916. № 2. С. 85—86. В цикле из трех стихотворений под общим заголовком «В снегах». О мотивах датировки см. примеч. к стихотворению «Белая колыбель».

НА ПРУДУ — Русское богатство. 1916. № 2. С. 85. В цикле из трех стихотворений под общим заголовком «В снегах». О мотивах датировки см. примеч. к стихотворению «Белая колыбель».

ПЬЯНАЯ ПЕСНЯ — Сатиры и лирика, 1922. С. 193.

ОПИСАНИЕ ОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ — Сатиры и лирика, 1922. С. 194—195. В письме от 17 апреля Саша Черный, ушедший из «Сатирикона», сообщает К. Р. Миллю, что через два дня едет в Киев. *Сотрудник «Киевской мысли»* — по всей вероятности, имеется в виду Л. Н. Войтоловский (1876—1941) — писатель, литературный критик, врач. В рецензиях, напечатанных в газете «Киевская мысль» в 1910 и 1911 гг., он дал высокую оценку книгам стихов Саши Черного. Между ними установилась дружеская симпатия. В 1913 г. поэт рекомендует пригласить Войтоловского в «Современник» в качестве литературного обозревателя: «У человека есть талант, темперамент, честность и вкус. Чего еще надо?» (Письма Горькому. С. 26). *Слободка* — предместье Киева, расположенное на левом берегу Днепра.

ТИФЛИССКАЯ ПЕСНЯ — Жар-Птица (Берлин). 1921. № 1. С. 40. Подпись: Кинто. *Кинто* — в Грузии — гуляка, тип апаша, только более добродушный, славится весельем, беззаботностью, остроумием. В. Андреева вспоминает, что Саша Черный любил сочинять песенные стилизации на восточные темы. «Из одной очень известной и популярной неаполитанской песни «Вернись в Сорренто!» он сделал шутливую пародию и часто напевал себе под нос на ее мотив: — «Скажи мне ласковое слово — и ты увидишь, кем я буду: выше шаха, выше хана, выше Гималай-гора я буду! Покорю Белуджистан, Персию и Индию, дагестанским шахом буду, а тебя я не забуду!» Надо сказать, что пел он очень верно, с неподражаемым кавказским акцентом, и при этом его темные глаза блестели лукавством и мальчишеским задором» (Андреева В. Эхо прошлого. М., 1986. С. 206).

ЛЕНИВАЯ ЛЮБОВЬ — Сатиры и лирика, 1922. С. 198—199. *Крестовский остров* — см. с. 404.

В ТИРОЛЕ — Альманах «Энергия». Сб. 3. 1914. С. 7. В цикле из пяти стихотворений под общим заголовком «Летние сны».

ПРИБОЙ — Альманах «Энергия». Сб. 3. 1914. С. 8. Помета «Капри» позволяет датировать стихотворение августом-сентябром 1912 г., когда поэт отдыхал на этом итальянском острове. А. М. Горький в одном из писем так отзывался о нем: «Приезжал Саша Черный и оказался — седым; лицо молодое, моложе возраста — 32 г., — а волосы седые. Очень милый и, кажется, серьезный парень». (Литературное наследство. Т. 95. М., 1988. С. 409). ... *как темный Самсон*. — Вероятно, имеется в виду скульптура библейского героя работы Микеланджело.

«НА ВЕРАНДЕ КРОМЕШНАЯ ТЬМА...» — Голос эмигранта. Берлин. 1921. № 1. С. 13. Под заглавием: «Каприйский рай». О времени написания см.

предыдущее примеч. Некоторые реалии позволяют предположить в персонаже стихотворения художника-офортиста В. Д. Фалилеева, с которым поэт сблизился на Капри. Подробнее об их дружбе и творческом сотрудничестве см.: Иванов А. С. «Не упрекай за то, что я такой...» (Панорама искусств. Сб. 10. М., 1987).

«ТАМ ВНИЗУ СИНЕЕТ МОРЕ...» — Сатиры и лирика, 1922. С. 206. В одном из писем А. М. Горького говорится о летнем сезоне 1912 г. на Капри: «Съехалось множество публики русской, одних художников 17 человек! Были литераторы — Саша Черный, оказавшийся очень скромным, милым и умным человеком» (Горький А. М. Собрание сочинений. Т. 29. С. 253—254). *Маревна* — М. Б. Воробьева-Стебельская (1892—1984). Такое имя было дано ей Горьким за сходство с героиней русских сказок; художница избрала его своим псевдонимом.

НАД МОРЕМ — Русская молва. 1913. 14 апреля. *Porto Venere. Spezia* — гавань близ города Специя, на севере Италии.

ЛУКАВАЯ СЕРЕНАДА — Сатиры и лирика, 1922. С. 208—209. Помета «Капри» позволяет предположить более раннюю датировку, нежели первая публикация — т. е. 1912 г., когда поэт отдыхал на Капри. *Катаракт* (правильнее: катаракта) — болезнь глаз. *Лазурный грот* — достопримечательность Капри, куда местные жители возили на лодках туристов.

ЧЕЛОВЕК — КМ. 1912. 9 марта. В Сатирах и лирике, 1922 датировано 1913 г.— помета явно ошибочная.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1908—1914 ГОДОВ, НЕ ВОШЕДШИЕ В КНИГИ

В творческом пути поэта хронологический промежуток, означенный в заголовке, естественно ограничен печатными паузами 1907 г. (жил за границей) и 1914—1916 гг. (находился на фронте). Промежуток достаточно компактен — шесть с половиной лет — и потому можно предположить, что мировоззрение поэта не претерпело за этот период существенных изменений. Поэт жил и творил в кругу тем и проблем, очерченных разделами «Сатир» и «Сатир и лирики». Последнее подтверждается тем, что стихи, появившиеся после 1911 г. и не успевшие попасть в указанный двухтомник, позднее, в издании 1922 г. органично вписались в сохранившиеся разделы книг. Однако далеко не всем опубликованным за этот период стихотворениям нашлось место в двухтомнике, хотя многие из них видятся примыкающими к тому или иному разделу. Именно из этих соображений было решено скомпоновать несобранные поэтом стихи в несколько подборок, соответствие которых разделам двухтомника таково: I — Всем нищим духом; II — Быт; III — Авгиевы конюшни; IV — Невольная дань; V — Лирические сатиры; VI — Бурьян; VII — У немцев; VIII — Иные струны.

О TEMPORA... — Зритель. 1908. № 1. С. 10. В заглавии — начало знаменитого восклицания Цицерона из его речи, направленной против Катилины: «O tempora, o mores!» («О времена, о нравы!»). ... *Неврастения у всех.* — Об этом недуге общества писал М. О. Гершензон: «Наша интеллигенция на девять десятых поражена неврастенией; между нами почти нет здоровых людей — все желчные, угрюмые, беспокойные лица, искаженные какой-то тайной неудовлетворенностью; все недовольны, не то озлоблены, не то огорчены» («Вехи. Интеллигенция в России». М., 1991. С. 102). *Гучков* — см. с. 402.

ГИМН ВЕСНЕ — Зритель. 1908. № 7. С. 10. «*Будь, как солнце!*» — слегка измененная строка стихотворения К. Д. Бальмонта «Будем, как солнце! Забудем о том...» (1902). *Метранпаж* — см. с. 426. *Иматра* — см. с. 423.

ИНОГДА — Сат. 1908. № 4. С. 11. Подпись: А. Гликберг.

ИЗ ДНЕВНИКА ВЫЗДРАВЛИВАЮЩЕГО — Сат. 1910. № 11. С. 7. *Пробирная палатка* — государственное учреждение для установления пробы на золотых и серебряных изделиях.

ОПЯТЬ И ОПЯТЬ — Од. нов. 1910. 28 ноября. *Аякс* — см. с. 420. ... *на квинту меч и нос.* — Выражение «Повесить нос на квинту» употреблялось в значении — опечалиться. Квинта — пятая струна. *Меньшиков* — см. с. 409.

II

«КРУТЯ РЕМБРАНДТОВСКОЙ ФИГУРОЙ...» — Сат. 1908. № 17. С. 5. Под заглавием: «Послание пятое». Компонуя раздел «Послания» для книги, поэт это стихотворение в него не включил, что повлекло переименование последующих «Посланий» в соответствии с новой нумерацией. *Гунгербург* — см. с. 419. *Рамоли* — впавший в слабоумие по старости человек.

МЕЧТЫ — Утро. 1908. 27 декабря. *Метерлинк* — см. с. 406. *Чесуча* — плотная шелковая ткань, обычно желто-песочного цвета. «*Нива*» — см. с. 417. *Сегантини Д.* (1858—1899) — итальянский живописец. Наибольшей популярностью пользовалась его картина «*Ave Maria на лодке*». *Инспектор гимназии* — см. с. 421.

ПИСЬМО — СР. 1910. № 12. С. 8.

ПОДШОФЕ — Сат. 1910. № 17. С. 8. Подпись: С-а Ч. Страничная илл. худ. Е. Лансере. *Подшофе* — быть под хмельком, навеселе. *Ярославец* — по сложившемуся обыкновению, трактирную прислугу предпочитали нанимать из уроженцев Ярославской губернии, считавшихся наиболее расторопными и сновистыми.

III

ЧЕПУХА («Лают раки на мели...») — Сат. 1908. № 6. С. 4. По прошествии двух лет Саша Черный решил вернуться к испытанной «капустнической» форме обзора «злости дня». Но в отличие от двух предыдущих, в третьей «Чепухе» общественно-политические события потеснены околотитературными пересудами и лицами, ставшими притчей во языцех. ...*Лают раки на мели.* — Реминисценция из поэмы А. К. Толстого «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева», где есть строки: «Мы ж без царя, как раки, горюем на мели». *Рукавишников И. С.* (1877—1930) — поэт и прозаик, эпигон символистов, отличавшийся писательской плодовитостью. Его вычурные изыски в области стихотворных форм (напр. «фигурные» стихи) и его экстравагантный облик, а именно: длинная «козлиная» борода, сделали Рукавишникова излюбленной мишенью для пародистов и шаржистов. Так, в пародийной хронике Саши Черного «Дикие утки» имеется такое сообщение: «Ив. Рукавишникова постигло страшное горе. Пьяный цирюльник отрезал ему в бане, вместо мозолей, бороду, и поэт, как Самсон, потерял всю свою силу. По словам доктора, он, по крайней мере, полгода не в состоянии будет писать стихов. Горе читателей не поддается описанию» (Сат. 1909. № 13). ... *Дум-дум-бадзе* — каламбурное совмещение фамилии Думбадзе (см. с. 406) и названия разрывной пули «дум-дум». *Шварц* — см. с. 416. «*Мелкий бес*» (1907) — роман Ф. К. Сологуба, в котором натуралистические описания нравов российской провинции переплетены с inferнальными мотивами «дьяволизма» и культом смерти. По этой причине современники нередко зачисляли его автора в духовные растлители общества. ...*Лев Толстой сидит в тюрьме после просьбы жалкой.* — Понять смысл и причину появления этой фразы позволяет карикатура Ре-Ми «По поводу юбилея Л. Толстого», напечатанная в журнале «Стрекоза» № 13 за 1908 год. Подпись к ней такова: *Противление злу (Из письма Толстого)* — «...Многим эта мысль покажется шуткою, парадоксом, а между тем это самая простая и несомненная истина. Действительно, ничто так вполне не удовлетворило бы меня и не дало бы такой радости, как именно то, чтобы меня посадили в тюрьму, хорошую, настоящую тюрьму: вонючую, холодную, голодную. Это доставит мне, перед моею смертью, искреннюю радость и удовлетворение и, вместе с тем, избавило бы меня от всей предвидимой мною тяжести готовящегося юбилея. Дружески жму вашу руку». *Кузмин М. А.* (1875—1936) — поэт и прозаик, эстет. Одним из первых в отечественной литературе рискнул воспеть однополую любовь (роман «Крылья»). Тонко-порочный эстетизм и демонстративно-шокирующий аморализм поведения писателя давали сатирикам пищу для острот и намеков относительно «героя тыла». ...*Брюсов Пушкина, шутя, хлопает по чреву.* — Должно быть, имеются в виду брюсовские шутки «Лицейские стихи Пушкина» (1907). ...*Маркса сбросили в обрыв.* — Здесь подразумевается не основоположник марксизма, а русский книгоиздатель А. Ф. Маркс (1833—1904), поставивший на книжный рынок собрания сочинений классиков в качестве приложений к «Ниве». *Пинкертон* — сыщик, герой бульварных изданий, авантюрно-детективный сюжет которых строился на преследовании преступника. Пришедшие с Запада «сыщички» романы быстро заполонили книжный рынок, привлекая публику, в особенности подростков, сенсационными

заголовками («Заговор преступника», «Павильон крови», «Притон убийц...»), а также дешевой отдельными выпусков — 5—7 копеек. Выходили они без указания автора; тиражи достигали порой 200 тысяч, что по тем временам считалось астрономической цифрой. «Картонный домик» — повесть М. А. Кузмина, опубликованная в альманахе «Белые ночи» (1907). *Третья Полу-Дума* — см. с. 401.

САТИРИКОНЦЫ — Сат. 1909. № 52. С. 11. Подпись: ?. Это попытка вернуть авторство циклу эпиграмм, опубликованному анонимно. Атрибутирование опирается на два рода аргументов. Первое — свидетельства современников, знавших лично Сашу Черного. См. мемуарную статью Е. С. Хохлова «Сатириконтон» и сатириконтонцы» (Русские новости. Париж. 1950. 5 мая) и книгу воспоминаний А. Седых «Далекие, близкие» (Нью-Йорк, 1962. С. 82), где строки из этого цикла цитируются с указанием на Сашу Черного. Вторым аргументом для доказательства послужило редакционное примечание, сделанное к данной публикации в «Сатириконтоне»: «Настоящее произведение прислано в редакцию неизвестным автором под странным девизом: «*Turdus sibi malum casat*». Подозревая в авторстве одного из своих сотрудников, желая пробудить в нем раскаяние и вывести его на чистую воду — помещаем этот гнусный пасквиль целиком». Латинская фраза может быть переведена как «Дрозд, гадящий самому себе». Отсюда ясно, что автора надо искать среди адресатов цикла. Наиболее вероятная кандидатура — Саша Черный, ибо из всех остальных адресатов этого эпиграфического цикла только А. Радаков баловался рифмой. Подтверждение догадки обнаружилось в журнале «Иллюстрированная Россия» (Париж), где в 1925 г. Саша Черный вел сатирический отдел «Бумеранг», заполняя его сатирическими миниатюрами в стихах и прозе под различными псевдонимами. Один из них: *Turdus*. Этот же псевдоним встречается в журнале «Жар-Птица», где Саша Черный ведал литературной частью (см. т. 2 и 3 настоящего собрания). *Корнфельд М. Г.* — см. с. 415. *Аверченко А. Т.* (1881—1925) — редактор «Сатириконтон» и «Нового сатириконтон», выступавший под различными псевдонимами: *Ave*, Волк, Медуза Горгона, Фома Опискин и др. *Радаков А. А.* (1879—1942) — ведущий художник «Сатириконтон», неистощимый генератор идей и начинаний: это он придумал название журналу, ввел кинематографический прием кадрирования рисунков с развитием сюжета и подписями. Выразительная характеристика Радакова дана в неопубликованных воспоминаниях В. Князева: «...если бы можно одним словом исчерпать всю его художественную в «Сатириконтоне» сущность, я бы назвал его — В а к х. Вах юмора-сатирического рисунка. (...) Если Радаков был — стихия, то про Аверченко — нечего и говорить! Впрочем, оба они были духовные братья. Оба вместе они способны были свалить могучим разрядом своей нечеловеческой творческой энергии не то что слона, но и Хеопсову пирамиду» (РГАЛИ, ф. 2041, оп. 1, ед. хр. 189, л. 111—112). *Ремизов Н. В.* (1887—1975) — блестящий карикатурист и виртуоз шаржа, подписывавшийся псевдонимом Ре-Ми (настоящая фамилия художника — Васильев). *Апаш* — см. с. 429. *Юнгер А. А.* (1883—1948) — художник-сатирик, склонный к лиризму. В своей художественной манере ориентировался на графику немецкого журнала «Симплициссимус». *Жантильность* — см. с. 424. *Гучков* — см. с. 402. *Яковлев А. Е.* (1887—1938) — художник-портретист, прославившийся на Западе; в «Сатириконтоне» это был «еще совсем молодой человек, не носивший еще своей бородки-колье, скромный, почти застенчивый, но специализировавшийся на жан-

ре весьма смелых «Ню» (Хохлов Е. «Сатирикон» и сатириконцы» // Русские новости. Париж. 1950. 5 мая). По-видимому, именно его пляжные и будуарные сценки имел в виду Саша Черный, когда упомянул в письме к Е. А. Ляцкому «совершенно заголившихся сатириконцев» (Тимофеева. С. 166).

КНИГИ — Сат. 1910. № 23. С. 3. *Антропофаг* — людоед. *Рукавишников* — см. с. 445. ... *Неразрезанною массой*.— До революции книги поступали в продажу с неразрезанными страницами.

БУРЕНИНУ — Сат. 1910. № 44. С. 8. Подпись: С-а Ч-й. *Буренин В. П.* (1841—1926) — поэт, сатирик, пародист. Необычна эволюция этого писателя: выходец из народных низов, он начал своей литературный путь в радикально настроенных сатирических изданиях, но с годами его взгляды изменились на прямо противоположные. Своими беспринципными критическими и фельетонными пассажами он добился того, что его имя стало синонимом реакционно-репильной прессы и бесчестных способов полемики. ...*в известный дом*.— Имеется в виду газета «Новое время» (см. с. 409). ...*Питаясь фаршированным жидом*.— Очевидно, здесь намек на публицистические выступления Буренина, дававшие основание обвинить его в антисемитизме. Можно предположить аллюзию на характерное блюдо еврейской кухни — фаршированную рыбу.

БЕЗДАРНОСТЬ — Современник. 1912. № 12. С. 386. Подпись: Гликберг-Черный. ...*иль с козой*.— По-видимому, намек на строфу из стихотворения В. Я. Брюсова «*In hac lacrimarum*»:

Повлекут меня с собой
К играм рыжие силены:
Мы натешимся с козой,
Где лужайку сжали стены.

Строки эти стали добычей сатирической печати, на страницах которой Брюсов изображался в обнимку с козой.

ХУДОЖНИКУ — Русская молва. 1913. 21 мая. ... *Ест ли ящериц Куприн?* — Имя Куприна широко использовалось полубульварными изданиями вроде «Сине-го журнала» для привлечения подписчиков. Они посвящали публику в подробности его частной жизни, втягивали писателя в рекламно-авантюрные предприятия, что не могло не огорчать Сашу Черного: «Куприн, правда, большой, зрячий и сильный,— но это все в прошлом,— говорится в его письме к Горькому 1912 г.— Теперь его досасывают разные синежурнальные сутенеры, и это самая тяжелая литературная драма, которую я знаю» (Письма Горькому. С. 23).

ПЕРЕД КНИЖНОЙ ВИТРИНОЙ — СР. 1914. № 18. С. 6.

ЭГО-ЧЕРВИ — СР. 1914. № 20. С. 15. Стихотворение может быть датировано 1913 г.: сохранился автограф, присланный в газету «Русское слово» с почтовым штемпелем на конверте: 1 ноября 1913 г. Рукописный текст несколько отличается от печатной публикации. Ст. 37—40 имели такую редакцию:

А по-моему, напрасно!
Так назойливо, так страстно
За штаны толпу хватать —
И, схватив, как подаянье...

(РГАЛИ, ф. 1696, оп. 1, ед. хр. 907). *Микроцефал* — см. с. 431.

IV

БЕЗВРЕМЯ — Зритель. 1908. № 2. С. 2. *Северная Пальмира* — этим поэтическим выражением, вошедшим в употребление на рубеже XVIII—XIX вв., было принято именовать Петербург. *Буренин* — см. с. 447. «*Новое время*» — см. с. 409. *Меньшиков* — см. с. 409. *Столыпин* — здесь идет речь не о премьер-министре, а о его брате А. А. Столыпине — журналисте крайнего правого направления. *Пуришкевич* — см. с. 418. *Дорошевич В. М.* (1864—1922) — журналист, публицист, театральный критик, титулованный неофициальным званием «*короля фельетонистов*». Совершил вслед за Чеховым поездку на Сахалин, в результате которой были написаны разоблачительные очерки о нравах каторжного острова, вышедшие отдельной книгой в 1903 г.

«ПЬЯНЫЙ» ВОПРОС — Зритель. 1908. № 5. С. 4. В Думе обсуждался законопроект по искоренению пьянства в деревне и среди рабочих. В процессе дебатов было высказано немало здравых суждений, однако никакого решения не было принято, поскольку большинство сошлось на том, что борьба с алкоголизмом бесполезна при нищенском существовании и политическом бесправии масс.

«НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО БОСНИЯ...» — Сат. 1908. № 26. С. 2. Речь идет о так называемом «Боснийском кризисе» — международном конфликте, вызванном аннексией Австро-Венгрией в 1908 г. Боснии и Герцеговины. Акция была направлена против национально-освободительного движения на Балканах, имевшего целью создание единого югославского государства. *Франц-Иосиф* — см. с. 402.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДУМСКИХ ИГР — Сат. 1909. № 42. С. 2. Написано в связи с открытием после летних каникул очередной сессии Государственной Думы. *Кадеты* — см. с. 415. *Октябристы* — см. с. 416. *Союзники* — см. с. 406. *Три лебедя* — под этой аллегорией подразумеваются, по-видимому, лидеры кадетской партии: П. Н. Милюков — см. с. 415, Ф. И. Родичев и В. А. Маклаков. ...«*малых сих*». — Ставшее крылатым выражение из Евангелия: «Горе тому, кто соблазнит единого из малых сих» (Мф. 18, Лк. 17, 2). Обычно употреблялось в значении: ребенок либо человек, стоящий ниже других на социальной лестнице. «*Речь*» — см. с. 415. *Хомяковский звон* — первым председателем 3-й Государственной Думы был Н. А. Хомяков (1850—1925), в функцию которого входило поддержание порядка и соблюдение регламента, что осуществлялось посредством звона колокольчика. *Родичев Ф. И.* (1856—1933) — член ЦК партии кадетов. В Думе снискал славу «народного трибуна». В своих воспоминаниях В. А. Оболенский так характеризует его дар красноречия: «Его называли «оратором Божьей милостью». (...) Он никогда не готовился к своим речам и наиболее блестящими были как раз те, которых он даже не успевал обдумать, когда

выходил на трибуну, движимый внезапно охватившим его чувством, не зная наверное — что именно скажет, когда творил свою яркую красочную речь во время ее произнесения» (Наука и жизнь. М., 1990. № 9. С. 96). *Маклаков В. А.* (1870—1957) — юрист по образованию, также считался несравненным оратором от фракции кадетов.

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС — Сат. 1909. № 47 («Специальный еврейский номер»). С. 2. Еврейский вопрос был одним из самых больших и животрепещущих вопросов, будораживших все слои общества. Саша Черный, в силу своего происхождения, мог судить о нем не только извне, но и изнутри. В ранние годы он на себе испытал правовые ущемления и особого рода насмешки и шутки. Крещение формально уравнило его в правах с прочими российскими подданными христианского вероисповедания. А уже будучи взрослым, поэт вполне сознательно связал свою судьбу с литературой и культурой русского народа. Мне довелось слышать от К. К. Парчевского, с семьей которого Саша Черный дружил, что поэт не слишком жаловал своих соплеменников — вернее сказать, тех, в ком ярко были выражены местечково-национальные черты. Но при этом не терпел даже малейших намеков и насмешек над евреями в своем присутствии. *«Свиное ухо»* — так принято было дразнить иудеев, зажимая угол полы в виде свиного уха (намек на религиозный запрет употреблять в пищу свинину). *Пейсы* — длинные пряди волос на висках у патриархальных евреев. *Лансердак* — длинный сюртук у евреев. ...*Нет иудея, финна, негра, грека.* — См. с. 408.

ЮДОФОБЫ — Сат. 1909. № 47 («Специальный еврейский номер»). С. 3. Подпись: Гейне из Житомира. В качестве комментария может быть использовано высказывание австрийско-еврейского юмориста М. Сафира из рассказа «Юдофоб» в переводе Саши Черного: «Так как вообще юдофобство начинается там, где кончается здравый смысл, то читатель смело может рассчитывать, что там, где вырвалось слово «жид», говорящий или еще не имеет рассудка или уже не имеет его. Где сердце и ум одинаково глупы и немы от природы или становятся такими впоследствии и где вместо головы и сердца ведут случайный разговор пять говорильных аппаратов, там всегда, как боевой клич, раздается: «Жид! Жид!» (Сафир М. Избранные рассказы. 1911. С. 140). Суть и приметы этого гнусного явления, вскрытые в другую эпоху, в другой стране, оставались актуальными и неизменными и во времена Саши Черного. Недаром уже в эмиграции он вновь припомнил и процитировал Сафира: «Когда у дурака нет никакого дела, он становится антисемитом» (Иллюстрированная Россия. 1925. № 20. С. 14). ...*из ста юдофобов.* — Намек на «черную сотню» (см. с. 403).

V

УСТАРЕЛЫЙ — Сат. 1908. № 3. С. 9. Подпись: С. Ч. Каменский А. П. (1876—1941) — писатель, стяжавший в предреволюционную эпоху славу порнографа номер два (вслед за М. П. Арцыбашевым — см. с. 423). Особенно много шума возникло вокруг его рассказов «Леда» и «Четыре» (оба 1907), воспевавших в натуралистической манере «свободную любовь». *Кузмин* — см. с. 445.

«МЫ СЖИЛИСЬ С БОГАМИ И СКАЗКАМИ...» — Сат. 1908. № 10. С. 3. Подпись: А. Гликберг.

ВЕСЕННИЕ СЛОВА — Сат. 1910. № 14. С. 7. *Гучков* — см. с. 402. *Енох* — ветхозаветный патриарх, отец Мафусаила.

ГЛАЗА! — СР. 1910. № 29. С. 11.

ЗАСТОЛЬНАЯ — Сат. 1911. № 1. С. 7. *Акциз* — см. с. 411.

VI

НАДО — КМ. 1910. 19 декабря.

ГЕРОЙ — Сат. 1910. № 50 («Специальный номер о глупости»). С. 4.

ПРОФАН — Современник. 1911. № 2. С. 387—388.

У ПОСТЕЛИ — СМ. 1911. № 11. С. 87.

ЧУДО — КМ. 1911. 26 апреля.

ДЕЖУРНОЕ БЛЮДО — Современник. 1913. № 1. С. 327. Эпоху, следовавшую за крушением революции 1905—1907 гг., именовали временем «огарков»: одни бросились прожигать жизнь, другие не видели иного выхода, как загасить свою свечу (см. примеч. к стихотворению «Большому»). Эпидемия самоубийств захлестнула в первую очередь учащуюся молодежь. Газетные страницы той поры не обходились без сообщений о самоубийствах, публикаций предсмертных записок и досуговых рассуждений и исследований причин. В статье Д. Жбанкова «Современные самоубийства» приведена такая статистика: «В Петербурге в 1905 г. — 29,5 покушений и самоубийств; в 1908 — ежемесячно покушались на свою жизнь — 121 и в 1909 — 199 человек в месяц, слишком в пять раз больше» (СМ. 1910. № 3. С. 27).

РАЗДАВАТЕЛЮ ВЕНКОВ — Современник. 1913. № 2. С. 297—298. *Вербицкая А. А.* (1861—1928) — беллетристка, автор женских романов на тему «свободной» любви и эмансипации. Сочинения ее пользовались успехом у читательской публики с невзыскательным вкусом. *Гамсун* — см. с. 402.

ПРОЕКТ — Современник. 1913. № 4. С. 314. Антимилитаристская тема вызвана, по всей вероятности, началом военных действий на Балканах на рубеже 1912—1913 гг., а может статься, и предощущением надвигавшейся мировой войны.

VII

ВЕНЧАНИЕ — Зритель. 1908. № 7. С. 10. Подпись: А. Гликберг. *Генкель К.* (1864—1929) — немецкий поэт, писавший на социальные темы, певец свободы и классовой борьбы.

НЕМЕЦКИЕ СТУДЕНТЫ — Сат. 1908. № 25 («Специальный студенческий номер»). С. 7. *Корпорант* — см. с. 424. *Обскурант* — человек темный, малообразованный. ...*Изрублены их лица, изранены их лбы.* — В студенческой среде Германии соблюдались традиции дуэльного кодекса. Вот как запечатлены эти нравы А. Аверченко: «Случилось мне проживать в немецком городе Гейдельберге — этом самом знаменитом мировом центре дуэлей. Дерутся там по всякому поводу: зацепили ли вы своим плечом прохожего, опрокинули ли чужую кружку пива или просто перетянули палкой чужого мопса — вас тянут к барьеру безо всяких разговоров» (Новый сатирик. 1917. № 36. С. 6).

В НЕМЕЦКОМ КАБАКЕ — СР. 1910. № 2. С. 9. Позднее тема стихотворения была развита в лирическом рассказе «Мирцль» (1914). *Цитра* — см. с. 435. *Гейдельберг* — см. с. 424.

VIII

РОДНОЙ ПЕЙЗАЖ — Сат. 1910. № 8. С. 9. Подпись: С-а Ч. Страничная илл. худ. А. Юнгера.

В СТЕПИ — СМ. 1910. № 4. С. 116. Подпись: Гликберг. Написано по башкирским впечатлениям 1909 г.

ЗАКАТ — Сат. 1910. № 17. С. 3. Подпись: Гликберг.

ШЛЯПА — КМ. 1911. 25 декабря.

МОРОЗ — Од. нов. 1911. 25 декабря.

НА ЕЛАГИНОМ — КМ. 1912. 8 апреля. *Елагин* — самый малый из островов в северо-западной части дельты Невы, уголок парково-дворцовой культуры, излюбленное место отдыха петербуржцев. *Бюрократ* — см. с. 416. Появление в стихотворении высших правительственных чинов на фоне своевольной и беспорядочной сутолоки природы объясняется не только прихотью автора, введшего их в качестве диссонанса, но, можно думать, и вполне житейскими обстоятельствами. Ибо на близлежащем Каменном острове многие из них имели особняки и для отдыха от государственных дел нередко выезжали на выделенных им автомобилях (в ту пору весьма редких и называвшихся «моторами») на «Острова». *Стрелка* — западная оконечность Крестовского острова, омываемая водами Финского залива.

М(АРИИ) Ф(ЕДОРОВНЕ) — Автограф на отдельном листе, приложенном к письму А. М. Горькому (Архив Горького. КГп-85-5-1). По содержанию письмо может быть датировано октябрём 1912 г. Послание обращено к жене А. М. Горького, актрисе Марии Федоровне Андреевой (1868—1953). «*Алеша, ты б надел пиджак...*» — Ю. А. Желябужской, сын Андреевой, вспоминая привычки и сложившийся распорядок дня в доме Горького на Капри, писал: «После обеда и просмотра газет, на что уходило часа 1½, все, в том числе и А. М., шли к морю, садились в лодку, иногда в две, и ехали на рыбную ловлю. Это было ежедневным отдыхом А. М. Обычно А. М. сидел на самой корме лодки, его продувало, и Мария Федоровна Андреева каждый раз упрасивала его накинуть на себя

пиджак» (Архив А. М. Горького. МоГ 4-17-1. С.6). ...*Сей хлопотливейшей из Марф...*— Марфа, Мария — евангельские образы. Марфа воплощает земной путь служения Богу, Мария — небесный.

ОСЕННИЙ ДЕНЬ — СМ. 1912. № 11. С. 81—82.

«ЗДЕСЬ В КОМНАТЕ ТИХО, А ТАМ ЗА СТЕКЛОМ...» — Современник. 1913. № 3. С. 36. Сохранился автограф стихотворения, где оно включено как 3-е, заключительное в цикл «Осенний день». В рукописи имеется разночтение ст. 19: «Пусть осень... Да здравствует осень и труд!» (ОР ИРЛИ, ф. 258, оп. 1, ед. хр. 502, л. 2).

ВОРОБЬИНАЯ ЭЛЕГИЯ — Современник. 1913. № 4. С. 313. ...*Не сравнивали бы вас с хулиганами и не стали б безжалостно сечь!* — В редакционной статье «Государственная Дума и борьба с хулиганством» (Нива. 1913. № 33. С. 659) писалось: «Широкий и бурный разлив хулиганства служит внешним показателем внутреннего кризиса народной души, переживающей разрушение своих исторических идеалов». Однако означенный опасный симптом, который вскоре, как известно, разразился революцией и российской смутой, в Думе и правительстве был расценен как озорство, неуважение к праву. Бороться с хулиганством предложено было путем «экстраординарных судебно-административных карательных мер».

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ ДЕНЬ — Русская молва. 1913. 23 июня. «*Бронзовый кабан*» — сказка Г. Х. Андерсена, одним из персонажей которой является кабан или вернее его ожившее скульптурное изваяние во Флоренции. *Остерия* — трактир, кабачок в Италии. *Ponte Vecchio* — мост через реку Арно во Флоренции.

В СТАРОМ КРЫМУ — Сегодня. Рига. 1923. 10 июня. Сегодня вряд ли кто сможет с полной уверенностью утверждать, было ли это стихотворение написано в 1911 г., когда Саша Черный отдыхал в Крыму и посвящал мадригалы татарской девочке Зире, или спустя много лет, уже на чужой стороне, воссоздавая по памяти в слове «русскую Помпею». Пусть же оно стоит, как разделительный столб, на границе двух этапов творческого пути поэта, на границе России и не-России.

НОЙ (поэма)

НОЙ — Альманах «Шиповник». Кн. 23. 1914. С. 195—221. Эпическое произведение по мотивам библейского сюжета о всемирном потопе явилось, по-видимому, плодом долгих раздумий и сомнений. Замысел обсуждался с А. М. Горьким в 1912 г., во время посещения поэтом Капри, о чем Саша Черный сообщает ему в письме, относимом к лету 1913 г.: «В это время пишу мировую вещь. Ту самую, с Ноем. Это наверно — вырос, созрел, выдержан во всех погребях томления духа и верю, что смогу» (Письма Горькому. С. 26). Тому же адресату в конце 1913 г. пишет о попытках опубликовать законченное сочинение: «Теперь вожусь с поэмой — и с отвращением перебираю в уме разные комбинации. Для начала стороной навел справки в «Вестнике Европы». Оказывается,

что поэму в два листа принципиально не только не возьмут, но и читать не будут. Небывалый случай: «два листа стихов!». И это несмотря на то, что я предупредил о своей гонорарной скромности: столько же, сколько за два листа прозы» (Письма Горькому. С. 27—28).

В одном из немногих обстоятельных откликов на публикацию поэмы «Ной» сказано: «В литературе сегодняшнего дня, суетливой, прикладной, мелко расчетливой, поэма Саши Черного — странная гостья, точно из чужих краев» (Измайлов А. Нестареющая легенда // Русское слово. Москва. 1914. 30 мая). Место ее в лоне мировой словесности рецензент определяет так: «Поэма Саши Черного о Ное — сочинение того жанра, к какому относится «Девственница» Вольтера и «Цезарь и Клеопатра» Бернарда Шоу. Библейское, легендарное, историческое — здесь материал для широкой сатиры. <...> Гликберг применил обывательскую точку зрения к великой легенде всемирного потопа. Торжественное стало обыденным, люди маленькими, трагедия перемешалась с фарсом».

Но за внешним слоем есть в поэме более глубокие, философские пласты: мучительные вопросы, обращенные — ни много ни мало — к самому Творцу. Как примирить Божий гнев с Его любовью? Не Он ли задумал и создал человека как существо слабое и несовершенное — за что карать? Как примирить гибель в пучине миллионов невинных младенцев с решением Господа спасти горстку людей, несущих в душах своих семена грядущего зла — хамства, пошлости, скаредности, разврата?.. Под грузом раздумий, пред ликом свершающейся логической нелепости Ной (это авторское alter ego) уже почти готов «возвратить билет» на дарованное блаженство. Но в последний момент выбор все же решается в пользу Света. Да, Зло неистребимо, но ему всегда противостоит Добро, обладающее способностью к самовозрождению. В благих и счастливых мгновениях — высшее оправдание жизни. Таков анагогический смысл монументального произведения Саши Черного, написанного в канун глобальных социальных потрясений, поставивших каждого перед проблемой рокового выбора.

Библейский сюжет о всемирном потопе общеизвестен и едва ли нуждается в комментировании. Следует только указать на исправление, внесенное в текст. Во фразе: «Жаром пышущий очаг жрет узлы сухих корчаг», по-видимому, опечатка. *Корчага* — так именовали в древности глиняный сосуд. По смыслу это слово заменено на другое — «коряга».

СОДЕРЖАНИЕ

	Текст	Ком- мен- тарий
<i>Анатолий Иванов.</i> Оскорбленная любовь	5	—

СТИХОТВОРЕНИЯ 1905—1906 ГОДОВ

ИЗ КНИГИ «РАЗНЫЕ МОТИВЫ»

«1906»	32	396
Словесность	33	396
Чепуха («Трепов — мягче сатаны...»)	34	397
«Кровь ударяет горячей волною в виски...»	35	399

СТИХИ 1905—1906 ГОДОВ, НЕ ВОШЕДШИЕ В КНИГУ «РАЗНЫЕ МОТИВЫ»

Первая ночь (из Изольды Курц)	37	399
Сон	37	399
Жалобы обывателя	38	399
Чепуха («От российской чепухи...»)	40	399
До реакции	41	400
«О, испанец благородный...»	42	400

САТИРЫ

ВСЕМ НИЩИМ ДУХОМ

Критику	44	400
Ламентации	44	401
Пробуждение весны	46	401
Крейцера соната	46	401
Отъезд петербуржца	47	401
Искатель	48	402
«Все в штанах, скроенных одинаково...»	50	402
Опять...	51	402
Культурная работа	52	402
Желтый дом	53	402
Зеркало	54	402
Споры	55	402
Интеллигент	56	402
Диета	56	403
Отбой	57	403
1909	59	403
Новая цифра (1910)	60	403

	Текст	Ком- мен- тарий
Два желания		
I. «Жить на вершине голой...»	61	403
II. «Сжечь корабли и впереди, и сзади...»	62	403

БЫТ

Обстановочка	63	403
Мясо	64	403
Мухи	65	403
Всероссийское горе	66	404
На Вербе	68	404
Совершенно веселая песня	68	404
Служба Сборов	70	404
Окраина Петербурга	71	404
На открытии выставки	72	405
В редакции толстого журнала	73	405
Пасхальный перезвон	75	405
На петербургской даче	75	405
Ночная песня пьяницы	76	405
Городская сказка	77	405
В гостях	78	406
Европеец	79	406
Лаборант и медички	81	406
В усадьбе	82	406

〈ДОПОЛНЕНИЯ ИЗ ИЗДАНИЯ 1922 ГОДА〉

Кухня	84	406
-----------------	----	-----

АВГИЕВЫ КОНЮШНИ

«Смех сквозь слезы»	85	406
Стилизованный осел	86	407
Простые слова	87	407
Анархист	88	407
Недоразумение	88	407
Переутомление	89	407
Сиропчик	90	408
Искусство в опасности!	91	408
Песня о поле	91	408
Единственному в своем роде	92	408
По мытарствам	93	409
Панургова муза	94	409
Два толка	95	409
Нетерпеливому	95	409
Пошлость	95	410
«Молил поэта Блок-поэт...»	97	410
Недержание	98	410
Честь	98	410

	Текст	Ком- мен- тарий
Вешалка дураков		
I. «Раз двое третьего рассматривали в лупы...»	98	410
II. «Кто этот, лгущий так туманно...»	98	410
III. «Ослу образование дали...»	98	410
IV. «Дурак рассматривал картину...»	99	410
V. «Умный слушал терпеливо...»	99	410
VI. «Дурак и мудрецу порою кровный брат...»	99	410
VII. «Пусть свистнет рак...»	99	410
Баллада (Из «Sinngedichte» Людвига Фюльда). («Был верен себе до кончины...»)	100	410
«Традиции»	100	410

⟨ДОПОЛНЕНИЯ ИЗ ИЗДАНИЯ 1922 ГОДА⟩

Продолжение одного старого разговора	102	411
После посещения одного «литературного общества»	108	411
Корней Белинский	108	411
Трагедия («Рожденный быть кассиром в тихой бане...»)	110	412
Criticus	110	413
Литераторы на Капри	111	414

Из зеленой тетрадки

I. «Холодный ветер разметал рассаду...»	111	414
II. А. Рославлев	112	414
III. «Почему-то у толстых журналов...»	112	414
IV. Читатель («Бабкин смел,— прочел Сенеку...»)	112	414
V. Стилизация	112	414
VI. Тонкая разница	113	414
VII. «Немало критиков сейчас...»	113	414
VIII. В альбом Брюсову	113	414
«Жестокий бог литературы»	113	415

НЕВОЛЬНАЯ ДАНЬ

Песня сотрудников сатирического журнала	115	415
Невольное признание	116	415
Баллада («Устав от дела, бюрократ...»)	117	416
Цензурная сатира	118	416
Экспромт	118	416
Гармония («Роза прекрасна по форме и запах имеет приятный...»)	119	416
Там внутри	119	416
Победа	121	416
Волк и баран (из Виктора Буше)	122	417
Октябристы	123	417
Молитва	124	417
Все то же	124	417
Веселая наглость	125	417
К женскому съезду	126	417

	Текст	Ком- мен- тарий
Еще экспромт	127	417
К приезду французских гостей	127	417
Потомки	128	418
Злободневность	129	418
Исторический день	130	418
Успокоение	131	418

ПОСЛАНИЯ

Послание первое	132	419
Послание второе	133	419
Послание третье	134	419
Послание четвертое	135	419
Послание пятое	136	419
Послание шестое	137	419

Кумысные вирши

I. «Благословен степной ковыль...»	138	419
II. «Степное башкирское солнце...»	139	419
III. «Бронхитный исправник...»	140	419
IV. «Поутру пошляк чиновник...»	141	419

ПРОВИНЦИЯ

Бульвары	143	420
На реке	144	420
Священная собственность	145	420
На славном посту	146	420
При лампе	146	420
Праздник («Генерал от водки...»)	147	421
Шкатулка провинциального кавалериста	148	421
На галерке	149	421
Ранним утром	149	421
Жизнь	151	421
Лошади	152	421
Из гимназических воспоминаний	153	421
Первая любовь	154	422
«Трава на мостовой...»	155	422

〈ДОПОЛНЕНИЯ ИЗ ИЗДАНИЯ 1922 ГОДА〉

Виленский ребус	156	422
На музыкальной репетиции	156	422
Псковская колотовка	157	422

ЛИРИЧЕСКИЕ САТИРЫ

Под сурдинку	159	422
У моря	160	423
Экзамен	161	423

	Текст	Ком- мен- тарий
Из Финляндии	162	423
Песнь песней	163	423
Диспут	166	423
Сквозной ветер	166	423
Весна мертвецов	167	423
Бегство	168	424
Гармония («Направо в обрыве чернели стволы...»)	169	424
Северная лирика	170	424
Карнавал в Гейдельберге	171	424
Из «шмецких» воспоминаний	172	424
Улица в южно-германском городе	173	424
Театр	174	424

⟨ДОПОЛНЕНИЯ ИЗ ИЗДАНИЯ 1922 ГОДА⟩

В оранжерее	176	425
-----------------------	-----	-----

САТИРЫ И ЛИРИКА

БУРЬЯН

В пространство	178	425
Санкт-Петербург	179	425
В Пассаже	180	425
Вид из окна	180	425
Комнатная весна	181	425
Мертвые минуты	182	425
Пять минут	182	425
Человек в бумажном воротничке	184	426

Две басни

I. «Гуляя в городском саду...»	185	426
II. «Мудрейший индивид...»	186	426
Стилисты	187	426
Колумбово яйцо	187	426
Читатель («Я знаком по последней версии...»)	188	426
В типографии	189	426
Юмористическая артель	190	426
Бодрый смех	192	427
Во имя чего?	193	427
Утешение	194	427
Бирюльки	194	427
Уездный город Болхов	196	428
В деревне	197	428
Северные сумерки	198	428
Пицца	199	428
Консерватизм	200	428
Сообща	201	428
Пряник	201	428

	Текст	Ком- мен- тарий
Песня	202	429
В карцере	202	429
Новая игра	204	429
Праздник («Гиацинты яркие, гиацинты пряны...»)	204	429
Русское	205	429
В детской	207	429
Борьба	207	429
Анемоны	207	430
Бессменный	208	430
Несправедливость	209	430 ⁴
Настроение	210	430
На расстоянии	211	430
Больному	212	430
Признание	213	430

〈ДОПОЛНЕНИЯ ИЗ ИЗДАНИЯ 1922 ГОДА〉

Визит	215	430
Рождение футуризма	215	430
«Книжный клоп, давясь от злобы...»	216	431
Трагедия («Я пришел к художнику Миноге...»)	216	431
Современный Петрарка	217	431
«Безглазые глаза надменных дураков...»	218	431
«Пред каждым дураком душа пылает гневом...»	219	431

ГОРЬКИЙ МЕД

«Любовь должна быть счастливой...»	220	431
Так себе	220	431
Амур и Психея	221	432
Страшная история	222	432
Наконец!	225	432
Хлеб	227	432
Ошибка	228	432
Колыбельная	229	432
«Дурак»	229	432
Любовь не картошка	231	432
В башкирской деревне	232	433
Прекрасный Иосиф	234	433
Городской романс	236	433
В Александровском саду	237	433
На Невском ночью	237	433

У НЕМЦЕВ

Kinderbalsam	238	433
Немецкий лес	239	434
Как Францы гуляют	240	434

В немецкой Мекке

I. Дом Шиллера	241	434
II. Дом Гете	242	434

	Текст	Ком- мен- тарий
III. На могилах	243	434
В ожидании ночного поезда	244	434
С приятелем («Фриц, смешная мартышка!»)	245	434
Рынок	246	434
Философы	247	434
Корпоранты	247	434
Дамоклов меч	248	434
Факт	249	434
Еще факт	250	434

В Берлине

I. «Над крышами мчатся вагоны, скрежещут машины...»	250	434
II. «Спешат старые дети в очках...»	251	434
«Бавария»	252	434
На Рейне	253	434

〈ДОПОЛНЕНИЯ ИЗ ИЗДАНИЯ 1922 ГОДА〉

Кельнерша	255	435
В пути («Словно звон бессонной цитры...»)	256	435
«В полдень тенью и миром полны переулки...»	257	435

ИНЫЕ СТРУНЫ

Призраки	258	435
«Замираю у окна...»	258	435
Утром	259	435
Лунатик	259	435
На кладбище	260	435
Тучков мост	261	435
У канала ночью	261	435
«У моей зеленой елки...»	262	435
Дождь	263	436

У Балтийского моря

I. «Ольховая роца дрожит у морского обрыва...»	263	436
II. «Гнется тростник и какая-то серая травка...»	264	436
III. «Ветер борется с плащом...»	264	436
IV. «Еле льющаяся зыбь вяло плещется у пляжа...»	265	436
V. «Видно, север стосковался...»	265	436
Снегири	265	436
На лыжах	266	436
Нирвана	268	437
Из Флоренции	268	437
«В чужой толпе...»	269	437
Уголок	269	437
Жара	270	437
«Солнце жарит. Мол безлюден...»	271	437
В море	272	437

	Текст	Ком- мен- тарий
«Если летом по бору кружить...»	273	437
Идиллия	273	437
Осень в горах	274	437
В пути («Яркий цвет лесной гвоздики...»)	275	437
Остров	276	438
Предмestье	277	438
Декорация	278	438
«Грохочет вода о пороги...»	278	438
На замковой террасе	279	438
«Месяц выбелил пол...»	280	438 ¹
«Цветы от солнца пьяны...»	281	438
Хмель	281	438
«Узкий палисадник...»	282	438
«Почти перед домом...»	282	439
Разгул	283	439
На санках с гор	284	439
На пароме	284	439
В чаще	285	439
«Неподвижно-ленивые кости...»	286	439
«Качаются томные листики...»	287	439
Радость	287	439
На пчельнике	288	439
Костер	290	439
«Пуша-Водица»	291	439
Апельсин	292	439
Квартирантка	293	439
Зирэ	293	440
«Я конь, а колено — седельце...»	294	440
«Мы женили медвежонка...»	295	440

Из Гейне

I. «Печаль и боль в моем сердце...»	296	440
II. «За чаем болтали в салоне...»	296	440
III. «В облаках висит луна...»	297	440
IV. «Этот юноша любезный...»	297	440
V. Штиль	298	440

⟨ДОПОЛНЕНИЯ ИЗ ИЗДАНИЯ 1922 ГОДА⟩

В Крыму	299	441
У Нарвского залива	299	441
Огород	300	441
Силуэты	301	441
Возвращение	301	441
«Еле тлеет погасший костер...»	302	441
Белая колыбель	302	441
Сумерки	303	441
На пруду	303	442
Пьяная песня	304	442
Описание одного путешествия	305	442
Тифлисская песня	306	442

	Текст	Ком- мен- тарий
Ленивая любовь	306	442
В Тироле	307	442
Прибой	308	442
«На веранде крошечная тьма...»	309	442
«Там внизу синее море...»	309	443
Над морем	310	443
Лукавая серенада	311	443
Человек	312	443

СТИХОТВОРЕНИЯ 1908—1914 ГОДОВ, НЕ ВОШЕДШИЕ В КНИГИ

I

О тетрога...	314	444
Гимн весне	315	444
Иногда	315	444
Из дневника выздоравливающего	316	444
Опять и опять	317	444

II

«Крутя рембрандтовской фигурой...»	319	444
Мечты	320	444
Письмо	321	444
Подшофе	321	444
Воскресенье на Крестовке	322	445

III

Чепуха («Лают раки на мели...»)	323	445
---	-----	-----

Сатириконцы

М. Г. Корнфельд	324	446
А. Т. Аверченко	324	446
А. А. Радаков	325	446
Н. В. Ремизов	325	446
А. А. Юнгер	325	446
А. Е. Яковлев	326	446
Саша Черный	326	446
Книги	326	447
Буренину	328	447
Бездарность	328	447
Художнику	329	447
Перед книжной витриной	330	447
Эго-черви	331	447

IV

Безвременье	332	448
«Пьяный» вопрос	333	448
«Не думайте, что Босния...»	334	448

	Текст	Ком- мен- тарий
Перед началом думских игр	334	448
Еврейский вопрос	335	449
Юдофобы	336	449

V

Устарелый	338	449
«Мы сжились с богами и сказками...»	338	449
Весенние слова	339	450
Глаза!	341	450
Застольная	342	450

VI

Надо	344	450
Герой	345	450
Профан	346	450
У постели	347	450
Чудо	348	450
Дежурное блюдо	349	450
Раздавателю венков	350	450
Проект	351	450

VII

Венчание (из К. Генкеля)	352	450
Немецкие студенты	353	451
В немецком кабаке	353	451

VIII

Родной пейзаж	355	451
В степи	355	451
Закат	356	451
Шляпа	357	451
Мороз	358	451
На Елагином	359	451
М<арии> Ф<едоровне>	360	451

Осенний день

I. «Какая кротость умиранья!»	361	452
II. «Всплески весел и скрипы уключин...»	361	452
«Здесь в комнате тихо, а там за стеклом...»	362	452
Воробьиная элегия	363	452

Флорентийский день

I. «Здравствуй, бронзовый кабан...»	364	452
II. «Здесь обед торжественней мистерии...»	364	452
III. «Лег на прохладный подоконник...»	365	452
В Старом Крыму	365	452

НОЙ (поэма)	367	452
КОММЕНТАРИЙ	389	452

Саша Черный

Собрание сочинений в пяти томах

Том первый

Редакторы *М. А. Кретьова, И. Л. Тимашева*

Художественный редактор *В. Н. Сергутин*

Технический редактор *Л. В. Жигульская*

Корректор *О. В. Мокрович*

Сдано в набор 30.05.94. Подписано к печати 27.03.95.

Формат 60 × 90¹/₁₆. Гарнитура Таймс. Бумага офс. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 29,0. Уч.-изд. л. 34,1.

Тираж 15 000 экз. Заказ № 1942. С 45. ЛР № 040571 от 19.01.93 г.

Издательство «Эллис Лак»

123242, Москва, ул. Большая Грузинская, 3, стр. 1

Тел.: 254-74-72, 254-26-11

Факс 254-52-80

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Государственном ордена Октябрьской Революции,
ордена Трудового Красного Знамени Московском предприятии
«Первая Образцовая типография» Комитета Российской Федерации по печати.
113054, Москва, Валуевская, 28

